

# КРУГ

литературно-  
художественный  
сборник



Советский писатель  
Ленинградское отделение

1985

Сборник «Круг», в котором представлены члены литературного объединения «Клуб-81», издается в соответствии с постановлением Секретариата Союза писателей СССР и открывает новую серию книг — «Мастерская».

Предисловие к сборнику написано доктором филологических наук Ю. А. Андреевым, представителем Ленинградской писательской организации при «Клубе-81».

Под рубрикой «Мастерская» издательство предполагает выпустить и ряд других книг молодых авторов, работающих в жанре публицистики, прозы, поэзии, научной фантастики, драматургии.

*Составители Б. И. Иванов и Ю. В. Новиков*

*Художник ЮРИЙ ДЫШЛЕНКО*

Бывают литературно-художественные сборники — и я встречал таких немало, — где разных авторов под одну обложку собрано много, но все творения написаны будто одною и тою же робкой рукой, так все в них сглажено и стилистически однообразно. Вот уж чего не скажешь о сборнике «Круг»! Несходство бросается в глаза сразу — так же, как тематическое многообразие практически у всех представленных здесь авторов. Что же свело столь различные творческие индивидуальности в этот общий «Круг»? Коротко можно ответить так: стремление к поиску, к эксперименту, ассоциативно-метафорическое мышление, преобладание усложненной литературной формы.

Авторами сборника являются члены творческого объединения литераторов, образованного решением Секретариата Ленинградской писательской организации и получившего — по дате своего создания — наименование «Клуб-81». За малым исключением все авторы, представленные здесь, участвовали ранее в работе различных литературных объединений. Некоторые имели публикации в сборниках и журналах, получали положительные оценки на конференциях молодых литераторов Северо-Запада.

Я говорил о несходстве творческих манер авторов: обратим внимание в этом плане хотя бы на два публикуемых здесь прозаических произведения, принадлежащих перу Е. Звягина и А. Тиранина. Сколь различно конкретное художественное наполнение в каждом из случаев!

В «Корабле дураков, или Записках сумасброда» Е. Звягина господствует поэтика фантазмагории.

«Балалаечник», притча А. Тиранина, я сказал бы, напротив, в геометрично-рациональной манере рисует противоречие жизни художника-творца: с одной стороны, он вечный пленник и данник своего дара, с другой — своего быта, простых, но повседневно необходимых забот о доме, о хлебе насущном, о семье, вверившей ему свою судьбу.

А вот перед нами новый круг проблем, иной жанр — едкая сатирическая проза В. Аксенова, посвященная бездуховной жизни людей, полоненных «зеленым змием».

И снова иная проблематика, другой жанр, своя стилистика: в жанре психологических изысканий работает Ф. Чирсков — безусловный интерес представляют его картины восприятия симфонической музыки человеком.

Мне кажется, на диаметрально разнесенных позициях этого круга творческих поисков членов «Клуба-81» стоят И. Адамацкий и Б. Улановская. Если первый дает резкое, без полу-

тонов воспроизведение самих изображаемых событий, то вторая всматривается прежде всего в рефлексию, раскрывает поток сознания человека, осмысляющего подчас даже не сами события, а лишь след событий.

Мне видится явный отзвук жизненного и профессионального опыта практически во всех представленных здесь вещах: режиссер театра мима Н. Подольский воспроизводит не столько Город, сколько романтически-загадочную декорацию его; инженер И. Охтин точно строит конструкцию своего юмористического рассказа по принципу «необходимо и достаточно»; математик-программист А. Бартов методом перебора ситуаций высмеивает безмыслие тех романистов, которые как раз главное-то и опускают в своих якобы дотошных исторических описаниях; матрос и художник П. Кожевников рисует действительность в широком диапазоне ассоциаций человека, обладающего приметливым глазом, и т. д. и т. п.

Поиск целостности характерен для многих стихов В. Кривулина, С. Стратановского, Б. Куприянова, О. Охапкина, А. Миронова. Поэты, преодолевая рамки субъективности, ищут суть вещей не столько среди внешних реалий, сколько на карте истории и культуры. Далекие по времени и месту явления и ценности сближаются. Поэтический язык либо уплотняет историю до некоторого общего итога, либо раскрывает в предметах повседневного историческую глубину. Отсюда ретроспективность как способ осмысления настоящего, расширение лексики за счет включения в нее архаизмов и использование интонационно-синтаксических оборотов допушкинской поры.

Иногда, как, например, у Е. Шварц, читатель встречается с опытом реконструкции образной системы древних мифов. Достаточно привести только названия некоторых стихотворений сборника, чтобы отметить серьезный интерес их авторов к отечественной и мировой истории и культуре: «Гоголь в Иерусалиме» С. Стратановского, «В ночь на Невскую сечу», «Квадрига (памяти А. С. Пушкина)» О. Охапкина, «Голландия. XVII в.» А. Илина. Можно было бы назвать немало стихотворений, обращенных и не к столь дальней истории, например к нашему городу, но отмечу лишь цикл монологов В. Шалыта. Поэт стремится воспроизвести речи, которые могли произнести палачи и жертвы гитлеровского нацизма. Чудовищная система насилия обнажается изнутри. История перестает быть просто историей, она становится голосами, вплетающимися в голоса наших современников.

Художественное оформление сборника принадлежит члену «Клуба-81» Ю. Дышленко.

*Юрий Андреев*

## Игорь Адамацкий

### *Каникулы в августе*

В теплый вечер расстались мы прохладно. У калитки ее дома под пышной рыжей рябиной с тяжелыми кистями багровых ягод я по привычке привлек девушку к себе, она отстранилась. В дрожащей улыбке таилась трагическая белизна зубов, в больших глазах под высокими бровями — вопрошающая жертвенная святость.

— Что, — сказал я, — полнолуние в тебе бунтует?

— Не то. Не то. — Она сорвала ягоду, надкусила и бросила. — Нам нужно серьезно поговорить.

— Только этим и занимаемся... У тебя всё в порядке?

— Не волнуйся. Спокойной ночи. — Она толкнула калитку и, опустив голову, пошла по дорожке, выложенной красным кирпичом.

Помахивая рябиновой веткой, я прошел широкой темной улицей к шоссе и свернул к крутому берегу Невы. Было поздно, я не стал дожидаться автобуса и неторопливо побрел пешком.

Свет фонарей падал на воду на середине реки, блеснул узкими упругими дрожащими полосами, а дальше покачивался малиновый фонарь бакена, и было видно, как у другого берега кто-то неразличимый выгребает в лодке против течения.

Близнецов я сначала почувствовал, а потом увидел. Можно было уйти напрямик к шоссе, подальше от берега, а я шел и насвистывал, и смотрел, как снизу по реке из-за поворота выходит игрушечный сверкающий пароход. Его верхняя палуба ярко освещена, там угадывается публика, ветер приносит музыку, она то затухает, то усиливается, пытаюсь перекрыть едва наполненное пространство. Мужской голос поет про любовь, ветер обрывает слова и отбрасывает за корму.

Старший близнец сидел на берегу под створой, указывающей крутой поворот в этом месте реки, — сидел, свесив ноги, обнимал какую-то подругу и втихомолку тискал. Младший близнец купался. Я слышал, как он фыркает в воде, хотя его самого не было видно — внизу темно и на воде плоско лежит тень берега.

Когда я подошел, старший поднял и поставил на ноги девочку, слегка шлепнул ее ниже спины:

— Ну, киса, дуй без оглядки.

Он посмотрел, как она бежит, только светлая юбка трепыхается, как хвост перепуганной сороки, потом повернулся.

— Привет, — улыбнулся он и сплюнул сквозь дырку между зубов, напоминая, как весной мы с ним схлестнулись на танцах.

Драться тогда совсем не хотелось. В те дни приезжала из Москвы девушка — на каникулы домой, и у нас начинались приятные дни, так что в животе замирало — «ты меня любишь и я тебя любишь», — и мне, понятно, было не до близнецов. А он раз толкнул меня плечом, потом другой раз, а потом, подтанцевав, ущипнул мою девушку. Это он зря. Музыка захлебнулась, но контрабасист, как бывало в таких случаях, с грустью перебирал струны. Близнец выпрямился, посмотрел на парней за моей спиной, понял, что на этот раз ему не в жилу, сплюнул на ладонь сломанный зуб, улыбнулся и протянул мне:

— На, возьми. Потом вставишь.

Хороший парнишка. С тех пор он начал мне нравиться. А теперь мы случайно встретились на пустынном берегу в половине первого ночи, в тишине, откуда утекали последние всплески мелодии проплывающего теплохода.

Я потоптался на месте, утверждаясь крепче, нащупал ногой и отбросил камешек. Драться не хотелось, совсем не хотелось.

— Когда зуб вставишь? — спросил близнец.

Младший вылез из воды, и я краем глаза видел, что он застегивает брюки, просовывает руки в рукава рубашки, завязывает рубашку узлом на голом животе и лениво поднимается вверх.

— Сейчас некогда твоим зубом заниматься. Подождем, когда всю челюсть вставлять придется.

Я наблюдаю, как младший выбирается на берег, молча подходит к створе и начинает выламывать доску.

— Тебе помочь? — спрашиваю я.

— Поторопился бы с зубом, — говорит старший. — Мне жевать нечем. Любимый зуб. Ковырять негде.

— В носу ковырай. И не жуи. Глотай целиком. — Я внимательно разглядываю его в оранжевом свете створного фонаря. Парень он красивый. Щеки — помидоры, волосы — белый каракуль. Видный, нахальный, добрый, глупый. Такие плохо кончают. Или на них сваливается сумасшедшее везение. Кому как.

— Вы что, ребята, сразу двое или по одному?

— Можем и по одному.

Старший делает шаг ко мне. Еще немного, и я достаю его...

...Они бросили меня и ушли. Я лег на краю картофельного поля рядом со створой на холодную твердую тропу. Потом увидел черно-розовое небо, белые звезды, они тепло и недоступно скорбели, и ощутил огромное безразличное спокойствие, наполнявшее острую тишину дремотной одурью, а внизу живыми вздохами плескалась грустная волна и возле лица бегали неведомые бессонные букашки. Плохо, что и выругаться нельзя, — выбитая нижняя челюсть отвисла, за ушами каменно затекли желваки, тупая боль стучала изнутри в затылок.

Я лежал под треугольной створой, там дремали жирные мохнатые мотыльки, а сверху далеко за излучину реки смотрел яркий фонарь, в его свете кровь на руках казалась зеленой. Осознаю тело, постороннее и чужое, потом встаю, хватаясь за доски створы.

Стоять непривычно, нога будто складывается, в ней что-то цепляется, но двигаться нужно — перебраться через картофельное поле, через шоссе и мимо магазина и сторожа, он ходит перед слабо освещенными витринами, ходит не для бдительности, а от скуки, и мой растерзанный вид может вызвать лишний интерес — вывихнутая челюсть не закрывается, на подбородок вытекает смешанная с кровью слюна.

— Ва-ва-ва, — ругаюсь я, озираясь по сторонам. Обломки доски лежат рядом, а моего ножа не видно. Он удобно лег в ладонь, пока рука не попала под доску, которой сдуру размахивал младший близнец. Я пытаюсь рассмотреть нож на земле, но глаз слезится, и нет времени, надо уходить, пока не заметили с дороги, — ночь кончается, на какой-то час загустеет, а затем подкрадется неожиданный затуманенный рассвет, и по шоссе от поселка пойдут рабочие на завод, первыми столыры, чтобы успеть до начала смены выбрать в сушилке материал. Я даже как будто ощутил сухой смолистый древесный запах, шелест тонкой свежей желтой теплой скрученной стружки. Всего лишь больше года, как я ушел с завода, а какими далекими и невозвратными стали те времена. Поначалу еще бывал в цехе, но потом реже и реже, и не о чем стало говорить с ребятами, только про футбол и рыбную ловлю, и, когда проходил между рядами начатых и сошедших со ступеней деревянных катеров, наполнялся жалостью — отошло осязаемое, весомое, которого так не доставало.

— Ва-ва-ва. — Я начинаю потихоньку двигаться вниз от створы на деревянный помост, где внизу у самой воды обычно

полоскают белье, — вода в этих местах чистая, и белье обретает прохладный, ни с чем не сравнимый запах.

Сторож теперь не гуляет перед витринами, а сидит на ящике у дверей и с интересом смотрит на меня и не узнает.

Вот и парадный подъезд, одержимый недугом, — дверь скобочилась на одной петле, а лестница, изломавшись, восходит на третий этаж и манит попрыгать на одной ноге. Упираюсь рукой в стену, другой в перила и скок да поскок навверх сквозь собственный сдавленный смех про дурацкую несурзность себя, близнецов, драку: зачем?

Мачеха щелкнула выключателем в прихожей, открыла дверь и охнула. Одной рукой придерживала у горла незастегнутый халат, другой вытирала выступившую на лбу испарину.

— Ты, — сказала она мягким влажным шепотом, — догулялся.

Она провела меня на кухню, усадила на табурет, взяла чистое полотенце и вставила челюсть на место. Потом раздвинула оплывшее веко, заглянула в глаз, вытерла мне лицо мокрым полотенцем, приготовила холодную примочку, забинтовала и пропустила бинт под челюстью. Она проделала это быстро и аккуратно, как одному из десятка больных, с которыми ей приходилось возиться, — делать уколы, прививки, смазывать, разрезать. Лицо ее было таким же озабоченным и деловитым, какое я увидел два года назад, еще работая на заводе, пришел с травмой — гвоздем разодрал ладонь. Недурна, подумал я тогда, глядя на ее маленький носик и пухлые губы. Надо бы заняться. Правда, она старше меня, но ведь как хороша. Возможно, о чем-то похожем думал в те времена и мой отец. Но пока я размышлял, отец, человек решительный, взял и женился. А вскоре она овдовела.

— Рот не разевай широко, а то челюсть опять соскочит. — Она села у стола на табурет, положила руки на колени под выступающим животом и посмотрела на меня с жалостливым упреком. — Что-нибудь еще не в порядке?

Я помолчал, отдыхая, потом вспомнил:

— Нож. Где-то на берегу у створы. Помнишь, с костяной ручкой и пружиной. Отец подарил.

Тогда она заплакала, будто кто равномерно выпускал пипеткой капли из глаз. Слезы осторожно стекали по щекам и пропадали в углах рта. Последнее время она плакала часто, без усилий и видимых причин.

— Перестань. Это невыносимо.

— С кем ты был? Понятно, опять эти близнецы. Просила тебя не связываться с ними. Дождешься, убьют в драке.

— Ничего. Они ребята свои.

— Свои, а так избили. Чего вы не поделили?

— Ладно, это наши дела. Возьми фонарь и сходи на берег. Найди нож. Там на рукоятке мое имя. Сам я идти не могу.

Она взяла фонарь, набросила плащ прямо на халат и ушла. Вернулась она без ножа.

— Его нет. Ты кого-нибудь ударил?

— Все в порядке. Они взяли его с собой. Я же говорю, они ребята мировые. Посмотри, что у меня с ногой.

Я поднял грязную брючину, мачеха осмотрела ногу.

— Скорее всего, закрытый перелом. Днем сделаем снимок. Давай помогу дойти.

— Не надо, сам. Свари, пожалуйста, кофе с пенками.

— Боже мой, — неожиданно улыбнулась она, — ему сейчас пенки нужны.

Я похромал в свою комнату, разделся в темноте, лег под простыню и стал смотреть, как медленно рыжеет небо, его слишком много из окна, небо как прорубь в бездонность, откуда возвращаешься измененный, переходишь из одного состояния и мира в другой и не улавливаешь грани, их разделяющие. Что-то сейчас делают близнецы, думал я. Глубоко порезать я их не мог, держал палец на лезвии, но лучше бы ничего этого не было, и зря я пошел берегом, но что-то непременно ожидалось случиться тем летом, слишком спокойной и размеренной была жизнь, если не считать не сданного за семестр экзамена по латинскому.

Мачеха входит в комнату, зажигает свет — я зажмуриваюсь одним глазом — и ставит на стол чашку и сахарницу, совершенно теми же округлыми движениями и с тем же неодолимым терпением на лице, с каким приносила кофе отцу, если играючи дулась на него. Мне казалось, что их жизнь — это игра по каким-то своим правилам, которых мне не понять. Пока он не умер.

Неосновательная это была смерть. Да и весь он был какой-то несолидный. Плохо рассказывал анекдоты, пел, как самоед, самые старые песни на один и тот же лад и мотив, любил всеми забытые исторические романы и почему-то Диккенса. Потому и друзей у него было немного, и самый близкий — местный судья, у которого с финской кампании не сгибалась нога, и судья, летом ездивший на работу на велосипеде, крутил колеса одной педалью, а вместо другой была приварена широкая подножка.

Ощущение утраты приходит позже, но из всей полноты сопряжений остаются лишь факты, наличный скелет бытия, нерасторжимая схема связей. Отец всегда вызывал ожидание шутки, но действовал решительно и бесповоротно, и мне каза-

лось, что он неудачно сострил, оставив меня сиротой, а мачеху с беременностью.

— Тебе утром на работу, — говорю я, — шла бы ты спать.

— Успею. Я принесу таблетки.

Она приносит из кухни табурет, ставит возле моей постели, на мгновение наклоняется, я вижу в распахнувшийся халат набухшие груди. До родов ей, по моим подсчетам, месяца три.

Я сижу, прислонясь спиной к подушке, ставлю чашку на колени, долго размешиваю сахар, кладу ложку на блюдце и прихлебываю кофе. Говорю сквозь зубы, потому что челюсть подвязана:

— Хочешь, я тебе другую кофеварку сделаю? Приду как-нибудь вечером к ребятам на завод и выточу из нержавеющей стали. Нужно сделать для тебя что-нибудь хорошее.

— Сделай. — Она садится у письменного стола, сдвигает колени, убирает ноги под табурет и листает книгу — хрестоматию по древнеримским авторам. — Когда тебе «хвост» сдавать?

— В начале сентября.

— А что твоя девушка? Давно я ее не видела.

— Она бывает в твое отсутствие. А теперь и вовсе не придет.

— Поссорились?

— Она не любит меня.

— Пожениться бы вам. Это я советую как мачеха, — улыбается она.

— Спасибо, я подумаю. — Я выпиваю кофе и ставлю чашку на простыню. — Слушай, а как у тебя с отцом было? Как начиналось и всякое такое? Вам всегда было хорошо? Ты извини, что я спрашиваю. Он сам не успел рассказать. Он всегда про себя рассказывал. И про женщин тоже. Он думал, будет лучше, если я от него узнаю.

Мачеха молчит и чему-то улыбается, а я краем глаза рассматриваю ее, — припухшее за время беременности лицо, редкие волосы, стянутые на затылке черной аптечной резинкой, выпуклый лоб, взгляд растерянных, удивленных, смотрящих вовнутрь глаз.

Когда отец привел ее в дом, она была крашеной блондинкой, и он сказал, что в блондинок красятся шлюхи, и она восстановила естественный цвет, а теперь и не вспомнить в подробностях, какой она была прежде, хотя времени прошло чуть больше года, а до этого было еще несколько месяцев, как она неизвестно откуда появилась в поселке — молчаливое существо с тихим бесцветным голосом.

— Было у нас просто. Отец, — она так теперь и называла его в разговоре со мной, — отец пришел ко мне на медпункт, зашел в кабинет, сел и молчит, разглядывает. Я спрашиваю, на что жалуетесь. Он говорит, что жалуетесь на скуку и одиночество. Я отвечаю, что у меня нет времени заниматься глупостями. А он говорит, что все это не так глупо, как кажется на первый взгляд. И ушел. А потом я весь день чувствовала его присутствие в кабинете. И еще сказал, чтобы после работы я не уходила и ждала его. Помню, разозлилась я, думаю: за кого он меня принимает? А уйти так и не смогла. Будто он мою волю выключил.

— Да, это он умел.

В тот день я сразу сообразил, что у него что-то такое на уме. После обеда он пришел в цех будто по делу, а сам нацеливается на меня, идет не торопясь, то с одним перекинется словом, то с другим, и двигается ко мне. Я сижу верхом, раскинув ноги, на днище катера и прошиваю гладкую строганую деревянную обшивку медными гвоздями, жду, что дальше будет. Мне еще в столовой ребята сказали, что инженер делает стойку в медпункте. Наконец он подходит ко мне и показывает рукой, чтобы я слез. Я положил молоток, съехал вниз, смотрю на отца. Глаза его всегда казались мне пзлишне умными, как будто кто-то другой смотрел сквозь них, и не иссохшая пуповина родительско-сыновней любви, а что-то иное, гораздо более глубокое и строгое, связывало нас, и мы, придя издалека в этот единственный мир, избрали друг друга для неведомых высоких целей.

— Вот что, старина, — сказал он. — Слушай сюда. Как кончишь смену, двигай домой. Возьмешь деньги и — в гастроном. Посмотри, какое вино поприличнее. И шампанского. И пожевать чего. Усёк, гусёк? У нас сегодня гостья.

— Понял, папа. Сабантуйчик. Я заманиваю, а ты по ногам бьешь.

— Разговорчики! Не сабантуй, а культурный отдых и беседа о важных жизненных проблемах. И чтобы за столом никаких пошлых разговоров, никаких сальностей, дурацких намеков. Никаких анекдотов.

— Ладно, я про что-нибудь духовное, медицинское. Вирус-А или про почечную лоханку.

— Никаких лоханок, понял? Ты должен выглядеть серьезным, начитанным юношей. Вспомни что-нибудь про литературу или музыку.

— Слушай, батя, ты кого замуж выдаешь, меня или себя?

В тот вечер вышло как нельзя лучше. Мы с отцом так старались, что бедная медичка растерялась, кого из нас предпо-

честь. Потом отец шепнул мне, что намылит шею, и я уступил, у него мускулов больше.

— Это было в тот вечер, когда начался северо-западный ветер.

— Да, ты тоже помнишь? Это было в марте. Я вечером вышла на улицу и увидела сломанный тополь.

— Помню. Весной и осенью здесь сильно дует. На отца и меня ветер всегда действует. Становишься разговорчивым, хочется выпить, идти к людям, совершать благородное. Пошуметь, попеть, всякое такое. Ты из других мест, тебе трудно понять.

— Нет, я теперь привыкла. Только в дождь тоскливо... А помнишь, под новый год отец потащил меня в лес? Мы вспомнили, что нет елки.

— Помню. За вами в лесу увязалась странная собака.

— Да, очень странная. Стоит рядом и отойдет в сторону. А когда стали выходить из леса, она и вовсе исчезла. А елка была?

— Что падо. Ты в ту зиму палец обморозила.

— В эту зиму. Еще кофе? Хочешь поесть? Закреть окно?

— Спасибо, ничего не нужно. Иди поспи немного.

— Напрасно он нас оставил. Или так ему было нужно?

— Не знаю. Он умел присутствовать и оставаться, когда уходит.

— Как ты думаешь, — спросила она с надеждой, — это долго будет?

— Это зависит от тебя. Память всегда с нами. Главное — не заваливать мусором. Не принимать чужое и случайное.

— Скажи, я сейчас совсем редко заговариваюсь, правда? Просто даже и не заметно. Совсем не бросается в глаза, правда?

— Совсем не заметно. У тебя все в порядке.

— Я ужасно боюсь, что опять начну заговариваться.

— Да нет же. Поверь, все в порядке. Если что и бывает, так это от беременности. Беременные — не такие, как все. Особенные. Они вынашивают будущее. Будущее всегда непонятно. Так что говори, что хочется. Что придет в голову.

Она погасила свет и ушла к себе. В комнате обозначился прямоугольник окна, небо из рыжего стало сиреневым, потом оно заголубеет, зазеленеет, а потом его вовсе не станет, а я, лежа под простыней, ожидаюсь рассвета. И так каждый вечер. Мы вспоминаем всякую мелочь, которая случилась с нами, даже если меня при этом не было. Но я делаю вид, будто все мне известно, и подтверждаю, что так оно и было, как она рассказывает. Как они попали под дождь, она вся вымокла, и

отец удивился, что она не носит лифчика. Как они бежали на поезд, она упала и порвала чулок. Как их не пускали в ресторан, потому что на отце не было галстука, и отцу пришлось притвориться иностранцем, и их посадили за отдельный столик, и официант заговаривал по-иностранному, а отец только и знал, что «йес» и «ноу». Хорошо, что она останавливалась рассказывать про остальное, это было бы невыносимо. Каждый раз я выслушивал ее все с большим трудом, а для нее эффект отцовского присутствия не угасал, но возрастал, напоминая настойчивым стуком в живот, шевелением под сердцем, или как это у них бывает.

Утром я люблю пускать из окна бумажные самолеты, сложенные из контрольной по древнеримским авторам. С третьего этажа летят они, бумажные самолеты, далеко через дорогу и над Невой к другому берегу, особенно когда на несколько дней подует северо-западный ветер и над лесом прочертит на горизонте небо малиновыми полосами, влажными на закате, и в такие дни нет места, где хотелось бы оказаться, и нет людей, с которыми хотелось бы говорить, хотя во всяком одиночестве есть недоразумение, не имеющее прав на существование. Одиночество — не природное состояние, животным оно неизвестно, и чем дальше мы уходим от природы, тем тягостнее и невыносимее становится оно. Я лежал на холме в Тевтобургском лесу много веков назад, лежал, прикрытый порванной и окровавленной тогой, нет, плащом, потому что в тогах не воевали, — такой же душной августовской ночью, как прошедшая ночь, и прислушивался, как летают над полем битвы, точно души павших, черные совы. Квинтилий Вар, верни легионы!

Небо каждое утро другое и каждое утро одно и то же, в нем нет разницы между вчера и сегодня, между завтра и двадцатью веками назад, встречу с которыми можно отложить из-за сломанной ноги, пока не привыкну к древнеримским авторам, пока не представлю, как выглядели те люди, зачем жили и зачем умирали и почему не пользовались вилками во время еды.

Сидеть у окна в перемене цвета облаков, под гипс лить «полостровскую», чтобы умерить зуд и заниматься римскими авторами, — *adpare animosus rebus angustis*.\*

Времени нет, и нет его делимости, и можно просыпаться до рассвета и засыпать поздним днем, когда у окна прохлад-

\* Перед лицом затруднительных обстоятельств покажи себя мужественным (*Гораций*).

нее, чем на улице, а дом ложится тенью на газон, и тень дома выше его самого, и трубы и кресты антенн достают до шоссе, до автобусной остановки напротив, и люди топчутся на крыше.

Так и сижу у окна, положив каменную ногу на подоконник, сижу с книгами под рукой и наедине с сыном вольноотпущенника Квинтом Горацем Флакком, с виду невысоким и тучным, как все чревоугодники.

На шоссе движение начинается в пять утра, идут пешком и едут на велосипедах рабочие на завод, из города первым рейсом — автобус, порожняком — грузовики с прицепами, и через час обратно в город с пассажирами и кирпичом. Чуть позже начинается движение на Неве — закопченные промасленные буксиры, короткие и толстые, и на палубу вылезает кто-нибудь в полосатом тельнике, бросает за борт ведро на веревке, черпает воду и снова исчезает в преисподней; широкие и длинные самоходные баржи с песком, и на корме висят веревки с бельем — застираемые выцветшие детские рубашки, платья в горошек, в полоску, в квадрат, джинсы с блестящими кнопками; потом пойдут пустые речные трамваи, и в рулевой рубке кто-то безусый в надвинутой на нос фуражке; пароходы на Валаам и Кизи; моторные и весельные лодки в непрерывном деятельном ритме.

Времени нет, потому что оно целиком в моей власти, я могу делать с ним, что вздумается, — пить его, цедить сквозь зубы, заглатывать кусками, предоставлять ему течь в любом направлении и с любой скоростью, складывать в остроносые самолеты и отправлять из окна в стоячую жару, такую плотную, что ее можно резать брикетами и продавать на север. Все, что есть, — кусок неба, заключенный в оконную раму, и я, обладатель естественнейшей картины, вижу, что облака меняют цвет от нежно-сиреневого до блекло-зеленого, потом зелень голубеет, синеет, становится почти фиолетовой, черной, густой, как пыльца бабочки, которая села на подоконник и равномерно складывает и расправляет крылья, а облака так жирно окрашены, что если посмотреть вдоль ноги, лежащей на подоконнике и замурованной в гипс, из которого торчат будто чужие пальцы, то можно увидеть, что облака пачкают ногти.

Мир уравновешен во мне и вовне, он одновременно убывает и прибывает, проходит сквозь неуклонно и неостановимо, ему безразлично, двадцать мне лет или двадцать веков, он течет, чтобы и во мне происходили изменения; мир усложняется, накапливается, накатывает и отбегает, как волны прибоя, и рисунком, оставленным на песке, время с завидным упорством отпечатывает утраченный смысл.

*Sper longam receses spatio brevi,\** — пишу я на бумаге, складываю самолет и отправляю в окно, он ныряет вниз, потом, подхваченный ветром, взлетает вверх и уходит влево вдаль. Ага, думаю, начинается северо-западный, наступает момент свершения.

В прихожей ржаво дребезжит звонок. Это жизнь требует к себе. Не пойду. Во-первых, я в трусах, во-вторых, римлянина и философа так не призывают к действию. Должен был рхнуть удар грома, от которого дверь сама бы вывалилась. Еще раз, настойчивей, звонят. Хорошо. Попробуйте еще раз. Вот так. Теперь можно не торопясь натянуть брюки, сунуть под мышку костыль и открыть просящему. Так приходит любимая.

На ней что-то сарафанно-блузочное небесного перелива, а в лице радость встречи, ожидание, которое сейчас почему-то раздражает. Я смотрю на нее и завидую ее обаянию, внутренней гармонии, неспешному бегу чувств, завидую, как эпоха отчуждения завидует эпохе возрождения.

— Мы так и будем здесь стоять? — спрашивает она.

Любит? не любит? — во мне возникает ненужный вопрос: чистая, естественная, как дыхание, — она еще не личность, но дух личности, воплотиться которому в меня? в другого? И тот осадок непонятной горечи, обманутой сокровенности, чему во мне уготовано много места и нет объяснения, в ней открыто не принимается, и в таком отрицании несчастья я вижу недоступную мне силу.

Я создаю на лице гримасу боли и, преувеличенно хромая, ковляю за пришелицей из современности. Она видит беспорядок, разбросанные книги — Овидий, Гораций, Светоний, Плутарх, украдкой вздыхает, а я разглядываю ее — тщательно и продуманно причесанную голову, завитки волос в нужных местах, слегка подведенные веки, голубую жилку под ухом, в нежном уголке моих прежних поцелуев.

— Ты сегодня изумительна. Прелесть как хороша, — говорю я бесцветным тусклым голосом. — Как фея. Как танец мечты. Куда это ты так вырядилась?

— К тебе, грубиян.

— А-а, тогда ладно. Хочешь апельсинового сока? Мачеха велела напоить тебя апельсиновым соком. Она знала, что ты придешь. У нее чутье на тебя.

— А что еще она велела?

— Чтобы я женился на тебе. Говорят, мы идеальная пара,

\* Надежду на далекое будущее ограничь коротким промежутком времени (*Гораций*).

Что мы созданы друг для друга. Как два шанса из двух разных миллионеров.

— Меня тоже стоило бы спросить.

— Зачем? Я и так знаю, что ты не пойдешь за меня. Хочешь сока?

— Хочу. Тебе принести?

— Бр-р. Дрянь этот сок. Разбавь водой, а то отравишься.

Она уходит на кухню, хлопает дверцей холодильника, возвращается с большой чашкой, садится на подоконник на фоне неба, я вижу, что облака перестают течь и мягко располагаются вокруг ее головы. Она пьет маленькими глотками и рассматривает меня.

— Поверни голову, — говорит она. — Вот так. Ай да синяк. Какая палитра. Синий, зеленый, желтый, розовый, красный. Выдающийся синячище. Чем это?

— Деревянной доской.

— Дураки вы, парни. Делать вам нечего. Чего подрались?

— Трудно ответить, — важно говорю я. — На самом деле все намного сложнее. Спонтанная агрессия, может быть. Но лучше, если доктор Фрейд спросит об этом у доктора Лоренца.

— Все равно некрасиво, — сморщивает она нос. — А я после института стану искусствоведам. Ты знаешь, что такое искусство?

— Понятия не имею. Что-нибудь искусственное?

— Искусство — сила, преобразующая человека в мире и мир в человеке, — произносит она тоном проповедника, пробающего на туземце первые аккорды своей новой веры.

Она ставит недопитую чашку на подоконник, подсовывает руки под себя, раскачивается и разглядывает вытянутые ноги от круглых колен до пряжек на розовых босоножках. Как все красивые, она кажется несколько глуповатой и догадывается об этом.

— Хочешь, поцелую? — говорит она, удовлетворенная видом ног.

— Нет. Тебя стошнит.

— Вот как. — Она спрыгивает с подоконника и садится на диван. — Я буду отсюда, снизу, смотреть на тебя и ловить каждое слово. — Она злится, у нее бледнеют скулы, расширяются щеки.

Трудно было объяснить ей, что я встретил ее неожиданно и напрасно, когда не было опыта обратиться в силу, постигнуть глубину всей этой мимолетной вечности; что много позже, когда теперешнее станет насущным, как избавление от удушья, у меня не будет ее, и единственным напоминанием станет северо-западный ветер, свободный, как всякая приобщающая

обширная стихия; что я, как только пойму наваждение ветра, стану, точно лось весной, приноживаться, прислушиваться, почувствоваться к тому, перед чем в неоплатном долгу. Для меня ты слишком красива, милая, и этот лишек как кандалы на ногах: не уйдешь, не взлетишь, и век — ходить по кругу: бряк да бряк.

— Я останусь, чтобы понять, — говорит она с решимостью надежды. — Куда ты живешь? Назад, к предкам? А кто виноват?

— Никто не виноват, — улыбаюсь я, кажется, мудро и горестно. — Во всем виноват август, северо-западный ветер, редкие безумные дожди, снова сушь и тишина, долгое молчание. Виноват август. Эпоха Августа. Продолжительное спокойствие, непрерывное бездействие народа, постоянная тишина в сенате и все более строгие порядки принцепса умиротворили и самое красноречие, как и все остальное. Так говорит Тацит.

— Ты что-то скрываешь, — сказала она.

— Нечего мне скрывать. Этим я и опасен. Но я скрываю, что мне нечего скрывать, и это придает мне значительности. Но что-то есть на самом деле, что я хотел бы сохранить только для себя. Как у нас все было. Какие слова мы говорили после этого. И как ты смеешься, и как смотришь на меня. И то, что я чувствовал, что ты все это чувствуешь. И только моя природная скромность...

Она смеется.

— Нет, это не семейное качество, но обретенное. Отец был ужасный хвостун и эгоист. Подкинул мне на руки молодую застенчивую вдову, чтобы я заботился о ней, ворошил ее воспоминания о нем, оберегал от сплетен.

— Разве он просил тебя об этом?

— Нет, но от этого никуда не денешься. Жизнь загоняет в угол. Всегда нужно быть готовым взять на себя бремя чужих страстей. Для него их любовь, кажется, была делом чести и доблести, каким-то долгом, которого мне не понять. Ради этого он восстановил против себя весь поселок. А потом взял и умер. Представляешь, если вдруг ребенок будет похож на отца? А мы с ним как две капли одной воды. Тогда скажут, что я — автор.

— Циник. Нельзя быть таким в двадцать лет.

— Только в двадцать и можно быть жестоким. Сентиментальность приходит позже, как молитва о невозвратном. Отец в своих делах был мастак. Он ввелся в каждую клетку ее сознания, и этим испортил ей жизнь. Она могла бы выйти замуж, но он всегда будет в ее глазах и памяти.

— Он вовремя ушел... Я думаю, мы любим любовь, и жизнь, и все хорошее потому, что оно недолговечно.

— Мы любим хорошее потому, что оно хорошее. Есть и другие причины. Мы любим, когда душа не приемлет зла.

— Ты засиделся, — сказала она. — Пойдем в кино? Там какой-то боевик первым экраном. И костыль возьми, Умничка. Ты хорошо смотришься с костылем. А все-таки, из-за чего вы дрались?

— Старший близнец имел на тебя виды, — соврал я.

— Ты рыцарь. Господи, как я тебя люблю.

— Не ваяй дурака. Ты меня не любишь. Я тебя давно раскусил. С самого детства. Ты сломала мой песочный дом. Не прошу.

— А ты оторвал ногу моей кукле. Помнишь, как моя мать была без ума от твоего отца. И если бы они поженились, то я была бы ты, а ты был бы я. Поэтому моя мать терпеть тебя не может.

— Да, читал. Монтеки и Капулетти. Как быстро бежит время.

После кино мы медленно идем сбоку от шоссе, по пыли, рядом с остывающей грязной, резко пахнущей асфальтированной дорогой. Я равномерно выставляю вперед костыли, потом переносу ноги, на одной вместо ботинка подвязана старая калоша.

Незаметно темнеет, становится прохладнее, в небе возникают звезды, перестают летать ласточки, ветер сносит редких комаров, издалека пахнет дымом.

— Через двадцать лет сюда придет город, и здесь будут люди, люди, люди. Много-много людей.

— Хорошо бы сходить на тот берег за грибами, — скавал я.

— Помнишь, в прошлом году на том берегу на нас набросились клещи. Вот ужас, — передернула она плечами.

— Да, тогда драпали мы красиво. Хочешь, я приеду к тебе на три дня?

— В общежитие?

— У меня в Москве тетка, а у тетки большая квартира, а в квартире пустующая комната, а в той комнате большая кровать. Представляешь, как здорово? Я приезжаю, ты встречаешь меня на вокзале, натурально, целуешь, радостная, мы устраиваемся у моей тетки, потом идем куда-нибудь, Потом весь вечер бродим по городу.

— Взавшись за руки.

— Верно, откуда ты знаешь? Потом идем в кафе. Садимся за столик у стены, где только два места. Сидим против друг друга, я через стол касаюсь слегка твоей руки, смотрю в твои глаза глубоко и бездонно, говорю тебе, как я тебя люблю. Потом читаю наизусть кого-нибудь из римских авторов. Что-нибудь веселенькое: *ad culam matris tuae...* \* Забыл, как там дальше. Потом опять говорю тебе, какая ты красивая, умная, лукавая, женственная, преданная, разнообразная, переменчивая, страстная, щедрая...

— Потом у тетки ложимся в большую кровать?

— Угадала. На прохладную и скользкую холщовую простыню. Но не сразу. Сначала садимся у окна, вдыхаем холодный московский воздух. Сидим у окна, не зажигая света.

— Лучше я сижу у тебя на коленях.

— Да, ты сидишь у меня на коленях, перебираешь волосы на голове, а я говорю, какая ты красивая, умная...

— Это ты уже говорил.

— Правильно, тогда мы молчим и слушаем транзистор. Тебе какие песни нравятся?

— Песни протеста.

— Тогда, значит, так: ты сидишь у меня на коленях, я поглаживаю твои бедра и мы слушаем песни протеста. Что ты на это скажешь?

— Неприкрытый цинизм.

— Ладно, — говорю я, — давай прикроем цинизм. Поженимся. Телевизор в кредит. Холодильник в рассрочку. Пылесос в долг. И детскую коляску на мою стипендию.

— Давай вместо этого спустимся вниз. Я хочу искупаться.

Мы сходим с дороги на тропинку, спускаемся с высокого берега и дальше идем по песку до больших камней у воды. Я сажусь на камень, доставленный сюда последним оледенением, камень еще теплый, втыкаю костыли в песок и смотрю, как девушка раздевается, снимает купальник, кладет его на камень, где я сижу, идет по краю воды вверх по течению. Сначала я вижу нетронутый загаром треугольник на ягодицах, потом и это расплывается в темноте.

В воздухе тепло и вода теплая. Газеты писали, что этот август самый жаркий за минувшие восемьсот пятьдесят шесть лет.

Я пытаюсь разглядеть на воде ее голову, услышать всплески, но на воде — блестящие дорожки от фонарей и рябь от только что прошедшего катера, и я замечаю девушку, когда

\* Ругательство (лат.).

она выходит из воды передо мной. Рожденная из пены и омытая ночным воздухом.

— Зажмурься, я оденусь.

— Когда раздевалась, не просила жмуриться.

— Это разные вещи. — Она быстро одевается и пристраивается рядом со мной. — Теплый камушек. Можешь обнять меня. Еще крепче. А эту руку положи сюда. Вот так. Умница. Теперь тепло.

— Какие соски жесткие. Как проволока. Царапают.

— Помнишь, мы на берегу мину нашли.

— Помню, ты за руки хватала, чтобы я не трогал.

— Тут раньше кусты малины были. Теперь все пусто. Земля лысеет от старости. Смотри, рыба плеснула. Хочет на нас посмотреть. И еще вон там. Рыбы видят в темноте? Ты узнай, после мне расскажешь. Интересно узнать про всех животных и всех человек. Я читала в какой-то книге, что нужно, чтобы быть счастливым. Нужно наложить свою личность на всю свою жизнь. Помнить, что ты — одно со всеми.

— Какую же личность надо иметь? Может, лучше — наличность? И если — одно с миром, то где для тебя место?

— Мне много не надо. На камушке здесь, рядом с тобой.

Мы помолчали. Ночь наполнилась звуками деятельного движения.

— Помнишь, — сказала она, — ты в детстве стихи сочинял? Ты говорил, что есть стихи утренние, дневные, вечерние, ночные и так далее.

— Я ошибался, их больше. Цветные и бесцветные, дамские и мужские, наглые и деликатные, и всякие другие.

— Милый, — она по-кошачьи потерлась своим щекочущим холодным ухом о мой подбородок. — Что-нибудь вечернее...

— Смотрю в тебя, как в тихий лик души, — настроил я полусшепот на дыхание ночи, — как в зеркало, не тронутое тленьем, и, звучный свет не в силах приглушить, смущен неизвестным чужим отображеньем. Мои угрюмые и резкие черты там смягчены, подвластные покою, и в вечности, которой я не стою, есть потаенный смысл простоты. Твой светел взгляд, в нем все мое значение, к нему склоняюсь, как грешник к алтарю, за кроткий горький подвиг примиренья благодарю.

— Ego — mei — mihi... aliquo numero sum...\*

— Ты с ума сойдешь от зубрежки, — говорит мачеха. — Отвлекайся.

\* Я — меня — мне... иметь какое-либо значение. (лат.).

— ...кайся. Не могу. Должен иметь «пятерку» по латинскому. Это мой долг. Успеть заплатить, пока не поздно.

— Не переплати, чтоб жалеть не пришлось. — Мачеха проходит в комнату и садится. Краем скатерти она прикрывает живот, а сверху кладет скрещенные руки. Живот у нее сильно вырос, заострился, и когда я думаю о том таинственном и страшном, что там происходит, мне делается холодно. У нее такой живот, что скоро во время обеда она сможет ставить на него тарелку.

— Когда ты родишь?

— В свое время, — говорит она спокойно, и я понимаю, что теперь ей ничего не страшно, она осознает поддержку в своем чреве. — За что ты меня не любишь?

— Плюнь в глаза тому, кто скажет, что я тебя не люблю.

— Не юродствуй. Ты думаешь, я украла у тебя твоего отца.

— Нет. Смерть украла его у нас обоих. Такова жизнь.

— Ты знаешь, о чем я думала, когда выходила за твоего отца?

— Догадываюсь.

— Нет, я думала, у меня будут трое мужчин — муж и двое мальчишек. Двоих я уже потеряла.

— Не говори так. Ты можешь меня усыновить. А я тебя уматерю.

— Хорошо, — соглашается она и водит пальцем по узору скатерти, — а если я уеду в деревню?

— Если надо — поезжай. Ты вернешься?

— Оставим это. Что ты будешь есть на второе?

— Кусок мне в горло не идет, я есть теперь уже не в силах.

— А если прозой?

— Яичницу с помидорами и перцем. По-гречески.

Мачеха вперевалку идет к двери, паркет радостно поскрипывает у нее под ногами. Даже вещи относятся к ней лучше, чем ко мне.

— Подожди, — говорю я, — давно хочу спросить. Когда вы с отцом успели?

— Когда он был в больнице. Я приходила дежурить ночью.

— Он знал, чем кончится операция?

— Он все знал.

— Да здравствует жизнь, — сказал я, когда мачеха вышла.

Его не сняли со стола, так и оставили. Опустили стол до высоты больничной кровати, закрыли по горло белой простыней и на колесах выкатили из операционной. Пока его везли, он сосредоточенно смотрел в потолок, потом спросил, который час. Услышав, что одиннадцать вечера, подумал, что, пожалуй, не стоило и приниматься за такую утомительную операцию, если от нее нельзя ожидать успеха. В палате его напоили прохладной кислой водой, показали, какую кнопку на стене нажимать, если что понадобится, и оставили одного привыкать к смерти. Он продолжал думать о том, что можно было бы сделать за недели жизни, если бы не операция. Получалось, что он успел бы сделать так мало, что это можно не принимать в расчет. Тогда ему стало страшно, и он начал нажимать кнопку на стене.

В палату заглянул и вошел хирург, делавший операцию, — плотный, крепкий, похожий на грузина, бывший военный врач. Он сказал кому-то в коридоре, чтобы вызвали дежурную сестру, затем взял стул, сел верхом и спросил, как дела. Умирающий осторожно откашлялся и выругался.

— Береги силы, — сказал хирург. — Тебе сделают укол, и станет легче.

— Мать твою и бабушку.

— Не трогай бабушку, — улыбнулся хирург, показывая улыбкой, что все не так плохо. — Это была самая блестящая операция за все тридцать лет моей практики.

— Хвастун. Ты был хвастун все тридцать лет твоей практики. Так ее и так. Скажи, чтоб принесли спирту.

— Нет. Тебе сделают укол. Лучше спирта.

Они замолчали, потому что знали друг друга давно и обо всем говорили раньше. Пришла дежурная сестра, поставила на стол железную блестящую коробку с инструментом и бумажный пакет с ампулами. Хирург рассеянно наблюдал, как под напором лекарства надувается бугорок на вене, моргал от усталости, думал о своих больных почках и о том, что он уже много часов на работе, и завтра выходной, и, значит, сегодня можно прийти домой и выпить, чтобы забыться. И тут же подумал, что никуда не уйдет, пока не умрет его друг, и пристыдил себя за такие мысли, что будто дожидается смерти, хотя на самом деле он сделал, что можно было сделать при таком развитии болезни. Сестра осторожно брякнула инструментом, собирая коробку, и молча ушла. Хирург проводил ее взглядом и посмотрел в глаза умирающему.

— Ты помоги моим с похоронами.

— Рано об этом говорить, — произнес хирург с профессио-

нальным оптимизмом и понял, что прозвучало фальшиво, потому что умирающий вдруг слабо улыбнулся. Он утвердился в мысли, что это будет недолго, немного и нестрашно, только противно. Он икнул, выругался и всхлипнул от слабости.

— Я отправил телеграмму твоей сестре, — сказал хирург.

— Она успеет?

— Должна успеть.

— Мои пришли?

— В приемном покое. Позвать?

— Сначала сына.

Мне дали белый халат, и я вошел к нему в палату. Он был желтый, как лимон, и худой. На подбородке кустиками вылезла щетина.

— Как ты себя чувствуешь, батя? Говорят, операция...

— Не валяй дурочку, — сказал он внятно. — У меня нет времени.

— Да, папа.

— Место выберешь на горке. Где кладбище. Возле моста. Там высоко и сухо. Ящик и ограду сделают на заводе. Ограду попроси широкую. Я люблю лежать просторно. Ты понял?

— Да, папа.

— Позаботься о моей вдове. Она, наверное, родит. Помогни ей, если она захочет твоей помощи. Если будет устраивать свою жизнь, не мешай. Ты понял?

— Да, папа.

— Возьмешь себе мое барахло. Рубашки и костюмы. Тебе надолго хватит. С вином не балуйся. Рано не женись. Не заводи дурных приятелей.

— Я все понял, папа.

— Иди. Позови жену. Как она?

— Молодцом.

— Ну и ладно. Подожди. Я страшно выгляжу?

— Неважно выглядишь.

— Возьми полотенце и разотри мне лицо. Нет. Позови сестру и попроси бритву. Побреешь.

Я побрил его и растер лицо мокрым горячим полотенцем.

— Вот и кончились каникулы, — сказала ты.

Мы не смотрели друг на друга, наши взгляды бродили по комнате, натыкались на предметы, скользили по книгам, падали на пол, на старый усохший паркет, поднимались по стенам, цепляясь за выцветшие обои, трещину в углу потолка, прыгивали на подоконник, задерживались на облупившейся

краске, на шпингалетах. Мы были как убийцы, вступающие в сговор.

— Да, кончились. Через две недели сдаю «хвост», и дальше все пойдет своим чередом.

— Ты хорошо подготовился?

— Как будто. Спряжения, глаголы и все остальное. Тексты тоже. Отрывок из «Галльской войны». Наизусть. И речь против Катилины. «Доколе, Катилина, ты будешь испытывать наше терпение!..» Я читал мачехе. Она говорит, мурашки по спине. И волосы встают дыбом.

— Как она? — спросила ты. — Скоро?

— Скоро. Уезжает в деревню. Рожать на свежем воздухе.

— Надолго?

— Мы еще не решили.

— Ты останешься один. Бедный. Давай соединим наши одиночества в общем беспредельном счастье, — сказала ты с вызовом.

— Не паясничай. Это тебе не к лицу.

— А что к лицу? Следовать твоим желаниям? Ловить взгляды и впитывать слова? Повелитель прихотей...

— Неплохая программа для любящей женщины.

— Ты боишься ответственности. За себя, за меня, за жизнь.

— Всему этому мне еще предстоит научиться.

— Может оказаться слишком поздно.

И ты ушла. Ощущение утраты возникло позже и возвращалось в меня, как в собственный дом, который еще не был построен.

Они явились, когда я их не звал и не ждал. Старший из близнецов с порога начал улыбаться во весь щербатый рот, а младший придавал приветливость всегдашнему своему угрюмому лицу.

— Мы тебя не забыли, — сказал младший.

— Мачеха дома? — спросил старший.

— Уехала рожать в Новгородскую.

— Мы ее утром видели.

— Значит, еще не уехала.

— А нам плевать, кто дома, а кого еще нет, — сказал младший. — Мы в армию уходим. Вот и пришли потолковать.

— Когда уходите? Через две недели? Ну и подождете, Снимут гипс, тогда и устроим толковище.

— Ждать нельзя, — сказал младший. — Нас твоя краля просила, когда уезжала. Мы ее в городе встретили на вокзале. Вы, говорит, парни, его поддержите, ему тяжело. Это тебе тяжело. Я, конечно, с ходу растрогался. Я жалостливый. А на вокзале к твоей красоте какой-то фрайер подваливал. Клинья бил. Она у тебя ядреная. Как орех. Так и наводит на грех. Пришлось с этим чуваком потолковать в тамбуре.

— Кончай тархтеть, — перебил старший. — Как узнали, что в армию, первым делом к тебе.

— Да, обезлюдела земля. Спасибо, что зашли, не забыли.

— Подожди, — сказал старший. — Стоим и думаем: идти не к кому, только к тебе. Росли вместе, дрались вместе. Ты стал как родной.

— Третья двойняшка, — не утерпел младший.

— Вот-вот. Кого знаем лучше остальных в поселке? Тебя. С кем жалче всего расставаться? С тобой.

— Спасибо, ребята.

— Кто еще с завода уходит в армию? — спросил я.

— Идем мы, потом трое с механического, потом один из столярки, знаешь, рыжий такой, у него брат в прошлом году под поезд кинулся от любви. Всего человек восемь.

— Слушай, — сказал младший, — бросай ты свой университет. Разве это жизнь — над книгами сохнуть? Головой работать надо. Айда с нами в морфлот. До свиданья, мама, не горюй. Наедем морду шире плеч и каждое утро — с голым торсом по мокрому пирсу. Да, — вспомнил младший и положил на стол мой нож, потерянный на берегу. — Не теряй, — осклабился он.

Я подвинул нож к нему.

— Возьми на память. Я тебя не сильно поцарапал?

— Нормально, — расплылся младший. — Видишь, концы не отдал?

— Тебе я другой достану и пришлю, — сказал я старшему.

— Спасибо. Ты настоящий. Чего мы всю жизнь дрались?

— У него была вызывающая внешность, — сказал младший. — Так и хотелось по хохотальнику съездить.

— А теперь не хочется?

— Пригляделись. У всех нас рыла одним пятакон.

— Спасибо, ребята, я буду вас уважать.

— И мы тебя уважаем. Махаешься круто и плаваешь классно. Зря ты в университет пошел. Это у тебя книги по-каковски?

— На латинском.

— Скажи что-нибудь по-ихнему.

— Радости часто бывают началом нашей печали, — сказал я.

— Во здорово! — восхитился младший. — Даже я понимаю. Это когда пьешь за столом, а блюешь в вытрезивловке. Еще что-нибудь.

— Счастлив, кто мог постигнуть причины событий.

— Во дает! Наизусть шпарит!

— Хорошие вы ребята, — сказал я, — надо бы еще чего-нибудь...

— У нас в магазине обед.

— А мотоцикл у вас где?

— На улице внизу.

— Тогда поехали, поищем на стороне чего-нибудь.

— А нога? — спросил старший.

— Доберемся. Сяду боком, а ты правь посередке, чтоб столбы не сбивать.

— Поезжайте, — сказал младший, — а я полежу, читаю. У тебя есть про любовь? Очень меня это интересует.

— Дура, — сказал старший, — тебе умственное пора читать.

Я взял костыль и вприпрыжку стал спускаться по лестнице за близнецом. У него была крепкая загорелая шея, на нее падали длинные вьющиеся волосы. Жаль, что их остригут.

На улице было ветрено и пыльно. Возле парадного у стены грелась на последнем солнце бабка с первого этажа.

— Куда ты, поломатый! — завопила она, увидев, что я забираюсь на мотоцикл. — Расшибетесь, идолы! Ишь чего надумали с тархтелкой! Вот я околотошному скажу! Он мотоцикл-то отберет! Окаянные!

Я обнял близнеца за талию, мы лихо обогнули дом, подкатили к шоссе и остановились, пропуская вереницу грузовиков, везущих в город кирпич.

— Ветерок-то? — сказал старший. — Чуешь? Сейчас самый клев.

— Да, ветер в порядке. Северо-западный. Рыба дуреет от него.

— Хочешь, — сказал старший, — на этих днях ходим на моторке на Ладогу? У меня есть хитрые блесны. Рыба с ходу берет! Я тебе их оставляю.

— Обязательно ходим. Жалко, что вы уходите, — сказал я. — Из всех, с кем начинали расти, никого не осталось. Один я.

— Это пройдет, — сказал старший, — об этом лучше не думать. Гнилые мысли надо давить в зародыше. Начнешь думать и не остановишься.

...Все это происходило давно, когда ветер бывал гораздо сильнее, как все, что относится к прежним временам, но зато до города ходила не электричка, а паровик. Он с натугой тащил старые вагоны. Зимой они не отапливались, на окнах намерзал слой льда в палец толщиной, и самым теплым местом была верхняя полка, где скапливались запахи сырой шерсти, пота и табачного дыма, и можно забраться на верхнюю полку и, не закрывая глаз, потому что вагон освещался одной лампочкой, лежать в темноте, думать про что-нибудь и верить, что жизнь еще никогда не кончится,

## В. Аксенов

Понедельник, 13 сентября

А что небо одно —  
Это очевидно.

*Аристотель*

Течет таежная речка Пескощучка, течет, играет на километровых перекатах, собирается, застывая под тенью тальника, в плесах, хитро из них выкатывается и бежит дальше. А перед сопкой Козий Пуп превращается в Козье озеро, затем огибает сопку двумя рукавами — Пеской и Щучкой, — сливается и уже Щучкопеской тянется к великой сибирской реке. Но далее Козьего Пупа нам делать нечего, да если и появится вдруг какое заделье, нам туда просто-напросто не попасть: там живут злые Бабаи, стучат, гремят, воду в Щучкопеске мутят и нервничают очень, когда за ними люди подглядывают, а нервничая — и извести могут. Так вот, Козий Пуп, говорят, если смотреть на него с вертолета, в стародавние времена на поминал огромную палатку. Я в этих местах на вертолете не летал, Козий Пуп сверху не видел, но в то, что это так, верю охотно. Тем более что говорили мне об этом люди наблюдательные, но не болтливые, хорошо помнящие старину.

Западная пола сопки заросла ельником, восточная — лесом смешанным. А по плешине от вершины на юг и на север вытянулись две длинные, не менее чем километра по четыре, улицы. И стоят, кособочатся на этих улицах еловые, пепельного цвета, и листвяжные, коричневые от столетнего загара, дома, и живут-проживают в тех домах преимущественно рыжие да белобрысые козьепуповцы. Но козьепуповцы — не самоназвание. Козьепуповцами их называют люди с материка, и называют так, что в их голосе всегда можно уловить и иронию, и насмешку, и что-нибудь еще. Сама же островитяне осознают себя (и строго между собой разделяются) как левощекинцы и правощекинцы, ибо улица северной полы с речкой Щучкой есть не что иное, как деревня Левощекино, а противоположная, с речкой Пеской, соответственно — Правощекино. В целом все без исключения козьепуповцы славятся своей широко известной на материке козьепуповской осторожностью, по неписаным законам и правилам которой человек, семь раз проверивший, а один раз отрезавший, либо еще не вышел из детства, либо уже впал в него. А козьепуповки знамениты безгрешной пре-

данностью своим мужьям, непомерно длинными языками и не имеющей границ сердечной добротой.

Так вот, на самой макушке Козьего Пупа, между Левощекином и Правощекином, лет семь назад были построены гараж и контора, на двери которой до сих пор висит табличка с разбитым в первый же день ее появления из рогатки стеклом. На табличке по черному полю зелеными буквами с черно-зелеными подтеками оформлена такая вот надпись:

### БОРОДАВЧАНСКИЙ ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК дистанция № 2

До гаража и конторы еще ни один архитектурный ансамбль не венчал собою маковки Козьего Пупа. Негласное постановление запрещало какое бы то ни было строительство на этой, как арена гладиаторов, утрамбованной, пропитанной кровью и потом многих поколений территории, служившей с древних времен козьепуповской историей местом разрешения спорных вопросов, возникающих зачастую между левощекинцами и правощекинцами. И ни один, даже свихнувшийся, козьепуповец не отважился бы выстроить — зная, что лишится от огня в первую же ночь «обмывания», — здесь дом или поставить баню.

Однако времена меняются. И вот уже семь весен подряд, как по Левощекину, так и по Правощекину, в Песку и в Щучку несет талые воды доротделовский мазут. Но вовсе не просто так, не красы ради, расположилась на макушке Козьего Пупа дистанция № 2, и далеко не напрасно ее существование под голубым козьепуповским небом. А козьепуповцы хоть и ворчат по поводу оседающего по весне в их огородах мазута, но красного петуха не пускают. От моста через Песку до моста через Щучку — вся дорога, длиною в две деревенские улицы, состоит под опекой и наблюдением этой дистанции. И надо сказать, будь я козьепуповской дорогой, не случилось бы у меня, честное слово, припадков раздражения от излишней щепетильности своих опекунов и не зародилось бы обиды на их абсолютное безразличие. Нет, не шутки ради пристроилась на вершине Козьего Пупа дистанция № 2.

В конторе, в этой уютной резиденции изредка наезжающего из Бородавчанска дорожного мастера Касьянова Октябрина Августовича, над столом, на прибитых к стене деревянных планочках, висят два тетрадных листа. На одном из них, где красной гуашью начертано «Обязательства», тракторист Левощекин Владимир Иванович и грейдерист Михаил Трофимыч Нордет хладнокровно, без угроз и без лишних выражений сооб-

щают о том, что они собираются сделать и, будьте уверены, сделают к концу этого года. А на другом — тракторист и грейдерист дистанции № 2 сдержанию, без злобы и без истерики вызывают на поединок тракториста и грейдериста дистанции № 3. Я все это читал и доложу честно, что лично у меня никаких сомнений насчет того, чья одолеет, не осталось. Что ж, ваше нетерпение вполне понятно. И я в свое время с большим удовольствием посмотрел на этих ребят. Но, может, не сегодня? Может, завтра, во вторник, 14 сентября? Завтра вы заняты, у вас завтра... простите, как вы сказали?.. Приемный день?.. Ах, вот как. Ну что ж с вами делать! Будьте любезны.

Понедельник, 13 сентября... Но тут я говорю сам себе: прервись, предупреди друзей своих, скажи им, что ты панически веришь в магию чисел и черные понедельники, ты знаешь, как начинаются и чем порою заканчиваются подобные дни в столь тихих, столь затерянных уголках столь необъятной страны. Как важно, например, иногда с той ноги встать, вовремя три раза сплюнуть, а когда надо, держать в кармане фигу, — многие ведь из нас ходят по одной жердочке. И уж абсолютно все — под одним небом.

Так вот, понедельник, 13 сентября. Утро. Утро как утро. И ничего необычного. И ничего сверхъестественного. Старые люди сообщают, будто перед тем как взойти солнцу и развязаться первой мировой войне, по козьепуповскому небосводу пронеслась со зловещим свистом кайзеровская каска, а перед концом войны на многих воротах, особенно новых, за ночь проступило самое матерное словечко — какое? — даже самые грязноязыкие козьепуповцы повторить не решаются. А тут хоть бы что. И ни облака — ни вчера с вечера, ни сегодня с утра. И солнце взошло как следует. И туман над Пеской и Щучкой, кольцом опоясавший Козий Пуп, натурального цвета. Телята, задрав упругие хвосты, беззаботно бегающие по тронутым иномеем полянам, глупы и веселы. Выпущенные после дойки, влюбленные в жизнь и в родину свою — Козий Пуп — коровы, карими глазами наблюдающие за своими отпрысками, мудры и безмятежны. Ни одному козьепуповцу не приснился дурной сон. И ни одной шальной машины. Ни единого металлического звука. И никакого знаменья. Где-то там, на краю Левощекина, скрипнули и тут же звякнули щеколдой ворота. В перспективе такой же прямой улицы на фоне такого же матового тумана показалась фигура человека. Воздух свеж и прозрачен. Прозрачен так, что увеличивает — выпуклый будто. И нет надобности пользоваться оптикой, чтобы различить: обе фигуры дви-

жутся друг другу навстречу. Так оно и есть. И ранним будничным утром быть иначе просто не может. Разве что с такого отчаянного похмелья, когда мозг начисто забывает про ответственность своей руководящей роли и начинает подшучивать над телом. Но такое и бывает если, то лишь после куцей июньской ночи, а за сентябрьскую ночь можно не только выспаться, но и переспать. Так что нынешним утром и Левощекин Володя и Михаил Трофимыч Нордет, оба руководствуясь здравым рассудком и чувством долга, идут в гараж, чтобы бок о бок расчаты и закончить бок о бок рабочий день. А пока они не достигли своей цели, я многое успею вам наговорить.

Было вот что.

Было Правощекино, а на самом краю Правощекина, возле моста через Песку, был дом. А в доме этом жили Нордет, Нордетиха и Нордетята. Нордетята, все, как один, были маленького роста, черномазенькие и кудрявенькие. Нордетиха, урожденная Правощекина, тоже была маленького роста, черномазенькая, но не кудрявая. Некудрявым был и Нордет. Еще был сухим и высоким, как скворечня, этот самый Нордет. И когда на исходе дня, праздничного, воскресного или просто удачного, возвращался Нордет домой, Нордетиха, едва накинув шаль, уходила, точнее, испарялась и оседала у соседки, а Нордетята двенадцатью коротенькими ножками разбегались по всему Козьему Пупу. Безо всякого интереса поглядывая на них через вымытые всегда до блеска стекла окон, безучастно говорят в таких случаях козьепуповцы: вон, опять табор подался в горы. Как и все коренные островитянки, Нордетиха отличалась преданностью и покорностью своему мужу, позволяя себе лишь единственную вольность; в добрые минуты жизни называла его Скворушкой, а в худые — Скворешником. Нордет, не разувааясь, что, по его твердому убеждению, было высшим проявлением и признаком настоящего мужа, отца и хозяина, ложился на кровать и маленькими бурыми глазками подолгу упирался в потолок. И конечно, потолок то резко падал вниз, то уносился в невероятную высь или начинал вдруг вращаться с песнями да частушками вокруг засиженной мухами электрической лампочки. Такое поведение потолка Нордету было не в диковинку, и поэтому его маленькие, подобрившие бурые глазки тускнели, тускнели и в конце концов прикрывались урюковыми веками. Так все и было. И, конечно же, было еще зло; жил в ельнике на острове злодей ярый, змий зеленый, душегуб, всем островитянам враг, а Нордету приятель. Другу зеленому благодаря кровь в жилах Нордета не кисла. Кровь в его жилах была подчинена четкому, отлаженному ритму:

голова — ноги, ноги — голова. Нордет ритм этот ощущал всеми клетками своего длинного, чуткого тела и регулярно про себя фиксировал: старые дрожжи — новые дрожжи, новые дрожжи — ага, скворцы залетели. Четкость ритма обеспечивалась до сей поры добросовестной службой сердца, которое было у Нордета больше Вселенной, Вселенной, может быть, и не больше, но и ненамного меньше, так как вселилась же в него песня, длинная настолько, что, добравшись до магазина, расположенного на другом краю Правошекина, Нордет и до середины ее не успевал дотянуть. Песню, как цыганские дороги бесконечную, он допевал у прилавка и на обратном пути. И было у этой песни два варианта: один веселый, печальный другой. Выбор варианта зависел от настроения, а настроение Нордета зависело даже от солнечного зайчика. Веселый вариант песни начинался так:

Расскажу вам о Нордете,  
Как Нордет живет на свете.

И вот как он заканчивался:

Праху — прах, войне — война,  
А Нордету — чан вина.

Второй вариант общего с первым имел только мотив, но исполнялся гораздо медленнее, задумчивее, с щемящими душу захлебками да со скворчными прищелкиваниями, и обладал совершенно иным текстом. Первыми строчками его были такие:

В атмосфере есть предмет  
Под фамилией Нордет.

И такими вот были его последние слова:

Гаснут звезды, меркнет свет —  
Без рубля сидит Нордет.

Кроме веселья и печали знал Нордет и промежуточное состояние духа, пребывание в котором осложняло выбор варианта и обрекало Нордета на неопишуемые муки. Это обстоятельство и побудило его обратиться к автору первых двух вариантов с тем, чтобы тот как можно скорее (не за спасибо, конечно) создал и третий. А пока Нордет изо всех сил старался в промежуточное состояние не впадать, а оказавшись в нем (по причине затянувшегося безденежья, или: «лабаз закрыт и в багажнике дуля»), — побыстрее из него выкарабкаться. Добавлю только еще то, что даже Нордетиха, будучи не в силах переносить Скворушкины мучения, встретившись как-то с автором с глазу на глаз, попросила его (не за спасибо,

разумеется) о том же самом, то есть — поторопиться с сочинительством.

Но кто же этот гений, спросите вы, кто творец этих замечательных куплетов? И в своем предположении вы окажетесь правы. Да, это он, Легошекин Володя, тракторист, соратник Михаила Трофимыча по работе. Еще в шестом классе обследовавшие козьеуповских школьников врачи дали Володе бумажку, взглянув на которую, представители Бородавчанского района больше никогда не донимали Володю обязательным восьмилетним образованием. И после этого не одну весну и осень, закинув удилица на плечо, ходил Володя мимо школьных окон, изводя завистливых козьеуповских учеников, на Песку, на Щучку, на Пескошучку, на Щучкопеску и, конечно же, на Козье озеро, где, вероятно, в созерцании поплавок и водной глади и сформировался его поэтический гений. Имел Володя, как, видимо, и полагается созревающему поэту, на своем юношеском лице прыщи. И были у него ясные, правдивые, цвета монетки-серебрушки, глаза. В момент своего совершеннолетия, выпавший на Ильин день — самый разгар рыбалки, — Володя забросил на чердак удилица и поехал в город, чтобы устроиться там на поэтическую работу в Бородавчанское отделение милиции. Володины целомудренные глаза и поэтические прыщи весь отдел кадров привели в величайший восторг. И быть бы уже Володе сотрудником упомянутого учреждения, но возьми, как на грех, да и попадись кому-то на вид выданная парню врачами пять лет назад злосчастная бумажка. Таким образом и остались для Володи голубою мечтой серо-голубые погоны и золотистые со звездочкой пуговицы — к его огорчению, но к счастью и ликованию козьеуповских девушек. А осенью он поступил в Пескошучьевское профессионально-техническое училище и уже год спустя разбирался в тракторе, как в стихах, а в стихах — как в тракторе.

Ко времени моего рассказа стихами его были исписаны две общие тетради по девятисто шесть листов. Авторскою рукой тетради были оформлены так:

На титульном листе большими малиновыми буквами:

**ВЛАДИМИР ЛЕВОШЕКИН-КОЗЬЕПУПОВСКИЙ**

Выполненная тушью в середине листа надпись гласила:

Стихи собственного сочинения

И чуть ниже:

ТОМ I

А уж в самом низу:

Козий Пуп. 1975—197... годы

И попрошу заметить, ведь не просто там «Левощекино», а «Козий Пуп», что само по себе (не я один так думаю) наталкивает на мысль: истинно, чужд гению дешевый патриотизм.

На внутренних разворотах корочек первого и второго томов приклеены снимки симпатичных девушек из всевозможных журналов, под которыми нанскось, чтобы красивее, сделаны лакопичные надписи вроде:

Мила, голубушка, мила,  
Да есть и помилее КТО-ТО!

Я, могу вам похвалиться, не только видел, но и держал в руках эти сборники со страницами, буквально залитыми следами козьеуповских читательниц, и скажу откровенно: изучению моему нет предела, я был потрясен. А особенно в тех виршах, где тоскующий дух поэта, оставляя дома, на табуретке, брэнное тело, уносится в поисках Большого и Настоящего в закозьеуповские дали. Но в спазмах восторга меня оставил коротенький шедевр, в котором воображение стихотворца забегает за л ю б и м о й, уносит ее в те же закозьеуповские просторы и заставляя там, сказав, конечно: прости, родная, — пасть на колени и рыдать над «телом ромашки, раздавленным грубым медведем».

И вот уж совсем недавно, в первых числах сентября, все девушки от двенадцати до тридцати лет из Левощекина и Правощекина переписали в свои дневники свежее стихотворение. А было оно таким:

Вот опять сентябрь закружил листву  
Толи снега ждать толь дождя  
Скоро гуси принесут нам зиму  
И зима в природе не здра

Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп.

И не только это не здра  
Все идет своим чередом  
Снега запах чует ноздря  
Чует норка — зима за углом

Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп.

Не хватило в чернилке чернил  
Чтобы этот стих дописать  
Синей кляксой несяканных сил  
Суждено видно мне умирать

Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп.

Но не умер пиит без чернил  
У пиита есть карандаш  
Карандаш мне Нордет одолжил  
На мол с полочки отдашь

Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп.

И изрек я Нордету тогда:  
Век мне щедрость твою воспевать  
Пусть за трактором грейдер всегда  
Будет нашу дорогу ровнять

Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп.

И коль жизнь тебе рыкнет: да!  
Не спеши отвечать ей: нет  
Вот когда она скрипнет: нет  
Как топориком рубани ей: да!

Козий Пуп, Козий Пуп, Козий Пуп.

Многие, пожалуй самые трогательные, Володины откровения сопровождаются посвящением, зашифрованным вот так: П. Л. Т. И я думаю, не выдам бог весть какого секрета, а может быть, даже сыграю на руку будущим литературоведам, если расшифрую сие как Правощекина Любовь Тарасовна. А заодно сообщу ее точное место жительства: Бородавчанский район, село Правощекино, улица Пескореченская, дом № 234. Индекса, к сожалению, не помню. Ну да это легко отыскать: в справочнике на любой почте. Добавлю лишь, что на покосившихся воротах, хозяином которых является Нордет Михаил Трофимыч, дегтем, почти в рост человеческого, выведены цифры: 235. Описывать вдохновляющую поэта деву, надеясь на встречу с ней, не стану да и вряд ли успею, так как мои герои уже протянули друг другу руки.

— Здорово, Вальдебар Рождественский, — так и сказал Михаил Трофимыч. Почему «Вальдебар», он и сам, пожалуй, ведасть не ведает, а вот «Рождественский» — это прямой результат телевизионных бдений во времена власти промежуточного настроения, болезненно нуждающегося в третьем варианте любимой песни. — Где пил, хлопец! Я тебя двое суток не видел. Вру, видел во сне: ты мне сапоги спиртом чистил, но один хрен: курица не птица, слово не воробей, хотя и то и другое не поймашь.

Володя, ответив на пожатие и высвободив руку, поднял вверх ладонь и повел ею так, словно отогнал клуб махорочного дыма, то и дело, как из нечи с перекрытой трубой, выплы-

вающего изо рта Михаила Трофимыча: бутылка портвейна — разве пил. Нет, он не пил. Он просто устал. Три ночи его не отпускала творческая лихорадка, три ночи его насилывала Муза.

— Это пьем потому что лишь бы чё, лишь бы пить. Напасть прямо какая-то. Меня тоже к утру едва отпустила. Со всем затрясло, будто по колдобинам, мать честная, всю ночь на телеге прокуролесил... или всю ночь на веялке просидел.

Сказав это, Михаил Трофимыч так головой кивнул, словно печать, утверждающую истинность сказанного, поставил.

С шиферных крыш конторы и гаража, с обращенных к солнцу сторон, падали капли. С синего капота и желтой кабины трактора тоже стекали и падали на гусеницы капли. А вот с грейдера ничего не капало, не плакал грейдер, так как стоял грейдер в тени гаража. На наличниках окон сидели и чивкали воробьи, поглядывая на гуляющих по мазутной ограде ворон: мы, мол, воробьи, а вы, дескать, вороны, ну и хрен с вами. И видно было, что воробьям нравится здесь сидеть и чивкать, а воронам — разгуливать и не каркать.

Вот при каких обстоятельствах Володя в берете и в сапогах, а Михаил Трофимыч в сапогах и при кепке-восьмиклинке открыли калитку и направились каждый к своей технике.

— Сволочи, по земле шастают — жди хорошей погоды. Правда, от них, от поганок, дожدهшься, специально так делают, чтобы запутать, — так и сказал Михаил Трофимыч, а затем добавил:

— Ах, мать честная, чуть не забыл. Мне тут две ночи кряду мысль интересная в голову напоядилась: почему бы не сделать выходной не в субботу, а в понедельник, — сказал Михаил Трофимыч и гикнул на ворон:

— Опять, наверно, паршивки, на мое кресло наворотили. Вороны оторвались от земли, каркнули, мол, придурок, мог бы и не гнать, сами, дескать, собирались, а как какали на твое паршивое кресло, так и будем какать, сторожа, мол, нанмай, если не нравится, и полетели в сторону ельника.

— Страмовки! — бросил им вслед Нордет, уже поднимаясь на площадку грейдера.

Открывая крышки капота и проверяя в пускаче наличие бензина, Володя заметил, что Нордет бесподобно не прав по отношению к этим мудрым пернатым, в которых, если похорошенчей к ним приглядеться, можно обнаружить многие человеческие черты и замашки и которых надо любить и уважать как нашего меньшого и летучего брата.

Михаил Трофимыч, смахивая верхонкой с железного, в дырочку — как крупное сито, грейдерского кресла иней и вороний помет, пробурчал: «Пусть их бабай уважает, Человек-то, слава богу, ни один еще не пришел и не догадался на кресле, как меньшей, но брат, кучу оставить», — а громче, так, чтобы слышал Володя, сказал:

— А ты-то как, хлопец, думаешь насчет выходного не в субботу, а в понедельник?

Володя по этому поводу думает так: сделай выходной в понедельник, тогда понедельником станет вторник, а устрой его во вторник, тогда в понедельник махом превратится среда, так что уж хошь не хошь, а надо ломать себя и привыкать как-нибудь к такому порядку.

— Со стороны точки зрения, так-то оно так, но один хрен: курица не птица, слово не воробей. А мне тут еще одна хитрая мысль плешку проела. Возвращаюсь я третьего дня домой, и всю дорогу впереди меня длиннющая тень, ни влево, падла, ни вправо. Вот я и подумал: если я собой загораживаю свет, то от меня падает тень, а если я вхожу в тень, то почему, скажи на милость, от меня свет не падает?

Володя ответил, что будь бы Нордет не Нордетом, а лампочкой, то и от него падал бы свет, а коли он не лампочка, а Нордет, то и света от него никакого быть не может.

— Ну тогда бес с ним, со светом. Лучше уж буду Нордетом, чем лампочкой, а то еще вкрутят куда-нибудь. С другой стороны точки зрения, откуда она, падла, тень эта, берется, из воздуха, что ли?

Михаил Трофимыч сел в кресло, покачался и, выплюнув самокрутку, вдруг закричал:

— Ах, мать честная, убогая, чуть не забыл! Ты настроил мне песню?

С наличников сорвалось и улетело несколько слабонервных воробьев. В Ловощекино и Правощекино побежало шаловливое эхо. А Володя снова будто отогнал ладонью от лица клуб махорочного дыма и даже не отвлекся от дизеля. Нет, он еще не сочинил. Он работал над новой поэмой.

— Опять, что ли, про Любку? — уже тихо, с заметным разочарованием в голосе, спросил Михаил Трофимыч, съезжая с кресла, — не спросил, а как бы подумал.

Пока это гробовая тайна. Но кто не слепой и не слабоумный, тому в одном из персонажей нетрудно будет кое-кого и угадать. Вот так вот. А песню, будь спокоен, Трохымыч, Володя напишет, да еще такую, что по радио станут передавать. И дело это не за горами.

Нордет, вращая туда-сюда «штурвалы», проверил работу ножей и остался ими доволен.

— Эх, Вальдебар, Вальдебар. Не мой, мать честная, ты сын, — Трофимыч взглянул на солнце и сплюнул. — Ваш же вы, левощекинский, морда эта рыжая, звать как не знаю... тот, что семь лет назад табличку нашу из рогатки разбил, в третьем годе ларек с папиросами грабил, а теперь, анчутка, на мотоцикле кур давит... знаешь такого?

Не знает такого Володя и знать не желает: нет такого.

— Тот, парень, безо всяких — вшик! — и к Любке на сеновал, а она, сам себе соврать не дам, ему оттуда уж и губищи свои дудочкой тянет — как хочешь, так и целуй ее оттуда, с лестницы. Девка-то она, со стороны точки зрения, гарная, и тут, и тут, и там, наверно, везде нормально, ни одна кость без мяса не пропадает, — и вздохнул глубоко Михаил Трофимыч. — Э-э-эй. А что я? Мое дело, хлопек, соседское, в щель разве что зыркнешь... Вижу да помалкиваю, отцу не сказываю. Сам бы где... та-та-та, ду-ду-ду... — понял Трофимыч, что лишнего болтнул.

Володя намотал на шкив пускача кожаный, замасленный шнур — готов был дернуть, но задержался. На его побледневшем лице резче обозначились надавленные за долгую творческую ночь, воспаленные прыщи. Какие-то секунды — и решительный рывок. Выхлопная труба забила в судорогах и выдавила первое, вроде как неуверенное в себе, колечко дыма. Так все и произошло. Таким вот, наверно, и должно быть самообладание у настоящего поэта.

Помельче первого голубые кольца, словно нимбы, затребованные потерянными их ангелами, подались в небеса. И уверен я, что многие козьеуповцы в это мгновение оторвались от своих завтраков, взглянули в окна и что-то подумали, а может быть, и сказали что-то. Но вот и все — ангелы расхватали по размерам своих голов нимбы, хватило на всех. Дымок потянулся столбиком, трубу-роженицу перестало трясти — дизель завелся. И заработал он так ровно, так четко и красиво, что воробьи на наличниках перестали чивкать, вороны ошалевшие — в ельнике галдеть, а Нордет Михаил Трофимыч от удовольствия сдвинул на затылок кепку-восьмиклинку. Вот как заработал дизель — что и говорить.

И не успел еще весь иней превратиться в воду и сбежать с шиферных крыш, а трактор, запряженный в грейдер, уже выруливал, скрычагая гусеницами по гальке, из гаража на дорогу, протяженностью в две деревенские улицы. Из трактора, облокотившись на открытое окно кабины, выглядывал

Володя, а Михаил Трофимыч, зажав во рту самокрутку, вращая «штурвал», готовился опустить ножи.

А вот как было заведено у них:

В период между авансом и получкой экипаж выезжает из доротделовской ограды и поворачивает в сторону Правощекина, а между получкой и авансом — в сторону Левощекина, проезжает туда-обратно одну деревню, затем — другую и возвращается в гараж. Если вам сообщить, что получка была седьмого сентября, а аванс будет двадцать второго, то вы и без моей помощи догадаетесь, куда повернули трактор и грейдер тринадцатого числа сего месяца. Так и есть, сегодня — в понедельник, тринадцатого сентября, повернули они в сторону Левощекина. Зная это правило, любой козьеуповский первоклассник, разбуженный среди ночи, сможет бойко представителю любой комиссии ответить, с полочки ли, с аванса гуляет нынче Нордет Михаил Трофимыч. Но это только тогда, когда трактор или грейдер, сломавшись, не стоят подолгу на ремонте, а Михаил Трофимыч и Володя целыми днями не пропадают в гараже. Существует, разумеется, и на такой случай секретная договоренность (кстати, рассекреченная недавно козьеуповскими продавцами): между получкой и авансом в магазин бегают Володя, а в другой промежуток — Михаил Трофимыч. И тут так: ругани между ними из-за этого еще не было.

Но вот и начался у всех козьеуповцев трудовой день. Потянулись женщины в магазин, ученики — в школу, а мужчины — те по своим, конечно, делам. Устает Трофимыч поднимать в приветствии руку. Устает Трофимыч прыгивать с грейдера, чтобы отогнать развалившуюся на дороге скотину. Устает Трофимыч снова вскарабкиваться на свое место и кричать Володе: «Айда-а-а!» Но ни тени огорчения в его маленьких бурых глазках. В его маленьких бурых глазках отражается маленький трактор с желтой кабиной и уж совсем малюсенький Володин берет, а также и вся Щучкореченская улица с ее домиками, бегающими по ней детьми, снующими без дела собаками, лежащими на ее дороге коровами и овцами, и кроме того, разумеется, отражаются в них бесконечные закозьеуповские дали. Свесил Михаил Трофимыч свои кирзовые сапоги с высоко приподнятого железного, в дырочку, «трона», крутит «штурвал» туда-сюда и бормочет себе одно и то же: «Эх, Вальдебар, Вальдебар, эх».

Щучкореченская улица пряма, как ружейный ствол, гусеницы трактора одинаковой длины — идет трактор ровно, и не

приходится Володе без конца дергать то один рычаг, то другой. Ранним утром спокоен за напарника Володя, и назад он почти не оглядывается. На лобовом стекле кабины синей изоляционной лентой по углам приклеена фотография самой красивой девушки. И только покусывание губ может выдать смятение в душе тракториста. Спокойно лежат на рычагах его руки, корректно работают с педалями его ноги. И будто само по себе приходит решение, Володя срывает ленту и прячет фотографию в ящик с инструментами. Дык-дык-дык, — работает дизель, звяк-звяк-звяк, — отвечают гусеницы.

Обогрело. Солнце припекло затылок и спину Михайла Трофимыча. Медленно перекачиваются колеса грейдера, медленно отваливается от ножа песчаный вал, плавно оседает на кепку-восьмиклинку и плечи Михайла Трофимыча пыль. Уставился Михайл Трофимыч застывшими бурыми глазками под нож и вроде как его мама в школу и говорит: учись, учись, Михась, с портфелем будешь ходить, в кабинете с креслом сидеть будешь, — и тут же немецкий плен, освобождение и долгий путь из лагеря на Заале — мимо своего дома, который сожгли немцы, — на лесоповал, что развернулся по Щучкопеске и Пескощучке, куда сразу после войны и завербовался молодой Нордет с товарищами. Вот-дак-так, вот-дак-так, — слышит Михайл Трофимыч стук эшелонных колес, а рука его подсознательно ползет во внутренний карман пыльного пиджака. И никакой окрик, никакое астрономическое вмешательство — ничто на свете — не сможет остановить эту руку. Провидение ее командир, комиссар ее — Провидение. Из кармана, стянутого широкой, самим Трофимычем приспособленной резинкой, рука извлекает бутылку, занятую жидкостью цвета еловой хвои. «Уподобимся, товарищ Нордет», — говорит Михайл Трофимыч. И уроковые веки смыкаются. И железный, в дырочку, «трон» возносит плавно товарища Нордета к небесам, а затем плавно и бережно возвращает на землю. С одной стороны точки зрения, вроде как и причастился. С другой — хоть и наполовину как будто, но сбывлась мамкина мечта о моей службе: без кабинета, но при кресле, — да и один хрен: курица не птица, слово не воробей. Эх, Вальдебар, Вальдебар, многого ты в жизни пехтферштейн. Скрипят колеса грейдера, скрежещет о сталь ножа галька, стряхивает оставшаяся сзади рыжая, бесхвостая собака с себя пыль. Михайл Трофимыч отрывает от кресла правую ягодицу, прикладывает к козырьку кепки руку в верхонке и отдает честь Ловощекиной Александре Ефимовне. Возле покосившегося от лет домика, на лавочке, сидит старый,

кривой на левый глаз дед в валенках, с седой прокуренной бородой, свисающей до красного кушака на телогрейке.

— Евсей! — кричит ему Михайл Трофимыч. — Ты, небось, всю лавку-то уж продезинфицирен!

— Ась?! — негнушными пальцами заворачивает свое хрустящее ухо в сторону грейдера Ловощекин Евсей Горденч.

— Я говорю, — снова кричит ему грейдерист, — ты уж лавку-то всю провонял наскрозь!

— Нет, — расслабившись, отвечает дед, — ногам-то ни хрена, а руки, тут уж правда, малость зябнут!

— Ну и хрен с ними, пусть зябнут, глухой тетерев! Смотри только не отморозь!

Слева, за домами, за телевизионными антеннами, за огородами, к Щучке плотной стеной спускается ельник. Сочную, темную зелень его хвои лишь кое-где разрывает густо зардевшаяся листва рябины или осины, чьи семена когда-то чудом каким-то, вероятно, занесло с противоположной стороны. Справа, прямо от изгородей, покатила, потекла, увлекая за собой малахитовые островки пихтача, бурля, словно пеной, сосновыми вершинами. И все это видит Михайл Трофимыч, и всему этому радуется его душа.

Доротделовский состав прогромычал по мосту через Щучку, развернулся на другом берегу и направился в обратную сторону. Солнце к этому времени поднялось так, что освещает всю северную полу Козьего Пупа. Володя скрывается от него за щитком, а Михайл Трофимыч опускает на глаза козырек кепки. Мост позади, позади остался и пристроившийся вблизи от яра Володин дом. Не на него ли теперь так часто оглядывается тракторист? Нет, что-то другое беспокоит капитана экипажа. Михайл Трофимыч, скорее чувствуя, чем замечая его беспокойство, поднимает руку: будь спокоен, Вальдебар, на вышке полный порядок. Дык-дык-дык, — говорит дизель. Звяк-звяк-звяк, — отвечают гусеницы. И опять во власти Провидения рука Михайла Трофимыча. И опять высоко-высоко взмывает его душа и уже не так охотно возвращается на место. Будь спокоен, Вальдебар Рождественский, карандашная твоя голова. И мы не лыком шиты, небом крыты, ветром горожены. Так точно, товарищ сержант! Хлеба накупили! Поросят будете кормить. С одной стороны точки зрения, дело это, конечно, не мудреное, с другой — вроде и не шуточное, но один хрен: курица не птица, слово не воробей, а вылетело — туда ему и дорога. А вы картошечку выкопали, Таисья Егоровна?! Вот и слава богу. Богу слава, мне почет. Картошечки нет — и будто жрать нечего. А моя рота-пехота давным-давно отмаялась,

Хоть, мать честная, ртов семь, зато рук четырнадцать и ног... и ног не меньше. Я, девка, и в огороде не показывался. Из штаба только команду рывкнул да после мешки пересчитал. А зимой-то ее, голубушку, с редечкой да с кваском или с бражкой и в мундире беззубому за милу душу. Деснами жамк-жамк. Приятный аппетит — нежевано летит. Ногой ему, беззубому-то, туда знай уминай, не захочет, да съест. Ага, так точно, товарищ сержант! Расскажу вам о Норде-е-ете, как Нордет живет на све-е-ете... И так, что с кепки посыпалась пыль, а «штурвал» — до предела туда и до предела обратно, и «трон»: скрип-скрип. И, конечно, все лица в окнах левощекинской средней школы, как по приказу, от доски обратились к улице, а обратить их опять к доске — задача сложная. То же самое, разумеется, и не только в школе — и в магазине, и на почте. И, безусловно, во всех домах, где к этому времени кто-то еще оставался. И лишь в одном месте Михаил Трофимыч дернулся и прервал свою песню.

— Евсевий! — закричал он. — У тебя лавка уж дымом взялась! Весь Козий Пуп спалишь! Да не акай, не акай, один хрен нехтферштейн! Сиди уж... тетерка твоя мать.

Возле ворот гаража Михаил Трофимыч кончил словами:

— Что за чушь, что за бред! Я не Гётэ, я — Нордет! — замолчал, затем мотнул головой, стряхнув с кепки остатки пыли, и голову опустил на «штурвал».

Володя остановил трактор, сбегал в гараж и вернулся оттуда с мотком алюминиевой проволоки, сплетенной вшестеро. Забравшись к грейдеристу на площадку, он опутал его вокруг талии и крепко-накрепко привязал к спинке кресла. Михаил Трофимыч поднял поникшую голову, разомкнул урюковые веки и, увидев суетившегося возле себя парня, забормотал:

— Мхом обрастешь, Вальдебар, плесенью покроешься, а шиш когда дождешься, чтобы с неба гренки посыпались. С неба, парень, одни камни падают, да и то только по старухам. Чудо мне показывай, весели, а жизни меня учить не надо, хлопцев. Сам, кого хочешь, научу. Сапогом в носопатку — и собирай звезды. А то, что ты делаешь, это правильно. Мастер если и появится, то со стороны Левощекина, к конторе поднимется, вниз, зараза, глянет, пыль, скажет, столбом стоит? Стоит. Грейдер едет? Едет. А Трохымыч попкой на грейдере торчит? А как не торчит, торчит. А грейдер сам по себе ходит? Нет, скажет мастер, хоть и пень пнем, грейдер, скажет, не лошадь — сам по себе не ходит. Трактор, значит, впереди шурует. А кто в тракторе? Ну, не чучело же огородное, не брянский же волк. Кто, кроме Вальдебара! Все, скажет этот пимдырявый, на дистанции у меня полный порядок. Скажет и

дыркой свись. А ты, Вальдебарушка, мне и руки к штурвалу примотай, как японскому самолетчику. Нордетиха в окно выплянется? Тут уж, парень, и к бабке ходить не надо. Спросит у деток: руки у хозяина на месте? На месте. Значит, и голова на месте. Выходит, у Нордета полный порядок и на вышке и вокруг нее. Покрепче, крепче их, чтобы они из верхонки не выпали. Не бойся, не жалей — затягивай. И ноги... потуже. Мы к этому привычны. Праху — прах... Концы-то... во-во-о... понадежней, чтобы коршун меня не унес, чтобы никакой ураган не выдул товарища Нордета из его кабинета... Войне — война-а-а-а, а Нордету — чай вина-а-а... да поградусней, аж в жилах чтобы гудела-а-а, — уже искажая авторский текст, запел Михаил Трофимыч.

Убедившись в надежности сделанного, Володя спрыгнул с грейдера и сел в трактор. Выжал сцепление, включил передачу. Дизель: дык-дык-дык, гусеницы: звяк-звяк-звяк, — а Володя:

— Го-о-оре-го-о-орькое по-о свету шлялося-а-а... Лепешка коровья, а не Трохымыч, — потрогал пальцем на лбу самый большой, самый яркий, самый воспалившийся прыщ, затем открыл крышку ящичка с инструментами и, не пугаясь своей любви, посмотрел на фото. И только сияния не было вокруг портрета, но это среди бела дня, а ночью, в темноте — кто знает? — может, и засветился бы. Володя опустил крышку, положил руку на рычаг, а взгляд устремил вперед, туда, где скоро покажутся зеленые наличники и зеленый палисадник.

А солнце поднималось все выше и выше, прогревая чистый козьепуповский воздух. Тени от домов и скворечников, разворачиваясь посолонь, становились короче. Вдоль дороги то там, то здесь расхаживали, переваливаясь с боку на бок, гуси и утки. Купались в земле, вороша ее лапами, грязноклювые куры. Осторожно ступая на листья подорожника и прокрадываясь среди засыхающих стеблей пастушьей сумки, охотились на воробьев и плишек — местных трясогузок — кошки. На заборах и поленицах — подальше от собак — дрыхли разомлевшие коты, изредка открывая то один глаз, то другой и скептически поглядывая на охотниц. Черный, с обрубленным по самый корень хвостом, пес, оставшийся позади грейдера, брезгливо стравивал с себя пыль. И мимо всего этого в грохоте и полудреме проезжал Михаил Трофимыч, бессменный грейдерист передовой дистанции № 2.

— А ничё... еще кому угодно свечку вставлю, кому угодно еще бока намну. А мало покажется, так шмякну, что мамку не признает. В детстве, когда конь из сил выбивался, батька на мне борону таскал — и не жаловался. Будь спокоен, хлопцев,

я месяца два до пенсии докатаюсь, а там... меня, товарищ следователь, в дураках оставить трудно: где хохол пролез, там кое-кому делать нечего. Правда, один хрен: курица не птица, слово не воробей, а воробей, тот — падла, тот и ходить толком не может — скачет, будто из земли его током бьет. Вот так вот. Фанеру раздобуду, моторчик у Нордетихи из стиральной машины выдеру, к моторчику пропеллер присобачу и с аэроплана по воронам буду палить да на ваши головы... — заерзал по креслу Михаил Трофимыч. — Так точно, товарищ сержант! Кашицу гороховую, начальник, кушать надо, а не хочешь, тогда кушицу кашай...

Михаил Трофимыч то умолкал, то возобновлял монолог, его бурные глазки, незряче блуждая, то открывались, то пеленались в урюковые веки. И только однажды проснулся он, вскинул голову и уставился на сидящего возле дома на чурке старика.

— Евсей! — заголосил Михаил Трофимыч. — Руки не зябнут?!

Глухой от старости, кривой на правый глаз Правощекин Евсей Лукьянович, зная Нордета около тридцати лет и будучи уверенным, что тот, как и всякий раз, ничего, кроме дурного, сказать не может, вместо ответа собрал все, что подвернулось в его просторном, разношенном носу, и вместе с табачными крошками выплюнул в сторону грейдера. Плюнул и удовлетворенно улыбнулся в седые, прокуренные усы, не заподозрив даже, что ответ его залетел в его же валенок.

— Га-га-га, кхе-кхе. Чуть, небось, не попал, а попал бы, дак долго харю-то свою погану обмывал бы, шанок.

А Михаил Трофимыч уже кемарил и ехал дальше.

Но вот и видны, прямо как на ладони, перила моста, соединившего два берега Пески. И все ближе заветные зеленые наличники и зеленый палисадник. Володя приоткрыл ящичек, вынул из него фотографию, расправил завернувшиеся концы изоляционной ленты и закрепил снимок на прежнем месте. Губы его двигались, как в молитве, а выражение лица его было таким, что не оставалось сомнения: дух, витающий в тесной и душной кабине трактора, — дух нарождающегося шедевра. И лично мне нетрудно догадаться, кому он будет посвящен... но тише!

— Как просто: Любочка, Любовь, но как играет в жилах кровь и... и... не первый раз, а вновь и вновь я говорю: это — любовь... я говорю себе: любовь... все говорят: ну и лю... нух говорит... э-э... — Володя прикрыл глаза. — Как просто: Любочка, Любовь, но — да-да-да-да в жилах кровь, и в сердце бабочкой любовь... — Володя разомкнул веки, нежно посмо-

трел на портрет. И портрет ему ответил тем же. — То парх, то выпарх вновь и вновь! О, силы необыкновенные.

Выскочил на дорогу, прямо перед трактором, коричневый теленок и пустился наутек, подпрыгивая, лягая воздух, выгибая хребет и пружиня хвост, едва не ломающийся от напряжения. И знает Володя, сердцем поэта чувствует, что нет ничего предосудительного, непростительного и непонятного нет ничего в поведении этого коричневого мальчика. Взял — не спросился — и вошел в его пустенькую телячью голову стих, да ведь, господи, твоя воля, не может же теленок при этом схватить карандаш и записать его или встать в позу и промывать: как прекра-а-асен этот мир, посмотри-ы-ы! Знает поэт об этом и говорит, выгибаясь от всепонимания:

— Эх, ты, егоза. Козявка козявкой, а туда же, в глубины. Ага, вот и они, милые.

Да, вот и они, желанные наличники и палисадник. С какой истомой порой впиваемся мы глазами в точку на глобусе или на карте, точку, которой помечено то место, где, как нам известно, в данное время находится в печали без нас наша возлюбленная. Мы в иступлении мечтаем о несбыточном, чтобы точка эта чудом каким-то стала вдруг увеличиваться: вот виден уже и тот дом, вот и окно различимо. И стены вдруг для нас прозрачны. И, успокой наше сердце, господи, — вот тот уголок, где сидит она, вяжет или перечитывает наши письма, а сама, то и дело поглядывая на наш портрет в изголовье, не успевает смахнуть с ресниц набегающие слезы или, забывшись, размазывает их по лицу. А тут же! тут-то, а! — вот они: и наличники, и палисад — можно припасть и облобызать. Даже стекла окна, за которым покоится ее кровать, сотрясаются от проезжающего трактора, играют солнечными бликами и травят своей посвященностью в такие тайны, какие вам и не снились. И дом-то сам совсем не такой, как все остальные дома в Правощекине, и в Левощекине, и во всем мире, дом словно магнитный. И штакетник уж очень ровный и зеленый. И березки в палисаднике, конечно, одушевленные: и нашептывают, и наговаривают есенинские стихи. А какая девушка сидит под зеленым наличником на зеленой скамеечке. Индийские джинсы. Белые, как молоко, на толстой пробковой подошве и высоком каблуке, босножки. Красная, как кровь, мохеровая кофточка. И, словно вызов самому небесному куполу, на соломенных кудряшках голубая мохеровая шапочка. Карие глаза. И не так-то просто — два золотых зуба, гармонирующих с золотой осенью. Улыбка — и зашлись в шелесте желтые листья березок, и замутился в очах свет. А рядом с девушкой — юноша, и не юноша,

а истый дьявол-искуситель. Одна рука его на индийских джинсах, другая — на мохеровой кофточке. И рыжая, как латунный чайник, голова с девушки глаз не сводит. Так, мельком взгляни — и тебе станет ясно, что власть девушки над искусителем границ не имеет. Стоит ей усмехнуться — смеется он, насупится вдруг она — он руки прочь с индийских джинсов и мохеровой кофточки. А из открытого окна «Песняры» про вологодский палисад. . . И сентябрь. И серебряные паутины в небе. И томление в воздухе. И. . . Так все и было.

Лязгнул резко шкворень. Смачно ругнулась под ножом грейдера галька. Трофимыч, тот даже и не проснулся, когда грейдер дернуло и повлекло под яр к Песке. Трактор въехал на мост, круто дал влево и, сбив перила, окунулся в воду. Грейдер, разумеется, последовал за ним. В цилиндры попала вода, дизель почихал, почихал, захлебнулся и заглох, так что, не дотянув до берега метров семь, трактор остановился. Открыв наполовину скрытую водой дверцу, из кабины выбрался тракторист, спустился в реку, подняв руки, проворно добрал до берега и канул в прибрежном тальнике. А вниз по течению уплывали послешно обломки перил и всплунутая со дна муть. Ближе к правому берегу из воды торчала выхлопная труба, над которой еще курился дымок, за трубой выглядывала желтая крыша кабины, а на середине реки как-то уж совсем нелепо — голова Михаила Трофимыча. От толчка кепка-восьмиклассника съехала на нос, и из-под козырька виднелись только рот и приподнятый над водой подбородок грейдериста.

Михаил Трофимыч хоть и не из коренных жителей Козьего Пула, но за тридцать лет жизни на этом славном острове и он успел заразиться козьепуповской осторожностью, чем, пожалуй, если только не глубоким сном, и можно было объяснить то, что голова его долгое время оставалась безмолвной и неподвижной, поневоле напоминая один из сюжетов сказок Пушкина, иллюстрированных, к примеру, рукою Дали. И несмотря на тепло сентябрьского дня и ласковое небо, холодом дохнуло от этой картины. И. . . Так все и было.

Тихо. Холодно. Мокро. Михаил Трофимыч поморгал, почувствовал, как ресницы касаются кепочной ткани, и услышал производимый ими при этом шорох. Закрыв глаза — ощутил зрачками веки, открыл — снизу слабый свет. Нет, это не дрыхну. Трофимыч. Да, я — Трофимыч. Раз. Два. Три. Вдох. Выдох. Открыл — закрыл. Вот, мать честная. Влево, вправо. Влево, вправо. Язык — угу. Зубы — угу. Десны. Михаил Трофимыч медленно потянул сырой воздух. Чай? Нет, мазурик, не чая. Вином здесь и не пахнет. Не торопись, Нордет, не на до-

роге в рай. А если и туда, если даже и в другую сторону, один хрен не торопись, не сделай так, чтобы потом над тобой люди потешались. Не спеши, подумай как следует на трезвую голову. А была ли она у тебя трезвая? Была. Скворцы, по крайней мере, в чердаке не летают, не шкварбьякают, до скворцов не дошло. Трофимыч осторожно подвигал ушами и кожей на темени. Разговору о твоей близкой смерти не было? Не помню. Разве что. . . да нет, только о пенсии. А какой нынче день? Если это нынче, то понедельник. Рабочий день. . . да еще какой рабочий. Ты спишь? Трофимыч? Э-эй. Нет, однако, не сплю. А как заканчивается твой рабочий день, падала? Сегодня грейдерили, значит, как обычно: появляется откуда-то баба, набегают оттуда же детки, сначала орут и режут, потом отматывают, салят на тележку и увозят. Потом? Потом. . . потом — потолок и лампочка. . . Так точно, това. . . Шить, Трофимыч, не забывайся, прошу тебя, гад, шалава. Шаг влево, шаг вправо — и яма, ходить надо аккуратней. Знаю я эти игрушки. Ох, суки. Не дрожи, не лязгай зубами — не пес шелудивый. Мать честная, убогая, не могу не лязгать, если. . . Вспоминай, Трофимыч, натужь свои мозги. Если это рай, то — господи, прости — пропади он пропадом. Если это другое место, то ладно, хрен с ним, на сквороде пока не жарят. А если это мои щенки со своей старой. . . мамой. . . В моем доме такой посуды нет. А им чѐ! — от Правощекина Тараса ушат прикатили? Михаил Трофимыч в злобе сжал пальцы. Ага. Сижу? Сижу. Штурвал на месте? На месте. Значит, и я на месте. А с грейдером меня даже в тарасовский ушат — в штаны наложишь, но не помстишь. Да и Тарас скорее рубашку последнюю пропьет, чем ушат свой кому на минуту даст. Значит, щенков моих еще не было? Нет. Ноги бы ему выдергать, этому стиходую. И ни туда и ни сюда, ну и привязал, холера, будто кастрировать меня собрался. Ну, а? . . . Думай, думай, товарищ Нордет. Не могу думать, товарищ гражданин. Почему, такой-растакой-вот-этакой? Холод собачий потому что. Я на лесосплаве так не мерз. Мамка, да неужто снова! Окстись, господин Нордегнус. С хрена ли снова. Раз поработал и хватит. Тогда думай, гамно, если не знаешь, где ты и за что. Там-то ты хоть знал где — сам завербовался. О-ох. Михаил Трофимыч резко, стараясь при этом не шелохнуться, напрягся. Будь оно, нутро, проклято. Может, в каком культурном месте? Осрамишься еще. У-у-у. . . так и до греха недалеко. Расслабившись, Трофимыч провел пальцами ног по размякшим, скользким стелькам сапог. От холода ломило голени и быстро выходил хмель. Придумал. Приду-у-умал. И попробовал шевелить бровями и носом, пытаясь сдвинуть с глаз кепку. . . но безуспешно, что локоть уку-

силь. Кепка села крепко, — подумал Михаил Трофимыч и добавил мысленно: сучка. Не сучка. Не волнуйся, Трохымыч, хрен с ней, с кепкой. Один черт сообразим. На кой же тебе тогда эта, на которой ты восьмиклинку носишь! Придумал. Шаг влево, шаг вправо — и в яме, потому что ходить, Нордет, не умеешь. Возьму вот и крикну. Но помешал ком в горле. И только шепот:

— Вальдебар, — и лишь едва заметно волны от его морщинистой и внем будто хваченной шеи.

Кричи, Трохымыч. Не сидеть же тебе в этой лохани. Ты же не водяной царь и не лягуша. Ты — грейдерист, мать честная. Твоя фотография не сѣдня завтра. . .

— Володька! — и понеслось эхо по Песке.

А по берегу, шурша галькой, уже бежали девушка в красной, как кровь, мохеровой кофточке, юноша с рыжей, как латунный чайник, головой, Нордетиха и Нордетята. И скоро ноги их гулко и вразнобой забухали по настилу моста. В щели между бревнами посыпались и зашлепали по воде мелкие камешки. «Тятя! Тятенька-а!» — кричали Нордетята. Задыхаясь от одышки и перепугу, что-то бормотала Нордетиха. А юноша и девушка бежали молча, только подошвами туфель и босоножек делая так: жич, жич, жач, жач.

Хорошо слышно. Может, отдается так? Ну и все равно, если я и не совсем та-ам, то где-то рядом. Детки мои орут, будто оголодали.

— Михайла-а! — словно освободившись вдруг от кляпа, запричитала Нордетиха. — Кто же тебя?! Да что ж это за такое-то, господи! Не одно, так другое! Не в уборную свалится, так в яму, не в яму, так еще что-нибудь. Михайла! Да жив ли он, батюшки мои?!

Баба. . . баба моя тут же где-то квохчет. Голосистая какая. Как Геббельс. В жизнь бы не подумал, что она так сифонить может. А что, спрашивается, орет, будто я от них дальше, чем они от меня?

— Мишенька! Живой ли ты?! Это же я, Скворушка, — Нордетиха!

Совсем очумела. Думает, день не видел, дак уж и забыть ее успел. Тебя, лихорадка, и после смерти полгода, наверно, будешь помнить. Пава, ядрена вошь.

— Узнал я тебя, не вой. Лучше кепку с меня сними, дура, — сказал Михаил Трофимыч и, подумав, добавил:

— Если слышишь.

— Слава тебе господи. . . живой, — Нордетиха будто обмякла, стала еще будто ниже ростом. Засуетилась: — Час, час. Как же я тебе сниму ее, Скворешник ты проклятый?!

— У тебя что, руки за день отсохли? Возьми да и сними. Я ж не прошу, мать честная, мне новую шить. Сама гордая, дак ребятишек заставь. А ребятишки ка-а-а-а! — передразнил Михаил Трофимыч. — Мордой об косяк. Ответьте мне тогда: где я, за что и кем посажен?

— Ребятишки, бегите-ка хоть за шестом каким, что ли. Вода-то как лед идь, батюшки мои. Где ты! Здесь, лихорадошный!

— Я и без тебя знаю, что здесь, а где это, твое здесь?!

— Да как же это где, — не соображая от злости и горя, отвечала Нордетиха. — Ты что, сам не знаешь, обалдуй?!

— Знал бы, тебя бы, дуру, не спрашивал. Если есть там кто поумнее, объясните мне, пожалуйста, где я, сколько мне еще там сидеть и за что надо мной, над грейдеристом, такое надругательство?! От холода можно спятить.

— В речке ты, дядя Миша. Скоро тебя оттуда выташат. Ты только сиди и не волнуйся. Уже побежали, — объяснила девушка, смахивая с соломенных кудряшек голубую мохеровую шапочку. Волосы рассыпались по плечам девушки, студентки четвертого курса Бородавчанского педагогического училища, рассыпались золотыми кольцами по красному мохеру кофты, что было к лицу девушке.

Тоже, видно, умишком-то не больно богата. Любка, наверно, тарасовская, поэмовная краля. Учительницей только и работать, больше ни на что толку не хватит. Сиди и не волнуйся. Дилерерин, мать честная. Посмотрел бы я на тебя. . . Колокольчики уж, как льдинки, позвякивают, и руки не освободить. Пьяные они там все, что ли? Витька-то там, нет ли?

— Ви-итька!

— Чѐ-о. . . хм. . . т-тят-тенька?

— Почему твой родитель в речке?

— Н-не знаю, тя-тятенька-а.

— А чего ты ревешь-то, как по покойнику? А?! Да ты не бойся, не бойся, отец тебя просто так лупить не станет. За что мне тебя лупить? Не знаешь — почему, тогда скажи, кто завез меня в эту речку, кто это так выколупился? И где Володька? Помолчи, дура! Пусть мне Витька скажет.

— В-володька з-завез тебя, упал с моста и у-у-убежал.

— Он что, ездить разучился, гамнюк! Или с головой что стряслось? Сукин сын. А трактор где? Молчи! Я тебе сказал, молчи! Придем домой, я тебе покажу, как со мной на людях разговаривать надо, если забыла. . . Слова не дает сказать, тараторка. Трактор где, Витька?

— С-с то-бо-бой р-рядом.

Рядом со мной. Ну, видно, последний керосин в голове у этого стихоплета кончился, теперь и на поэму не хватит.

Жич, жич, жич, жич, жач, жач, — говорил береговой камешник, и гулко под мостом отдавались шаги. Слышались новые голоса. Из деревни подбегал народ. Кто-то спрашивал, кто-то отвечал, кто-то что-то советовал, а большинство просто охало и ахало. Михаил Трофимыч узнавал по голосам людей и посылал в их адрес матерное. Дрожь неожиданно прекратилась, а перетянутые проволокой кисти рук уже занемели и не чувствовались. Заложило в носу, и дышать Михаилу Трофимычу приходилось ртом: а-ао, х-хао, а-ао, х-хао. На темный козырек кепки, как на экран, вынесло вдруг из памяти далекое прошлое.

Октябрь сорок седьмого года. Зеленая вода Щучкопески и пожухлая, хваченная первыми морозами прибрежная трава. Не завтра, так послезавтра по Щучкопеске можно будет кататься на коньках. В устье реки, где находился усть-щучкопесковский шпалозавод, нужно было срочно сплавить последние штабеля леса. Огромный хлыст — ствол старой лиственницы — вершиной и комлем зацепился за два торчащих из воды в десяти-двенадцати метрах от берегов стояка и перегородил реку. В заторе километра на полтора, до верхнего кривуна, накопились будущие горбыли и шпалы. И чтобы сплавить их, необходимо было перерубить этот хлыст. И вот уже ловко скачет по обледеневшим бревнам худенький, длинный, неуклюжий на ходу Коля, Харченко Коля. В сорок пятом году завербовавшийся на лесоповал, сосед Михаила Трофимыча по нарам скачет и размахивает для балансировки топором. И развязавшиеся тесемочки шапки-ушанки вверх-вниз, вверх-вниз. А с яра, замерев среди сухих дудок пучки и отжившего белоголовника, смотрят на него десятки глаз бывших солдат, бывших офицеров, завербовавшихся на заработки. И плохо входит топор в обледеневшее, крепкое само по себе дерево. Взмах — хек! Взмах — кха! А с сосен и пихт вороны в разные стороны: кар-р, кар-р. Страмовки. Звучно уж очень раздается и далеко разбегается, ушибаясь о звонкие от мороза стволы корабельных сосен, по октябрьской тайге передразнивающее топор эхо: ээ-ка, ээ-ка! Недорубленное дерево под напором не выдержало, треснуло. И пошли. Медленно, мощно пошли будущие горбыли и шпалы. Не выпуская из рук топора, побежал паренек к берегу. И берег близко. Вот он уж. Но провернулись две скользкие лесины, и лишь руками за них успел зацепиться Коля. И только кажется, что медленно ползет по реке деревянная масса, бывшие солдаты и офицеры не успевают бежать

за ней по глинистому берегу: стертые, сглажены подошвы кирзовых сапог — вместо коньков. Нем Коля, и по берегу бегущие безмолвны. И только сердца: тах, тах, тах. И только карканье воронье. До следующего поворота бежали за ним бывшие солдаты и офицеры. И только стон, туда, в небо. И дальше только шапка-ушанка на молчаливом обледеневшем бревне. А когда лес пронесло, выбагрили Коляно тело. И не было у него целого ребра. А пока несли его в барак, покрылось оно твердой корочкой льда. В бараке негде, в бараке тесно живым. Наломали пихтовых веток, постелили и уложили Колю в дровеннике. Выдолбили могилу, смастерили гроб и крест, пришли за Колей, а он лежит в ледяном костюмчике на пихтовой постели, улыбается голыми розовыми зубами и смотрит в дырявую крышу пустыми глазницами. А в открытую дверь и в узенькое слуховое окошечко, молча, испуганные вороны. И потерянный ими пух оседает плавно. Ни близких у Коли, ни родных, а теперь вот и Коли будто нет — вывелась династия. Только где-то в уже вырубленном и затянутом осинником бору, среди глубоких колея, пней и куч трухлявых сучьев, в Сибири, виднеется еще, наверно, холмик с истлевшим крестом. Вспомнилось это, и передернулся всем телом Михаил Трофимыч.

Кто-то из мужиков дотянулся шестом и спихнул с его головы кепку. Кепка плюхнулась в воду, покружилась, как пчела в танце, и стала медленно отплывать. Светом ослепленный, щуря глаза и ничего не видя, Михаил Трофимыч повернул голову к мосту лицом и крикнул:

— Витька, сбегай до кривуна, поймай ее!

Обыкнув глазами, Михаил Трофимыч поглядывал на народ и рассеянно слушал разговоры. Женщины ругались на мужиков, заставляя их что-нибудь придумать — не стоять же так, не сидеть же Нордету тут до ночи. Мужики негромко отвечали им, что, дескать, нужен бульдозер, а бульдозер, как на грех, на ремонте, простых тракторов потребуется не менее трех, это уж точно. Можно, конечно, — говорили мужики, — нырнуть, шкворень вытащить и отцепить грейдер от трактора, а потом веревкой, но ведь не вытянешь такую махину, да к тому же колеса песком замылю. Ну и мужики пошли, вы что, уж и плавать у нас разучились или холодной воды испугались? — попробовать-то можно. Вот и попробуйте, плывите сами, два дурака будут каждый день в речку брыкаться, а мы их оттуда вызволяй. Ну, а с лодки-то? — лодки-то есть же. Лодки-то, конечно, есть, ну а с лодки-то чё? — руками не дотянешься, вон, у него только голова наруже. Нордетиха, сидящая в окру-

жении Нордетят и сочувствующих женщин, уже ни на кого с надеждой не смотрела, тихо плакала и без конца повторяла, обращаясь к стриженому затылку мужа: Скворешник, пьяница несчастный... всегда же говорила тебе, Скворушка окаянный: берегись воды.

И мало кто видел, как юноша передавал девушке в красной мохеровой кофточке часы, рубашку и брюки, а когда он спустился с моста в воду и поплыл в сторону заключенного в ней Нордета, по берегам Пески пронесся мощный народный возглас: «О-охх!!» — так, что загудел чистый козьепуповский воздух.

— Нет, рыжий, — говорил вертевшемуся возле него юноше Михаил Трофимыч. — Тут, парень, водолаз нужен. Без водолаза здесь ни шиша не сделаешь. Или кусачки охрененные, хлопец. Там в шесть жил и за станину привязано на совесть, если как всегда.

И немного позже, выбравшись на мост, посинев от холода ключевой воды и объясняя народу, как там и что, юноша брал из рук девушки одежду и спешно, путаясь, натягивал ее на себя.

— Суки, поглазеть собрались. Глазейте, денег не беру. Вас бы сюда — вот бы полюбовался. Тракторов найти не могут. Гады. Гады. Вороны. Чмо поганое. Разгалделись, как над падалью. Сами бы уже давно вытащили скопом... одними языками... Коля, мальчишка ты недоношенный. Вмерзал бы он, этот лес, к такой-то маме. Мало его на дне да в лесу постигло.

А на мосту уже негде было камню упасть. Люди толпились по берегам. Из Правощекина, как думал Михаил Трофимыч, здесь были почти все, кто мог еще «ползать», а тех, кто не мог, привезли на мотоциклах внуки или правнуки. Был здесь и Левощекин Евсений Гордеич, был тут и его тезка из Правощекина. Маячил тут и левощекинский Вася-дурачок, подошла сюда и Катька-дурочка из Правощекина, чей домик стоит недалеко от доротдела, домик, в который иногда, захватив на сдачу дешевеньких конфет, темным вечером забредал Михаил Трофимыч допеть грустный вариант песни. Вася никому не мешал — сидел на яру, болтал ногами и, пуская длинную слюну, жевал с хлебом кем-то подаренный ему милосердно соленный огурец. А Катька подступала к каждому, дергала за рукав, пристально вглядывалась в глаза и, указывая на Васю, твердила: сел на пенек, съел пирожок — и Васька не чешись, а? Люди не обращали на нее внимания — привыкли.

С яра, запыхавшись, сбежала Левощекина Александра Ефи-

мовна. Сначала, растолкав столпившихся на берегу и взглянув на неподвижную голову Михаила Трофимыча, она шепотом спросила у ближайшей к ней женщины: жив? — и, узнав, что жив, дала себе волю:

— А у нас-то чё, девки! В Щучку же с моста машина брякнулась. Чё ж это такое-то, а?! Чё это за бряканье напало? Будто накликал кто. Да ведь пьют же не стихают. Мастер ихний, доротделовский, Октябрин, или как его там, шофер — мальчишка молоденький и Тарас Правощекин, Анкудиныч-то. Кто из его родных тут, нет? Сказать бы надо. Только колеса и видно. Все, слава тебе господи, живы, только поросенок утоп, не выплыл. Тарас поросенка в городе купил, а эти на машине по дороге его и подобрали. Знал бы, говорит, дак не сел. Дак это, пословица-то: знал бы, где упадешь, соломы бы подложил. Ну и... без этого дела где же, как же они без водочки-то, без водочки они и до ветру не выскочут. Мой тоже еле тепленький в лес ушел, с медведем еще подерется. Ну и... а перед мостом колдобина. В колдобину-то ать, а поросенок на руль и в реку. Перил на мосту будто отродясь не бывало.

— Поросенок, девка, в реку?

— Да пашто поросенок-то, поросенок на руль, а машина в реку.

— Да ты чё говоришь!

— То и говорю. Только что оттуда. Генка на мотоцикле подбросил. И туда спалкал, и сюда вот успели.

— Всё хоть слава богу, Лександра? Живы?

— Да ты глуха, чё ли? Живы. Только поросенок, говорю, утоп. А Тарас плавать-то не умет, дак до сих пор на колесе и сидит.

— А чё сидит-то?

— Да ты пашто така-то! Плавать, говорят ей, не умет.

— Хоть иди туда, девки...

— Час-то уж не ходи. Тут ведь вот еще...

— Лександра, дак я не пойму, кто за рулем-то ехал? Человек или поросенок?

— Ну беда с тобой... Да, — говорит Александра Ефимовна, — вот водка-то до чего доводит.

— Да, — говорят бабы, — от водки-то все и горе.

Коля, беги, прыгай, салага. Еще малость. Давай, давай, хлопец! И Коля бежит. В одной руке его топор, другая — в сторону. И тесемочки шапки вверх-вниз, вверх-вниз. И под ногами Михаила Трофимыча хрустит подмороженная трава, грудь Михаила Трофимыча распирает студёный воздух, и скользят его сапоги по глине... Ну, еще немного, чуть-чуть, ну, трошки,

ну, вот... вот... ах, мать честная! Ну, снова, начни, хлопец, снова. Бревно, другое, третье... помни, где как. Не оглядывайся на меня и не скалься. И бежит снова Коля, оглядываясь и улыбаясь Нордету: привет соседу. Не скалься, щенок, ты же не на клубной сцене, а жизнь не частушка — заново не пропойшь. Третье, четвертое... Ну, не будь же горшком... Пятое, шестое. Седьмое... Дур-р-рак-к! И заплакал Михаил Трофимыч.

И зашумел народ, запричитали бабы. И кто-то, кто ближе жил, бросился за веревками, кого-то отправили за лодкой. Засуетились, задвигались мужики. А Катька-дурочка пристала к Васе-дурачку, тянет его за воротник вельветовой куртки, крутит пальцем у виска и маячит о чем-то, кивая на голову Михаила Трофимыча. Ежился Вася, ежился, но все же отложил хлеб и остатки огурца, накрыл их листом растущего возле лопуха и, взглянув подозрительно на Катьку, а затем на захороненные продукты, съехал на заднице с яра. Протиснулся Вася в толпе, зашел выше моста, скатил с берега заваливавшееся там бревно, забрел в воду, оплел ноги в разноцветных ботинках, оседлал бревно и поплыл, отгребаясь ладошками. Не знает, куда смотреть, народ, что делать, не знает. Быстро затянуло Васю с его суденышком под мост. Вынесло с другой стороны — а Васи нет. Только ботинки крест-накрест вверх подошвами. Успели, зацепили шестом бревно, подтянули к берегу и перевернули: сидит Вася с зажмуренными глазами и плотно запечатанными ноздрями — упрятал в них пальцы указательные. А с яра с шумом, свистом несутся пацаны и кричат, что идут трактора, и не три, а целых семь. И мужики на лодках плывут. И кто-то веревки принес. Но ничего не слышит Михаил Трофимыч. В ушах его хруст пожухлой травы, подошвы остывающих ног скользят по размякшим стелькам — бежит Михаил Трофимыч по глине, в глазах его маленькими светящимися точками снег пошел, а затем повалил хлопьями.

Коля, брось топор, хрен с ней, с железякой, отчитаемся, у меня где-то заначен один. Беги к берегу. Давай. И бежит Коля, не бросив топора, но опять проворачиваются бревна. И не удержать их Михаилу Трофимычу, не справиться с ними. Застылает глаза снег... снова, Коля, снова... Но никого, только шапка-ушанка, как на прилавке, на будущей шпале вниз по Щучкопеске... Коля, Колька-а! Харченко! Нет, не беги, придурок, не беги в такой снегопад. Ухватись за стояк. Я тебя сниму, я тебя выташу. Брось топор. Ухватись, вцепись обеими руками, ногтями влейся, зубами вгрызись... Проворачиваются большие, большие, огромные хлысты. И только стружки летят, и только запах сосновых досок. И только про-

стенный гроб, и только простенный крест... налетает из прошлого, бьет по глазам... Окунает Михаил Трофимыч свою седую голову в воду... Ползи, дурак, ползи, недоносок. Ползко-о-ом! А что это за гром, что это за звук такой?.. И снова снег маленькими светящимися точками, хлопьями... Да то не снег, то вороньи перья, пух вороний. Вон они, страмовки, голенькие в небе олкуются, меньшеются. Кто же это догадался, кто ошипал их? Это сердце: тах, тах, тах... тах, тах... тах... Да протяни ты руку, сними ты его с бревен!

И засуетились люди, замельтешили, как муравьи возле муравейника. И вступили в воду, как при крещении.

Рванулся Михаил Трофимыч, словно там, за спиной, страшное что увидел, откинулась его белая голова назад, и уставились его бурые глазки в синеву козьепуповского неба. И сбывалась вынесенная из детства мечта: под самое облачко взмыл он на фанерном аэроплане с грейдерским «штурвалом» и «троном» грейдерским, мертвую петлю выкинул. И еще повторил бы. И еще... Но не выдержал нагрузки, отказал износившийся мотор старой стиральной машины. Спокойно, от всего отрекшись, едва-едва — то ли поднимаясь, то ли опускаясь — планирует над островом в струе прозрачного воздуха деревянная птица. Несет она пассажира своего сквозь застлавший путь вороний пух, и медленно-медленно сентябрьский день перестает быть светлым, вода — холодной, а небо...

Ага, далеко, страмовки, на Черниговщину: мамка портфель мне купила.

И уж бегут там, внизу, задрав головы и взбивая босыми ногами дорожную пыль, ребятишки, и кричат ребятишки шербатыми ртами:

Эраплан, эраплан, посади меня в карман!  
А в кармане пусто — выросла капуста!

А когда аэроплан пробежал по траве и замер, когда пилот снял краги и кепку-восьмиклинку и бросил их в кабину, вокруг него уже собрались все жители села Цыбулихи. И первым признал пилота старый Остап Цыбуля.

— Так то ж, хлопцы, — сказал Цыбуля, — сынок товарища моего, Трохыма. Глянь-ка, Аксинья, парень твой с неба свалился, — сказал так Остап Цыбуля и отер с лица выкатившиеся из белесых глаз слезы.

И выходит из хаты с черным, блестящим портфелем мать.

— Да буде, буде, мамка, — говорит ей Михаил Трофимыч, — буде пыльного-то целовать. Давайте лучше праздник праздновать, встретины справлять.

И потянулся праздник. Гуляют люди по саду. И к Михаилу Трофимычу все с вопросами да с почтением. А над садом луна большая, круглая.

— Ты, Михась, — говорит захмелевший Остап Цыбуля, — будто лампочка — в тень заходишь, а от тебя свет падает.

— Он у нас такой, — отвечает Цыбуле Лавощекин Евсвий, — шанок, одним словом.

А Правощекина Таисья Егоровна отошла поодаль, села на скамеечку и, томясь в лунном свете, заиграла на серебряной трубе.

А там, когда солнце, проскользнув между конторой и гаражом, готово было скрыться за маковкой Козьего Пула, то с моста и берегов Пески уже некому было бросить на него, на солнце, последний взгляд. На прибрежном песке стояли обтекающие трактор и грейдер. И все кругом — и на мосту, и по правому, и по левому берегам речки — было усеяно конфетными бумажками, шелухой кедровых орехов и, конечно, окурками.

А там? А там — это я машу вам рукой, я говорю вам: до свидания. Я говорю вам: до встречи.

## Аркадий Бартов

### *Неторопливое описание пятнадцати дней из жизни маршалов императора Наполеона I*

2 декабря 1805 года. Аустерлиц.  
По дороге на поле сражения

По дороге на поле сражения под Аустерлицем император Наполеон I обратил внимание маршалов Бессьера и Бернадота на дуг, где росло много цветов: тюльпанов, полевых гвоздик и ромашек, а когда позже император вошел в свою палатку и увидел красивый кувшин с цветами, он надолго задумался.

14 октября 1806 года. Ауэрштадт.  
Во время боя

Император надолго задумался о том, что умение действовать в сложной обстановке проверяется в боевых условиях. В бою под Ауэрштадтом возникло много трудностей, о которых император раньше и не помышлял. Внезапно пошел холодный дождь, а потом разыгралась пурга. И во время этой испортившейся погоды, оказавшись в самом пекле боя, маршал Даву был ранен в спину, руку и обе ноги. Обстановка сложилась так, что в пекле боя оказался не только маршал Даву, но и много солдат, пять из которых — три француза и два неаполитанца — мгновенно подхватили маршала и вынесли его с поля боя. Маршал был в полном сознании и слышал голоса то одного, то другого солдата: «Быстрее, быстрее!» Солдаты сами себя поторапливали, и никто словом не обмолвился о хотя бы небольшой передышке. Так примерные солдаты старались выполнить свой служебный долг.

5 января 1807 года. Восточная Пруссия.  
О взаимоотношениях маршалов и  
солдат во время походно-полевой жизни

Так примерные солдаты старались выполнить свой служебный долг, чтобы не огорчать маршалов. Маршалы же Мюрат и

Ней и, в меньшей степени, Ожеро заботились об отдыхе солдат во время невзгод походно-полевой жизни на территории польских и восточно-прусских земель. Солдаты отдыхали в добротных палатках, где постелью служил душистый еловый лапник, а у очага можно было посушить портянки и обмундирование. Маршалы наблюдали за тем, чтобы солдаты не отбирали грубые ветки для лапника и потолще его стелили. А в ответ солдаты следили за тем, чтобы в долгие и холодные ночи не погас огонь в печурках маршальских палаток. Не давали, не позволяли также солдаты, чтобы маршалы сами ходили к полевой кухне. Зимним январским днем сбегали солдаты к поварам и предупредили, подавая тарелки: «Это для маршалов».

6 февраля 1807 года. Прейсш-Эйлау.  
Закоп жизни маршала

«Это для маршалов», — сказал себе на следующий день маршал Лефевр, когда изучил Наполеоновский кодекс. Изучая кодекс, Лефевр внимательно присматривался к другим маршалам и, взглядываясь в их лица, обнаружил в них много достоинства. Это Лефевр ровно через месяц в сражении при Прейсш-Эйлау сочинил свои знаменитые стихи: «Действуй по уставу — завоеешь славу!»

17 декабря 1808 года. Сарагоса. Охраняя важный пост

«Действуй по уставу — завоеешь славу!» — повторял драгун Виктор, которому во время испанского похода его однофамилец маршал Виктор поручил охрану важного объекта при осаде Сарагосы. Строго следуя уставу, не отвлекаясь ни на минуту, Виктор охранял пост. Вдруг со стороны ограждения ему послышался какой-то шорох. «Стой, кто идет?» — громко окликнул часовой. Никто ничего не ответил. Пристально всматриваясь в ночную тьму, солдат никого не увидел. Но, если бы он увидел неприятеля-испанца и если бы испанец бросился на него с пистолетом, Виктор ловким приемом отразил бы нападение, выбил бы пистолет из рук испанца, сбил бы его с ног и держал бы под прицелом, пока не подоспела бы помощь из караульного помещения. Поединок длился бы считанные секунды, но это был бы самый настоящий бой, и выиграл бы его Виктор, потому что он нес службу по уставу. А шорох, послышавшийся солдату, был вызван дождем, который бойко лопотал между деревьями.

6 июля 1809 года. Ваграм. Всегда быть готовым к подвигу

Дождь бойко лопотал всю ночь между деревьями, а ранним июльским утром началось сражение под Ваграмом. Войска были построены. Взгляд зеленоватых глаз Наполеона пробежал по рядам. «Чей корпус выступит первым?» — спросил император. «Мой, Сир!» — ответил маршал Ланн. Он был готов к подвигу.

6 сентября 1809 года. Варшава.  
Письмо с родины и на родину

К подвигу был готов и маршал Даву, который через два месяца в Варшаве, уже вылечившись от ран, получил письмо с родины. Он сразу сел писать ответ. За этим занятием Даву застал император. Увидев вошедшего императора, Даву встал и стал собирать со стола бумаги. «Да Вы не вставайте, маршал, пишите», — сказал император. «Да мне не к спеху», — смутился маршал и, внезапно решившись, добавил: «Сир, я хочу с Вами посоветоваться». — «Пойдемте, маршал, посоветуемся», — думая о чем-то своем, сказал император, и они вышли в соседнюю комнату. Когда Даву вернулся, он дописал письмо на родину, где в это время стояла жаркая летняя погода.

В тот же день 6 сентября 1809 года.  
Париж. Пропажа кошелька

На родине стояла жаркая летняя погода, и маршал Бертье, находясь в отпуску, пил не торопясь сельтерскую воду. Допив воду, маршал полез за кошельком, чтобы расплатиться, и обнаружил, что его украли. Маршал еле уговорил продавца поверить в долг, послал за деньгами, а сам в тот же вечер был вызван на заседание генерального штаба и уехал из Парижа, куда ровно через восемь месяцев прибыл император Наполеон I со своей восемнадцатилетней женой Марией-Луизой,

6 апреля 1810 года. Булонский лес.  
Затянувшаяся прогулка

Император Наполеон I прибыл в Париж со своей восемнадцатилетней женой Марией-Луизой и попросил остановить карету на холме при въезде в Булонский лес. Поддерживая Марию-Луизу под локоть, император совершил прогулку в лес, а карета осталась ждать на холме. Императора долго не было, кучер заснул, и карета скатилась с холма, зацепилась за пень,

торчащий на склоне, и получила небольшую вмятину. Кучер проснулся как раз перед возвращением императорской четы из леса. Император был в хорошем настроении и не заметил вмятины на карете. Настроение императора несколько испортилось, когда при въезде в Версальский дворец к нему навстречу вышел маршал двора Дюрок.

14 февраля 1811 года. Версальский дворец.  
Отдых императора

Навстречу императору вышел маршал двора Дюрок в костюме, расшитом золотыми пчелами на фоне алого бархата, и сообщил, что в императорской спальне протекает потолок. «Франция нуждается в отдыхе!» — сказал император свою знаменитую фразу, и настроение его испортилось. Он смог понастоящему отдохнуть только через десять месяцев, в том же Версальском дворце, выиграв у Дюрока девять робберов в карты. Следующая игра с Дюроком состоялась сентябрьским вечером в Москве, в Оружейной палате Кремля.

28 сентября 1812 года. Кремлевские палаты.  
Отступление из Москвы

Следующая игра с Дюроком состоялась сентябрьским вечером в Москве в Оружейной палате Кремля. Игра шла с переменным успехом, как вдруг император заметил, что Дюрок с интересом смотрит в окно. «Пожар, Сир», — сказал Дюрок и деловито принялся складывать карты в колоду. По совету маршала Мюрата, партнеры перешли доигрывать в Петровский замок, а через три недели, когда наступили холода и пожары прекратились, покинули Москву. По дороге император молча ехал впереди своей гвардии, не отвечая на вопросы и предложения маршалов. У него было страстное, непреодолимое желание понять свою жизнь, разобраться в ней.

16 октября 1813 года. Лейпциг. Хорошо  
проснуться в своей постели

У императора было страстное, непреодолимое желание понять свою жизнь, разобраться в ней. Случай представился во время битвы под Лейпцигом. Наблюдая поле боя с вершины холма, смотря, как одни народы с оружием в руках бросаются против других, император сказал маршалу Макдональду: «Маршал, я понял, что мы живем среди людей и перед нами обширнейшее поле деятельности, где есть место и широким

интересам. Не все сразу обретают себя, свои настоящие взгляды на жизнь, но никакое чувство не может сравниться с радостью победы — над обстоятельствами, над преградами и невзгодами, а главное, над самим собой, но на этот раз победа будет не за нами. Я не хочу больше здесь оставаться. Хорошо бы проснуться сейчас в своей постели, в замке Фонтенбло, выпить кофе и сыграть в бильбоке».

4 апреля 1814 года. Замок Фонтенбло.  
Бесстрастный поцелуй

Проснуться в своей постели, в замке Фонтенбло, императору удалось только через полгода. Выпив кофе и послушав, как звенит за окном весенняя капель, Наполеон предложил своему брату Жозефу сыграть партию в бильбоке. Игра была прервана приездом бывшей жены императора Жозефины. Войдя, Жозефина сообщила взволнованным голосом, что дворец в Милане ее сына Евгения Богарне находится в аварийном состоянии. Нужны деньги на ремонт. Император приказал Жозефине успокоиться и пообещал рассмотреть этот вопрос. Жозефина уже собралась уйти, но Наполеон привлек ее к себе и запечатлел на ее челе бесстрастный поцелуй. Как только Жозефина вышла, в замок ворвалась толпа маршалов.

В тот же день 4 апреля 1814 года. Тот же замок Фонтенбло.  
Отречение от престола

В замок ворвалась толпа маршалов. Увидев императора, они перешли на шаг. Впереди шел маршал Ней, чуть поодаль маршалы Удино, Бертье, Макдональд, Мортье, Монсей и Лефевр, завершал шествие маршал Мармон. Маршалы предъявили императору ультиматум из пяти пунктов:

1. Уважать права других на собственное мнение, даже если оно отличается от Вашего.
2. Вдумчиво и терпеливо выслушивать своих оппонентов, стараясь понять их.
3. Замечать в высказываниях противников не только слабые, но и сильные стороны.
4. Быть готовым признать правоту других.
5. Не горячиться и не торопиться с выводами.

В случае невыполнения этих требований маршалы заявили, что будут настаивать на отречении от престола. Наполеон, ни слова не говоря, подписал отречение.

Две недели спустя темной прохладной ночью, когда тишину нарушали лишь легкие порывы ветра и чуть слышная поступь лошадей, Наполеон уезжал на остров Эльбу, где росло много цветов.

5 мая 1814 года. Остров Эльба.  
Перед последней битвой

На острове Эльба росло много цветов: тюльпанов, полевых гвоздик и ромашек. В день приезда на остров, не обращая внимания на скромную встречу, Наполеон стал собирать цветы. Поставив их в красивый кувшин, Наполеон надолго задумался. Он ждал встречи с маршалами. Впереди было 18 июня 1815 года. Впереди было Ватерлоо.

17 января 1984 года. Ленинград. Неторопливое описание.

\* \* \*

Мандарины зимой удивительно пахнут  
С первой елки твоей — до последней отдышки...  
Вот лежишь, и зрачок ожиданием распахнут,  
И щека согревает ладошки-ледышки,  
Потому что на вкрадчивых елочных лапах,  
Расцепляясь и в каждую щелочку юркнув,  
И висит, и течет, и баюкает запах,  
Беззащитный, щекозный, щемящий, уютный...  
Словно горькие губы лишь в лоб целовали,  
Извиняясь как будто за каменный привкус,  
Если сказочным замком сквозит в целлофане  
Мандаринного детства оранжевый призрак...  
Словно где-то вдали моросит мандолина,  
К пробуждению тоньше, протяжней и глуше...  
Ты послушай, как пахнут зимой мандарины,  
Как зима

мандаринами пахнет, —

послушай:

Вся, от ропотной, робкой улыбки снежинки,  
Мимолетом угаданной (было — и нету),  
До остриженных веток, скребущих с нажимом  
В аккуратной тетради начального неба...  
Излучают витрины зарю мандаринов,  
И смягчаются щеки зачерствелых горбушки, —  
Словно всю эту зиму тебе подарили,  
В новогоднюю ночь положив под подушку,  
И мерцает она в серебристой обертке,  
И нельзя на нее надышать-наглядеться,  
Потому что зима, что сегодня обрел ты,  
Протянула —

метели —

от самого —

детства...

\* \* \*

Двоюродный лире певучий кувшин  
И галькой Селеновой эллипс лимона  
Прохлады глазам, как телам крепдешин  
В полуденном зное, томящем до звона  
В ушах, до мифической связи сирен  
С оливковой мухой, в девицах — навозной,  
Вулкана — с букетом, — сарьяновский крен  
Июльской природы, готовой на воздух  
Взлететь из последних расплавленных сил,  
Снимает, как приступ, сквозная терраса  
Миражем осенним, и дышит настил,  
Не сдавленный ворсом и пылью паласа  
Полянного... Кто изобрел витражи?  
Наркотик для зренья, эффектный двойко:  
Сперва одеяльце доскутное лжи,  
А после — мозанка памяти, яда  
Целебная доза... И падает жар,  
И столбик венозный бледнеет, как будто  
Снижается в воду оранжевый шар,  
Висящий над сыном, сидящим как будда;  
И бой в барабанных, слабеющий в стон  
Настенных... И оспа газетного фона...  
И вот проступают кувшин и лимон —  
Бессмертная и совершенная форма!

Из цикла  
«Широколиственный июнь»

\* \* \*

Смешав дыхания, — зажглись  
Спиной к умытым палисадам...  
Смотри:  
        шиповник и жасмин  
Цветут-неистовствуют рядом.  
Как будто шепот-разговор  
Перерастал в бунтарский стговор,  
И словно за борт —  
        за забор  
Швырнуло сладко и рисково!  
И не потух, и не продрог

(И кто мудрее, чем лихне!),  
Их поцелуй вдоль всех дорог  
Пылает бакеном стихии,  
Перевернувшей гладь шоссе  
На черноту, на амальгаму,  
На глубину природы всей,  
Где облака — под мотыльками.  
...Жасмин

.. Шиповник

.. Лучик ржи

И взгляд, осекшийся смеяться,  
.. С ума сойти, как пахнет жизнь,  
Зайдясь чахоточным румянцем!..

\* \* \*

Угомонились.

Улеглось.

Грозило —

и не разразилось.

Шевелит ветер теплый силос

Сухих светлеющих волос.

Гудят ромашки, как шмели

Над головой...  
Еще немного —

И нас обратная дорога

Отрежет

рельсом

от земли.

И снова станет недосуг

Вглядеться в сводчатую воду,

Доверив гром громоотводу,

А не глазам, сверкнувшим вдруг,

Как в заговоре озорства

Минутном, спрятанном ладошкой,

И — улеглось...  
Еще немножко!

Еще — цветов из рукава!..

\* \* \*

Простая дудочка у неумелых губ —  
И звуку на одной высокой ноте биться.  
В тумане влажном тень на берегу,  
Взъерошенная, будто птица.

Вот дунула — как тонок долгий звук,  
Как он дрожит, пространство заполняя,  
Его, как облако, порывы ветра рвут  
И плачу детскому уподобляют.

В такую ночь едва ль возможна встреча,  
Свободный путь тяжел и бесконечен,  
Бьет по коленям мокрый плащ,  
И моря шум невнятен и враждебен,  
Смешалось все: звук дудки, ветер, плач.  
И нет звезды спасительной на небе.

\* \* \*

И вот последняя немая роль —  
Над маленьким заброшенным бассейном  
Стоять неузнанной или забытой всеми —  
Слепящий блеск воды и головная боль.

Мельканье пронзительных стрекоз.  
Как жгучих лезвий, крылышек касанье,  
Венок из гипсовых недвижных пыльных роз  
И сердца тяжкого дрожанье.

\* \* \*

С веточкой зеленой, босиком,  
задыхаясь, улыбаясь, плача,  
пробегаешь по песку горячему,  
замедляя шаг, стыдясь, тайком,

мимо той, у опустевшей дачи,  
что стоит с неузнанным лицом,  
в мрамор платья мрамор тела пряча,  
к солнцу обратив глаза незрячие.

Так давно перешагнувшей грань,  
что ей стыд твой, радостный и жаркий,  
что живых одежд твоих игра —  
словно дым прозрачного костра  
через кружевные тени парка.

\* \* \*

«К нам, Одиссей...»

Гомер

Задумавшись, в окно он видит море,  
Там движется корабль, там блещут паруса.  
И вот он снова в ветренном просторе,  
Осталась позади прибой полоса.

В ушах не умолкает ветра вой  
И плеск воды, и вот морская пена  
Летит, клубясь, и на волнах сирены  
Запели гимн свой неземной.

Звонящие несутся голоса  
Все выше, чище, нестерпимей,  
И ветер бьется в рыжих волосах,  
И крылья плещут в небе синем.

Недвижный взгляд серьезных глаз,  
Бесстрастны лица строгие девицы —  
В них был не женской прелести соблазн,  
А безмятежность, отрешенность птичья.

Как он кричал, как бился, как молил,  
Привязанный к скрипящей мачте,  
Как, обессиленный, он в забытьи застыл,  
Как пережил восторг щемящий!

Теперь так смутно дни его текут,  
И в снах томят воспоминанья,  
Все дни его — лишь ожиданье  
Тех незаслуженных минут,

Когда сквозь шум докучных голосов  
Прорвется гибельное пенье,  
И снова крыльев шумное движенье,  
Слепящий свет, поющих черных ртов  
Провалы... Головокруженье.

\* \* \*

Дырявый плащ и вдохновенный взор,  
Весь театральный этот хлам и сор,  
Увядший лавр, поломанный венок,  
Седые пряди вдоль горящих щек...  
О Муза, стыд какой, какой урок!  
Весь реквизит так жалко невесом.  
Пройдись теперь без грима колесом!

## Александр Горнон

### *Краб*

Я краб, я граб,  
я крепок, смел и груб, —  
не зверь-цветок,  
не рыбка золотая.  
Я вскормлен морем,  
вписываюсь в грунт,  
весь век тружусь,  
клешней не покладая.

Я краб,  
мне так начертано судьбой.  
Предвидя время пляшущего буга,  
ораторствуя, ширится прибой,  
кипящей галькой выговор шлифуя.

Я краб, я жду  
у каменной гряды —  
мне не к лицу собою поступаться.  
Ржавеющий от соли и воды  
с рожденья сердце стягивает панцирь.

Да, краб я, пусть —  
не рыба, как они!  
Венец не я,  
мой дом еще не терем,  
как минус — лоб,  
и только, две клешни  
когда свожу,  
напоминаю череп,

но рад я, краб,  
карабкаюсь, подлезть  
под свод любой,

призер по мертвой хватке,  
я принимаю мир, какой он есть,  
в свои неодолимые рогатки.

Прибойна жизнь,  
остра, как острога.  
Но в море нашем  
мы живем как братья:  
мои объятья — только для врага,  
И каждый — враг,  
попавший мне в объятья.

\* \* \*

Здесь ладожский лед  
не бросает свой якорь.  
Здесь время плывет,  
полулежа на мягкой,  
воздушной подушке,  
и смотрит как в воду  
полдневная пушка,  
служа обиходу.

Поднявшись со дна  
на ходулях их прошлых  
до наших дней на  
водолазных подошвах,  
здесь город, как город,  
во многом известен  
по сходству:  
на мокром  
воздвигнутый месте,

по свету,  
что дарит  
(не этого мира)  
алтарик  
любительский  
в старых квартирах,  
где молча ровесницы  
века, слезинки  
смахнув, еще крестятся  
на фотоснимки,

где лезут на воздух  
в обозе мензурок  
из кожи нервозных  
жилых штукатурок,  
где всех породнит  
облицовочный кафель,  
где принят гранит  
под язык эпитафий...  
и горлом  
идет  
жестяным  
дождевая...

Здесь город,  
в котором  
живем, обживая  
мир выживший,  
давний,  
затеявший душу —  
и выбросившийся  
домами на сушу.

# Аркадий Драгомощенко

## Великое однообразие любви

(Опыт прямой речи)

Мы были такими же, как вы,  
но затем сердца наши ожесточились,  
*Ас-Сиддик*

1

«Любовь моя»,  
Я давно не слышал, как ты говоришь:  
вот еще весна,  
еще одна весна,  
и  
мы постарели еще на год,  
еще на одну зиму,

если вести летоисчисление  
от осенних дней.

«Любовь моя»,  
стань у окна,  
стань у раскрытого окна,

Или  
подойди ко мне — какая разница —  
И

скажи:  
наступила весна.

И пройдет она так быстро, что не успеем  
заметить, как трепетный хмель  
первой поросли

стал гулким золотом октября.

«Любовь моя, сестра моя...»

2

«Возлюбленная моя»,  
Ты прохладна, как ветер, дующий перед дождем,  
когда

72

наклоняешься  
и  
когда волосы твои сползают на мое лицо.  
Не спрашивай меня  
ни о чем.  
Ни о чем, мы сейчас с тобой одинаковы...  
И  
если нежна ты как прежде,  
Не спрашивай меня  
ни о чем.  
Не спрашивай.

3

«Любовь моя»,  
Выживанья науку с грехом пополам  
мы постигли — как и птиц, детей нужно растить  
и  
любить,  
чтобы не бросили.  
Всеобщему счастью предпочесть одиночество.  
Не плачь, «возлюбленная моя», что делать.  
После любви и зверь печален.  
После долгих лет любви мы тоже  
можем позволить себе немного печали,

Позволяют же ее себе цветы лесные  
полевые,  
садовые  
покрываясь росой, когда нет еще солнца.  
Позволяют ее себе рабы и свободные люди,  
Взгляни, — сколько свободных людей спешит  
с грустными лицами.

Только семнадцатилетние поют  
громко и радостно.  
А нам ви к чему, уходящим в смутные равнины  
грядущего,  
где эхо молчит.

4

Как душа моя тех давних лет,  
Стоишь  
Ты между двух яблонь недавно побеленных.  
Земля черна,

73



Когда по улицам можем идти беспрепятственно,  
Словно далеко впереди Диониса зрим,  
увенчанного сырыми листьями винограда.

Набирает силу северный ветер.  
Лить вино. Пролить вино на землю, за ворот,  
на камни, на мох, чернеющий в сухой,  
палой  
листве.

В папоротник проливайте,  
Ибо глаза давным-давно пьяны изумленьем.  
Кончается и вино.  
Иссякают и губы.

Вовсе не знание лежит в этих словах.  
Праха в горсти не увидишь,  
Руки, как поющие трости на устах глубоко  
врезанных в землю теней, —

Как легки были наши тела.  
Благоволит к земле небо сегодня.  
Благосклонны к путешествию нашему луна и другие  
светила.

Из  
осени в лето  
мы переходим,  
Из  
лета мы переходим в зиму,  
Из свободы в свободу — ликующие,  
точно до дна исчерпана сквозящая чаша утрат.

8

— Веянье ночи, ты слышишь? Шаги.  
Дуновение звезд приближено темнотой.  
Плодом заветным, сладчайшим мнится голос,  
отягощенный предчувствием слова,  
И очертанья его нежно ранят тебя и меня.  
Чей он?  
Зачем возникает в сумраке властном стволов,  
Искажая понимание времени и пространства,  
воспоминаем паденья, вложенных в разум?

Парень?  
Голос как голос. Не для губ и не горлу.  
Вглядываясь в темноту нерожденного облика,  
Ты произносишь, что можно голос измыслить.

Придумать рот, преображенный дыханьем,  
Что к утру побледнеет ручей шорохов, трелей,  
скрипа коры, дуной ниспосланных  
наваждений,

Проседь легчайшая ляжет туда — дыханье,  
продолженное дыханьем, —  
где тьма

клубилась, подобно цветам, полощущим корни  
в мерцающем небе.

— «Но сестра моя»,  
«Возлюбленная из немногих» — половницу так  
и не сменили, а потом снесли дом —

Простерты мы в этих цветах,  
И твой голос слушаю я,  
Твой изменчивый облик.  
Я слушаю, как он входит в меня.  
Кристалл,  
опущенный в воду.

Свет,  
в день погруженный.  
Разве боль суждена нам была?

И даже не боль растит каплю в зрачке.  
Преломление во влаге. Я не знаю... Веянье ночи.  
Ты слышишь? Дуновение тьмы. Час наступает, когда  
неотвратима с душою разлука.

Как она выглядит, я с трудом себе представляю —  
(Разговоры об отпуске?  
Отретушированные фотографии?  
Строение камня? Смех позади?  
Раскаленный полдень?) —

Но боюсь, что она не вернется назад.  
Смушение не покидает меня.  
Тысячелистье шагов оттекает наш сон,  
Мы не спим, ибо предчувствие слова касается нас,  
Темнокрылых камней в безмерное сцепление стен  
ввергнутых верой.

Как много по весне дается небес.  
«Любовь моя», как трудна радость ночи.

9

Одно из ряда возможных высказываний.  
Равновесье избыточности и рассеянья.

## Корабль дураков, или Записки сумасброда

— Прощайте, прощайте! — закричали дети и громко заплакали. На мои глаза тоже навернулись две большие голубые капли, посверкали на солнце и бросились на мой белый, пре-красно вчера отутюженный полотняный костюм. Представляете, прямо на полу паджака! Я попытался промокнуть их платком, но еще больше размазал, оставив на полотне два отвратительных синих канцелярских пятна. А кругом — было общест-во, все держались за корабельные поручни и махали платками, и что-то несвязное кричали детям, а те все ревели на желтом песчаном пляже и терли щеки грязными кулачками. Экая, однако, незадача — придется смыть. Морской водой бо-язно, так как она, не дай бог, вступит в реакцию с белками моего организма, заключенными в слезах, и закрепит эти пят-нышки навсегда, — представляете, картина! — так что лучше всего пресной; вероятно, она есть в умывальнике. Срам ка-кой! — наверное, и на лице моем, еще утром столь гладко вы-бритом, остались две синие дорожки. Я вынул карманное зеркальце и посмотрелся. Так и есть! Этакое розовое, глубоко симпатичное лицо, и на нем синие следы. Фу! Нужно надеть темные очки и аккуратно — заметьте! — никого не беспокоя, пробраться в умывальню. Впрочем, где же очки-то? Кажется, я клал их в портфель. Так и есть! Достаяю... надеваю... надел! Хорошо, что на меня никто не обращает внимания, все кри-чат: «До свидания! Кушайте кашку! Берегите кошку!» А один толстый мужчина даже: «Вернусь, уши надеру!» — а сам весь красный от волнения, ишь — пузан! — ведь знает, что никогда он не вернется, а туда же! Ну, не бессмысленно ли это? Не неприятно ль? И какой он противный, пухлый, как воздухом надутый! Так бы и двинул ему по морде! Впрочем — нельзя: тут все обратят на меня внимание и заметят пятна на костюме и следы на щеках, и еще неизвестно, что обо мне после этого подумают. Да, но где умывальник?

Я пришел на корабль за пять минут до отхода и еще не

успел здесь как следует осмотреться. Мне безусловно попра-вилось само судно — все белое, оно сверкает медными надраен-ными иллюминаторами, и большой корабельный колокол, на-верное, исключительно звонкий и мелодичный, этакое мирное пастушье ботало, или нет, рында по-морскому? — впрочем, все равно, — главное, что красивый, и особенно большие золотые буквы вдоль борта — корабль назывался «Анакреон».

А крики уже стихали, и одна довольно пикантная дамочка в малиновом платье умиротворенно сморкалась в кружевной платочек, и сумочка ее была открыта — наверное, и в сей тро-гательный момент она не забудет о своей внешности. И тол-стый мужчина устало плюхнулся в шезлонг, тихонько завывая: вы-ы-порю, вы-ы-порю, — и движения людей, обращенных ли-цами к берегу, стали нервическими и напряженными, и я по-нял, что скоро о детях забудут и если я сейчас же не скроюсь, то все обратят внимание на беспорядок моего туалета.

Тут я оглянулся и увидел стоящего под колоколом капи-тана — он был в ослепительно белой морской форме, на голове его красовалась белая же фуражка с золотым «крабом» над козырьком. Лица у него, впрочем, не было, да оно и не нужно было ему, этакому статному молодцу, что я понял, перехватив тоскливо-призывный взгляд малиновой дамочки, брошенный на капитана из-за прудреницы, украшенной крупной мерцающей жемчужиной.

«Вот кто мне нужен!» — подумал я, глядя на капитана. «Подойду и спрошу, где здесь можно умыться. Думаю, что он, как лицо должностное, не станет обращать внимание на синие знаки, а просто проводит меня умывальной». Так и по-лучилось. Милый кептен взял меня под руку, приблизил несущ-ествовавшее лицо свое к моему уху, прошептал что-то приятно-доверительное и повел меня вниз. Если и был в интонации его голоса слабый оттенок угрозы, то я предпочел не обращать на это внимания, ибо на то он и должностное лицо и облечен вла-стью, чтобы вселять почтение. И, что самое главное, он твердой рукой вел меня к цели, и хоть это входит, наверное, в его обя-занности, я был ему бесконечно благодарен. Последнее, что я увидел, сходя вниз по гремящей корабельной лесенке, — был далекий берег и черные точки на берегу. «Бедные дети! — подумал я. — Никогда, никогда больше не увижу вас! Не смогу поцеловать ваши теплые нежные мордашки, не побегу с вами наперегонки от белой спасательной будки до дощатой пляж-ной уборной, никогда, никогда не услышу вашего милого сол-нечного лепета». На мои глаза снова навернулись слезы, но я поспешно вытер их носовым платком.

В умывальной было прохладно и пусто. Слабый свет со-

чился из покрашенного белой масляной краской иллюминатора, напоминая о лунном сиянии, напоенный почти весенней тоской и трепетом, слабой и ядовитой любовной тягой. Поставив портфель на чистый кафельный пол, я прислонился к стене и предался воспоминаниям — целый хоровод нежных неслышных рук и прозрачных волос закружился надо мною, радужные пузырьки поцелуев лопались у самых губ, влажный и теплый шепот лился в уши — или это волны плескались о борт? — не знаю, только я вдруг почувствовал себя мягким и милым мужем, Аладдином, упоенно ласкающим зажженную лампу. Сколько же нежной силы в моем составе, — подумал я, немного очухавшись, — если даже столь слабое напоминание о весенних грезах, как игра оконных лучей, пробуждает во мне целенаправленный и могучий зов?

Собственно, это не было новым для меня известием, а скорее приятным осознанием внятного, но по-новому сладостного качества, которым каждый, кто смотрит на жизнь как на раскрытую шкатулку, вправе искренне и с подъемом гордиться. В том-то, быть может, и состоят цели нашего путешествия, чтобы здесь, в стороне от детей, в атмосфере опасных и возбуждающих перспектив, ощутить каждую житейскую мелочь особенно остро? Давешний пузан, это вялое и унылое Брюхо, я уверен, никогда ничего даже отдаленно похожего на царственную полноту моих ощущений не испытывал. Бедные рыбки! Они бегают, голодные, за бортом, впопыхах хватая даже самую малую кроху пищи, а здесь, в мягком шезлонге, преля и разрастаясь, восседает целая гора бесполезного пассивного мяса! Мне стало жалко голодных рыбок, и я снова чуть не заплакал, но вовремя вспомнил, что плакать нельзя, а пора умываться, и, достав из портфеля мыло и полотенце, подошел к раковине и пустил воду. Расстегнув пиджак, я задрал испачканную полу, сунул под струю и, растирая ее, заметил, что синие пятна начинают бледнеть и исчезать. Вот радость-то! Скоро я предстану перед обществом элегантный и вежливый и ничуть не подсиненный. И тогда эта супердамочка в малиновом платье, я полагаю, посмотрит на меня не менее нежно, чем на безликого капитана.

Я снял темные очки и умыл лицо, тщательно массируя его ладонями, намыливаясь и смывая мыло свежей холодной водой, и это было чрезвычайно приятно, как никогда. Не успел я насухо вытереться, как зазвонил корабельный колокол, и небольшие, необыкновенной, действительно, чистоты звуки коснулись моих барабанных перепонок и стали их гармонично раскачивать — звонили к обеду.

Поспешно собрав умывальные принадлежности и сунув их

в портфель вместе с темными очками, лихо щелкнув замочком и выпрямившись, я вдруг почувствовал прилив бодрой силы и заспешил наверх по звонкой лестнице. Интересно, подумал я, ухмыляясь, — чем нас будут сейчас кормить? Судя по внешнему виду, да и внутреннему убранству судна, обеды здесь должны быть сочные. Посмотрим, посмотрим... Больше всего на свете люблю я поесть! Мне нравятся разные рода пищи: и бульоны, и бифштексы, и соусы. Ощущение, когда первый кусочек мяса касается раздраженного предвкушением рта, — ни с чем не сравнимо! Ток вкусной слюны из-под языка, дрожание каждого атома на его кончике — м-м, м-м, ня!

Я вышел на палубу. Здесь все было залито солнечным светом. Прохладный морской ветер смягчал жару, играя одежками, трепля многочисленные кудри. Посмотрел на небо. Там летали, мерно жужжа, такие четырехконечные штучки — крестики, назначения которых я не знаю, но взгляд мой воспринял их как нечто знакомое с детства. Перевел взгляд на горизонт. Берега было не увидеть. Непонятно почему, все пассажиры сгрудились на корме, оттуда раздавался невнятный шум голосов. Надо всем, из толпы, витала желтая кокарда капитана и нечеткий, но выразительный его голос. Движения людей — резкие, раздраженные — напоминали корриду, потревоженных ос, восточный базар. Наконец толпа расступилась и оттуда вышел капитан, любовно держа за руку невысокого щуплого человечка в измятых джинсах, потрепанном пиджачке, босого. Они подошли к стремянке, стоящей у капитанского мостика, и капитан знаком приказал ему — лезь! Тот засучил ножками по перекладинам, довольно ловко перемахнул через перила, сверкнув желтою пяткой, встал. Капитан, никак не растерявшийся по пути своего достоинства, водрузился рядом. Я подошел ближе. Вот мелькнуло в толпе малиновое платье приглянувшейся мне дамочки, я притиснулся к ней и, наклонившись к розовому ушку, спросил вполголоса:

— Что здесь происходит?

Она повернулась ко мне лицом удивленным; розовые лучи, исходящие от моих гладких щек, ее покорили, — усмехнувшись кокетливо, она сказала:

— Видите — зайца поймали! — Крепкие, курносые соски ее торчали вверх, задирая платье; ярко покрашенные губы с перламутровым отливом неплотно прилегали друг к другу, хотелось просунуть туда язык; карие глаза с порочащей поволокой — это я заметил и раньше — чуть испуганно обещали...

— Зайца? — спросил я. — Безбилетного пассажира? Где же?

— Внизу, в трюме, — она была возбуждена, — говорят, его сейчас будут судить!

— Судить? — брови мои удивленно взметнулись. — За что же?

Она нагнулась ко мне еще ближе, так, что ее длинные волосы коснулись моих щек, а круглое плечо прижалось к моей груди, и жарко зашептала:

— Понимаете, у нас здесь все рассчитано... Запасы воды, пищи... Кроме того, наше особое — ха-ха! — положение, вы меня понимаете? — не совсем удобно... свидетель... —

— Так что же, выходит, по-вашему, — камень на шею — и за борт? — спросил я возмущенно.

Люди, стоявшие рядом, вздрогнули, посмотрели на меня неприязненно, отодвинулись.

— Тише, тише, — зашептала она мне на ухо, — не стоит заявлять о себе столь резко, пока вы не там! — она указала на капитанский мостик. — Вам дадут слово, вы выскажетесь... Здесь же — молчите или говорите мне на ухо. Вас могут неправильно понять... Рассердятся...

Я замолчал. Хорошо же, я дождусь своей очереди и выскажу все!

На мостике в это время стояли уже трое: белый большой капитан, человек из толпы, ничем не примечательный, разве что рыжий, и щупленький босик между ними. Рыжий поднял голову и заговорил неожиданным басом:

— Дорогие друзья! Я удивлен и растерян! У меня нет слов! Но я скажу! Скажу, дабы проставить все точки над и! Оглянитесь по сторонам! Что вы видите? Лазурную даль... Да-с! Поглядите на небо... Лазурь! Правда, несколько более бледная, но чистая. А теперь взгляните сюда, рядом! — он указал короткой ладошкой на съездившегося под многими взглядами нарушителя. — Разве наш взор отдохнет, остановившись на этом субчике! Нет, нет и нет! Это жалкое, грязное, растерзанное существо! Ни благородной осанки, как, например, кхм, у многих из нас, ни белой красивой формы, как у нашего милого капитана, — ничего! Поймите меня! Я смотрю на дело лишь с точки зрения красоты — не более. И все же, разве мы можем потерпеть в своем обществе столь пакостное явление? Никогда!

— Вымыть, вымыть! — раздались крики с палубы.

— Вымыть, вы говорите? Одеть? Побрить? Разве можно смыть эти торчащие ключицы или сбрить эти огромные уши, говорящие о дурных наклонностях? Разве произойдет чудо, способное превратить этот корявый сучок, это подобие человека, в такого, как мы, — любезного взгляду? Мы оставили на берегу детей — детей, плачущих и кричащих. Мы покинули их навсегда. Навсегда! — вы понимаете? И вдруг нас, еще крово-

точащих от свежей душевной раны, оскорбляет своим некрасивым присутствием этот типчик! Не подумайте, что я намерен подсказать вам решение. О нет, я не хочу этого. Вы, далекие от незрелой порывистости, сами придете к выбору наилучшего варианта. Но красота, гармония глазу, стиль — вот за что я ратую всей душой! Я кончил.

В толпе тем временем устанавливалось довольно прочное молчание. Наиболее наивные недоумевали; другие, просвещенные, с хищным интересом ждали, что же из всего этого впоследствии; остальные — небольшая по численности группа — пребывали в равнодушии, занятые еще не пережеванным свежим горем, так, например, тупо уставившись в палубу взглядом, мрачно стоял толстяк. Я внимательно посмотрел на удрученного подеудимого, столь некстати, по мнению большинства, появившегося на нашем судне. Строго говоря, ничего brutального не было в выражении его затрапезного лица. Так, небольшой заморыш из «синих воротничков». Жалкие, бескрылые дужки бровей, узенький, щелочкой, рот, бледные волосы на небольшой головке говорили о полнейшей заурядности и никаким образом не выдавали причин, которые могли бы заставить эту мышь скрываться в трюме нашего необычного корабля. Нет, меня решительным образом раздражает это импровизированное разбирательство! Не узнав ни имени несчастливца, ни его социального, так сказать, положения, ни побуждений, добродетельные наши судьи с варварским пылом бросились рассуждать по существу дела. Ни одна из форм судебной классики не была соблюдена. Но высшая гуманность, продиктованная нам цивилизацией, заставляет нас приветствовать форму — и неспроста. Несмотря на то, что самую природою подписан любому единственному — смертный — приговор, пышная бюрократическая обрядность суда действует на обвиняемого успокоительно. Ему кажется, что не просто жалкая кучка людей жаждет его вязкой крови, — нет, некие могучие, высшие социально-эзотерические силы, силы логической справедливости, с неумолимой, но гармоничной настойчивостью влекут его к последовательной смерти. И это облегчает ему минуты перед: повешеньем, расстрелом, гильотинированием, сожженным на электрическом стуле, гарротой, удушением в газовой камере. А в этом, может быть и слабом, утешении люди не в праве отказать бедняге смертнику.

Впрочем, взволнованный, я отвлекся. А на месте исчезнувшего в толпе рыжеволосого уже стоял длинный, как жердь, блондин в тяжелых очках. Он говорил:

— ... таким образом. И никому не позволено. В связи с этим вспоминается одно небезызвестное вам изречение: ниль

адмирари! Ничему не удивляться! А что суть удивление? Вы когда-нибудь задумывались о природе его? Нет, конечно? Тогда я возьму на себя труд рассказать вам... Удивление — это песнь взлетающих век, это взрыв зрачков. Удивление — это трепет внезапно разбуженного сознания. Памятник ему — соляной столп, бывший некогда женой Лота. Проявления его радужны и многообразны — от тупого «Чаво?» поселенца, до востренького «Вот как?» разыгравшегося бойца. Ничему не удивляться... По-моему, мало на свете положений, звучавших бы столь же кощунственно. И как скорбит мое сердце, какой упругой спиралью разворачивается в нем боль, когда я вижу, что вы, люди отчасти избранные, не удивляетесь столь чудесному появлению у нас некоего нового и вовсе еще не пригубленного явления. Да-да, я говорю о внезапно появившемся у нас пассажире. Пусть вид его неказист. Но душа его для нас — тайна, тайна еще не раскрытая. Как знать, может быть, в этом синем кимберлите непривлекательной внешности откроются алмазы драгоценного соучастия к нам, столь тяжелую утрату несущим! Бедные, далекие дети, покинувшие нас! Может быть, они уже утешились и играют сейчас в лапту или в «третий лишний». Может быть, напротив, они плачут сейчас, — наше будущее, пропащая наша отрада! Так неужели мы будем жестокими к человеку, которого не успели еще узнать? Пускай он поживет между нами, и если ему не удастся оправдать наших надежд, если наше удивление сменится гневом — пускай! Пускай совершится высшее правосудие, и я сам берусь исполнить его. Я буду непреклонен и мужествен! Я буду силен и жесток! Вы знаете, на что я способен? Когда-то я изучал джунглы. Я участвовал в войне и получил нашивку за храбрость. Я готов поразить свою жертву так, что она и пикнуть не успеет! Что, не верите? Думаете, если я сутул и несколько худощав, то уж и неспособен совершить обещанное? Что, доказать вам? Пожалуйста! А ну, становись в позицию, прощельга!

Капитан вошел между ними. Он положил руку на плечо расхрипевшемуся очкарику и показал вниз. Тот, ни слова не говоря, стал спускаться. Ноги его, видимо, дрожавшие от только что пережитого пафоса, действовали неверно, грубо раскачивая стремянку. А он как будто не замечал этого. Наконец шаткая стремянка не выдержала и повалилась. Падение ее вызвало взрыв громового хохота. Хохотала даже дамочка, пребольно вонзившись когтями в мою ладонь. Я осторожно высвободил ее и с независимым видом двинулся к капитанскому мостику. Со свойственной мне ловкостью я прочно установил стремянку на пошатнувшихся было ногах, залез на импрови-

зированную трибуну и огляделся. Не могу сказать, что толпа, открывшаяся моему взору, представляла собой привлекательное зрелище, — напротив, она внушала легкое отвращение, ибо слабая, слегка похотливая рябь, ее колышавшая, выдавала ту степень стадного физиологического возбуждения, когда недолго переступить нравственные законы и отдаться все сметающей тяге эксцентрических поступков; странным образом и окраска толпы, состоящая из зловещего сочетания черного и белого, соответствовала общему настроению; ярким мясным пятном торчало в ней платье малиновой дамочки — красный глаз на невнятной, испещренной оспинами роже, и прозвище мне пришло в голову странное — Киклоп.

Сей Киклоп бормотал вовнутрь себе нечто невнятное, ехидно разными голосами; он опасен, но он же и глуп, глуп именно потому, что вышел из темной своей пещеры, пересыпанной пословицами и дремучим сеном, и позволил себе попасть в непривычное положение пассажира.

— О, одноглазый полосатый Улисс, не совершай ошибок! — так начал я свою, по-видимому, защитительную речь. Толпа притихла. — Люди! — продолжал я. — Я обращаюсь к вашей натуре, к вашему пещерному нутру! Заткнитесь и слушайте его внимательно, и вы поймете, что в ваших душах гнездится много весьма похвальных инстинктов! Конечно, легко сказать, мол, все люди — враги; многие, я уверен, с наслаждением присоединятся к этому парадоксу. Но разве не очевидно, что высказывание это неверно? Простой здравый смысл подсказывает нам это. До чего же мы все-таки докатились доказывать за невольное воодушевление), если мне приходится доказывать вам, что вы добры по природе своей, а вы мнетесь и не верите, и я понимаю вас, вашу маленькую пугливую душу, которой дан столь невеликий иммунитет против зла. Но будьте же рассудительны. Имеет ли смысл в данных, туманных, я бы сказал, обстоятельствах сводить ненужные, пусть даже сословные, счесть? Впрочем, я сам точно такой же, как вы, и вовсе не осуждаю вас, а люблю, — напротив! — и если кожа моя чуть-чуть глаже, то это ничего...

Вдруг густым басом загудела сирена, а потом чей-то голос с двукратным увеличением проревел в динамик с обаятельной интонацией: «Просим пройти на нижнюю палубу! Там приготовлен для вас обед!»

С немверной быстротой стала рассасываться толпа. Последней ушла милашка в малиновом, посылая мне на ходу воздушный поцелуй. Капитан, уже давно спустившийся на палубу, чистил рукавом корабельный колокол. Мы с зайцем остались вдвоем на возвышении.

— Ну-с, — сказал я, — пойдем и мы?

— Уйди! — услышал я злобно. — Не обманешь! Я, если надо, зубами буду царапаться. . . Горло тебе разгрызу! — Голос его моментально взвизгнул до визга.

«Экая, однако, злобная мышка!» — подумал я.

— Ну и стой тут, обмылок! — ответил я с сердцем. — Мне, в сущности, на тебя наплевать! Понял?

Я аккуратно, не испытывая уже ни малейшего участия к этому невоспитанному, злобному типу, спустился вниз, на палубу, и, оглянувшись, увидел, как тот, скорчившись, стоит, синий, у поручней, под ярким послеполуденным солнцем. Я подошел к капитану, который, кончив уже надраивать колокол, любовался блестящим делом рук своих.

— Отлично сверкает! — сказал я и, помолчав, добавил: — Простите, а вам не грустно, капитан? Впрочем, вы человек долга. . .

Тот ничего не ответил, дружелюбно взял меня под руку, погрозил зачем-то указательным пальцем и повел на нижнюю палубу, где за густо уставленными столами уже звенели посудой обитатели корабля. Обед был прекрасен и по качеству, и по сервировке; последние события, проскакавшие по палубе незящной, но стремительной рысью, — так, наверное, скачет трехногая кобылица, — возбудили мой и без того непомерный аппетит. Голод душевный следует лечить земной пищей. Вот сейчас я, покоробленный, несколько раздраженный происшедшим, взволнован, — и, наверное, это отражается на моей внешности; но стоит мне сесть вон там — рядом с толстяком, очкастым оратором и милашкой, за сверкающий серебристой посудой стол и съесть хотя бы малый кусок, а потом еще один и т. д., как настроение мое поднимется до присущего мне благодущия. И это — утешительно. . .

— Не возражаете ли вы, — начал я, подойдя к столу, — против того. . .

— Садитесь! — буркнул пузан куда-то в сторону собственного пупа, этакий невежа.

— Конечно, конечно, присаживайтесь, мы вам очень рады! — протараторила дамочка.

— Очень рад видеть вас рядом, — внушительно произнес очкастый. — Ваша, правда незавершенная, речь во время суда произвела на меня прекрасное впечатление, и только настойчивость, с которой нас приглашали к обеду, не позволила мне дослушать ее до конца. Впрочем, ведь и моя речь была недурна, не правда ли? — спросил он с самолюбивой интонацией.

— Несомненно, ваша речь была не лишена литературных

достоинств, — произнес я, опускаясь на стул. — Что же касается содержания, то я не могу вполне согласиться с той противоречивостью, вызванной, по-видимому, ораторским возбуждением, которой она, по-моему, страдала.

— Боюсь, что вы судите чересчур формально! Дело ведь не во внешней логичности, но во внутреннем эмоциональном единстве, которого не быть не могло, ибо речь эта была произнесена мною, вполне законченной, замкнутой личностью; тем самым любые ее противоречия были только отражением моей цельности.

— Так-то оно так, — сказал я с легкой полуулыбкой, машинально поглядывая на широкие, сладостно округленные бедра милашки, сидевшей довольно далеко от стола, — но ваше высказывание рекомендует чрезмерную, невыносимую творчеством свободу. Передайте мне, пожалуйста, рыбу. Большое спасибо.

— Не слишком ли сильно сказано? Импровизация не подliegt столь строгой оценке. В речи моей все было — порыв, мечта. . .

— Я, честно говоря, более серьезно отнесся к ситуации, предшествовавшей моему выступлению. Мне, право, стало на минуту жаль незадачливого проходимца. . .

— И вы были обмануты в своей жалости? Не так ли?

— Разумеется. Впрочем, дети, которых мы оставили. . . Впрочем. . .

Мне казалось, что мысли мои слегка начинают путаться. Со мной всегда так во время обеда — больно уж аппетитной действительностью был я окружен — янтарные, до блеска вымытые доски палубы, белая, стерильно чистая матовая скатерть, красный белужий бок, нарезанный толстыми жирными ломтиками, — все это отвлекало меня от абстрактных рассуждений, особенно моложавая красotka в малиновом.

И вдруг это физиологическое чудо, этот пухлый пузырь заговорил подушечным голосом:

— Не желаете ли водочки? Холодна, горемычная, припота! А как играет-то! Огонь! А то вы все: элоквенция, конституция. . . Ну, не совестно ли вам? Пропустим под красную белорыбицу? — И он сладострастно подмигнул мне.

Кислая мина исказила лицо очкастого. Он перевернул свою рюмку доньшком вверх и произнес, глядя на меня:

— Я отказываюсь. Мосье, наверное, натурфилософ. . .

— А я, пожалуй, выпью рюмку, — мой язык смачно бил по зубам и по небу, произнося вышесказанное, — грешен. Вы не желаете? — обратился я к дамочке.

— Рюмочку! Махонькую! Ой, только не дополна! Спа-а-сибо...

Красные ее губы были замочены, ярко блестя, полуоткрытые, они и впрямь напоминали полуразрезанный гранатовый плод. К нам подошел капитан, перепоясанный поварским передником, держа в руках поднос с кавказским бараньим кушаньем, каким-то супом, от которого веяло вкусным запахом; расставив принесенное, он ловко встал во фронт, отдал нам честь двумя пальцами, держа поднос в левой руке, и удалился.

— Не правда ли, он очень мил? — спросила меня дамочка искательно.

— Хорош, — сказал я ехидным тоном, глядя ей в глаза, — впрочем, не находите ли вы, что у него несколько отсутствующее выражение лица?

Дамочка растерянно хихикнула, а толстяк забубнил:

— Экий вы бурбон все-таки. Так нельзя! Ведь бестактно же!

Я посмотрел направо. Сосед-интеллектуал откровенно хохотал, беззвучно поблескивая очками.

— Не сердитесь, душечка! — сказал я толстяку. — Я никого не хотел обидеть, — ни вас, ни мадам, ни, заглазно, прелестного капитана. Это была только шутка — фук, и нет ее. Растаяла. Вознеслась.

— В каждой шутке есть доля правды! — промолвил толстяк злоречиво. — Э, да чего уж там! Давайте-ка лучше по второй, под баранью уху!

— Я — пас! — отказалась женщина. — Нет, не подумайте, это не из кокетства... Просто я боюсь, что у меня закружится голова... Эта качка... И потом, вило будит во мне воспоминания о прошедших днях, среди которых, поверьте, были и сладостные денки...

— Поешьте, и все забудется. Тяжесть в желудке располагает к миру бестревожному... Еда забвенья! Меня она неоднократно спасала. А вас — нет? — спросил я у очконосца.

— Я крайне умерен в пище и питье. Для меня средством забвения служило чтение книг — Толстой, Гесиод, Кафка...

Дамочка с новым уважением посмотрела на книгочея. «Содержательный!» — было написано на ее милом личике. Ничего, ты забудешь о его содержании, даю слово...

— Лью, — уверенно произнес толстяк в мой адрес.

Моментальное тепло вознаградило меня за минутную горечь губ. И вправду, качало. Ртутное, огромное море, полное тяжелых крабов, подвешенных к нему, наподобие грузил, в шахматном порядке, пьющих по неведомому узывному об-

ряду темную соленую воду, колыхалось; тем не менее лаковая гладость воли была совершенна, легка, но и в этой легкости содержалась невыразимая мощь морская. Две силы мира — редкая, невесомая — неба и превесомая — моря — легко стыковались на горизонте, создавая впечатление в ниточку сомкнутых губ — аскетизм природы. Легкая сдвинутость форм и обличий близлежащего мира — моря, неба, судна и трех людских особей — не мешала мне, скорее помогала видеть его — гротеск способствовал уточнению восприятия.

— Простите, — обратился я к интеллектуалу, — мне хочется задать вам несколько старомодный вопрос. Не кажется ли вам, что все это, — я обвел рукой вокруг себя, — создано по некоему единому замыслу, преисполнено разумных и единственно верных сочленений?

Очкарик положил ложку, промокнул салфеткой узенький рот.

— Я атеист! — сказал он с гордостью.

— Что вы под этим подразумеваете? Свое неверие в Христа, Сиддартху, Одина, Ягве, Велеса? Или отрицание причинно-следственных связей в мире?

— Не купите! — хихикнул очкарик. — И то, и другое!

— Стало быть...

— Стало быть, мир безумен, возмездие не последует за преступлением, и то, что мы не ходим вверх ногами, — обычная аномалия.

— Смело!

— Как сказать! Согласитесь, что, когда вы защищали подсудимого, вы, хотите того или нет, подсознательно представляли его таким ягненком, этакой идеальной жертвой! И то, что он был наполнен иным, чем вы представляли себе, содержанием, оскорбило ваши причинно-следственные аппетиты. Не так ли?

«Ого! Да он неглуп!» — с удивлением подумал я и сказал:

— Да, но если б все мы ходили вверх ногами — разве не было бы это отражением какого-либо иного закона?

— Не придирайтесь. Вы отлично поняли мою мысль.

Дамочка меж тем обиженно молчала. Еще бы! Что может быть для застольной женщины оскорбительней умственных бесед?

Задребезжала палуба, а с нею и весь корабль, который вдруг стал терять прежнюю легкость хода, валко покачиваться, слегка хлопая по волнам, так что несколько случайных брызг долетело и до нас.

— В чем дело? — спросила дамочка, побледнев. — Ни у кого из вас нет сигаретки?

— Не курю, — сказал толстяк. — Да вы не беспокойтесь, сударыня!..

— Прошу вас! — протянул ей очкастый довольно изящную черепаховую сигаретницу, и, когда она слегка дрожащими пальцами брала из нее, он, я заметил, постарался прикоснуться к ее руке своею. Они обменялись взглядами. Взгляд ее выражал, к счастью, только удивление, а его — плохо скрытую похоть. Вдруг раздался голос из репродуктора:

— Дорогие пассажиры! Мы просим вас не волноваться! В моторе заклинило, но это вполне исправимо и, уверяю вас, за ремонт дело не постонт. Продолжайте обедать, как ни в чем не бывало. Сейчас подадут второе!

— Ну, вот и отлично! — сказал толстяк. — Можно и под второе! Будете? — спросил он меня.

— Хорошо, последнюю. Вам я тоже советую выпить, — обратился я к дамочке, — это вас подкрепит, а то, я вижу, вы волнуетесь, и совершенно напрасно! Вы ведь сами прекрасно понимаете, что беспокоиться пока не из-за чего! Не так ли?

Глаза мои я подсветил дружелюбием, щеки слегка улыбались, и тембр голоса, я уверен, в точности соответствовал элегантности моего одеяния.

— Да, вы правы! — сказала она с легкой усталостью.

Принесли второе — отличного жареного гуся с печеными яблоками. Пока толстый ловко орудовал ножом, разрубая его на четыре доли, судно перестало трясти, и мы поехали дальше.

— Итак, все в порядке! В добрый путь!

Гусь удался на славу. Надо сказать, кругом нас, за разнокалиберными, но одинаково изящными столиками с таким же аппетитом жрали; никто, по-видимому, кроме нашей нервной дамочки, не придавал значения легкой заминке в движении, — жирные, опрятно одетые бабы, мужики в выходных костюмах, лысые и волосатые, чистые и угреватые, с непреходящим пылом месили воздух губами, производя различные по частоте и эмоциональной наполненности, но, по-видимому, осмысленные, хоть и непонятные мне звуки. Как я уже упоминал, в одеждах преобладала черно-белая гамма, но голоса были разноцветные; в целом это напоминало индуюшину птицефабрику и лишь отчасти — свиноферму: кое-кто успел уже тяжело набраться, так что несколько красных увесистых харь с листиками сельдерея в устах покоилось на огромных серебряных блюдах, специально для этого приготовленных. «Из праха вышли, в прах введем» — вспомнилась очень, по моему, подходящая к случаю фраза, вычитанная мною в ка-

ком-то романе. И еще вспомнился мне друг из давней, иной жизни — он зарабатывал тем, что расписывал плакаты в больницах; особенно ему удавались человеческие внутренности — синие, красные, фиолетовые; я входил к нему, а он в запачканном гуашью свитере ползал по распятым на прогнуптованном полотне членам, которые, еще бесплотные, только оконтурированные, не были живые, но под его чуткой пятерней, державшей кисть наподобие скальпеля, на них проступала живая кровь. В комнате обычно было накурено от вечно дымящейся изо рта и зычно хохотал, блестя зубами, попирая ногами в коротких синих носках, распяленных крепкими пальцами, печень, селезенку или самый мозг человека. Может быть, оп, этот маленький демиург, и подсказал мне вспомнившуюся фразу.

Между тем пришла пора вставать из-за стола, что не могло меня порадовать, ибо сидеть здесь было чрезвычайно приятно; впрочем, легкое неудовольствие, вызванное этим печальным фактом, моментально забылось, так как я вдруг увидел глаза своего оппонента, устремленные на меня с необычной, заботливой просьбой. В чем дело — я не спросил, но ждал, что он сам решится мне рассказать. И он заговорил.

— Простите, — сказал он мне, — я необычайно волнуюсь. Вот мы с вами разговорились, и я понял, что вы отнюдь не относитесь к числу заурядов и способны понять многообразные тонкости бытия и искусства лучше, чем огромное большинство людей. Видите ли, последнее время, лет около трех, я работаю над весьма важным для меня сочинением, и вы очень обязали бы меня, если бы сообразовали его выслушать. Я понимаю, что произведения, еще не освященные таинством публикации, вызывают легкое недоверие. И все же...

— Не трудитесь объяснять, — предупредил я его быстро текущие оправдания. — Из нашего недолгого, но содержательного общения я вынес довольно прочное уважение к вашему уму, так что мне доставит удовольствие вас послушать. Вы, вероятно, не будете возражать, если и наши сотрапезники послушают вас?

— Конечно, разумеется, почему бы и нет! — сказал он радужным тоном, с легкой кислинкой в голосе.

Фемина тем временем встала из-за стола и подошла ко мне; у нее были длинные узкие, прелестной лодочкой кисти рук, и одну из них она просунула мне под мышку, и нагретые электроны, струящиеся из моего тела, пронзили ее, но не больно, а ласково; впрочем, я понял, властно, — так откликнулись уголки ее губ. Итак, я под руку с дамой, упругий пузан и ведущий нас сочинитель нестройной, но внушающей уважение

группой затопали вниз, в каюту. Мы углубились в теплое нутро корабля, где красное дерево вдруг обрамлялось медью; белым тупым удивлением встречали нас волоокие очи матовых ламп; прошли мимо полуоткрытой двери, откуда шибало снегом и кукареканьем, — кухня? изолятор? Поход наш ни малейшим образом не напоминал путешествия по лабиринту; непонятно, зачем он мне вспомнился, и какой Минотавр, покрытый дымящимся злым ворсом, поджидает нас за углом, уж наверняка не то потенциальное чудовище, ради которого мы оставили детей, — скорее всего красноцветная, с утонченным, чуть капризным лицом дамочка напоминала мне тонколикие фрески Микен.

Нет, все-таки некий телепатический процесс посетил чувствительные клетки моего мозга, потому что, когда наш предводитель открыл ключом дверь и мы вошли в комнату, из полутемного угла раздалось угрюмо-приветственное мычание и, когда были раздвинуты плотной материи занавески, солнце, не потерявшее еще своей дневной силы, осветило полуголый волосатый торс быкорожего увальня, который, ковыляя на неуклюжих ногах, недовольно пофыркивая, отодвинулся и присел на корточки, где свет его не доставал.

— Прикройся! — сказал очкарик повелительно, бросив ему какую-то тряпицу, лежавшую на диване.

Тот исполнил приказание, неумело ворочая неловкими лапами.

— Не смущайтесь! — сказал предводитель. — Это мой друг и подопечный, он совсем ручной, не обращайтесь на него внимания, друзья мои!

Дамочка, слегка взволнованная, прижалась ко мне. Я обнял ее за талию и усадил в кстатн подвернувшееся кресло, а сам сел рядом, плотно прижавшись к ней. Ее дыхание успокоилось, ритм его выражал покорство и благодарность.

Сочинитель подошел к чемодану, покоившемуся на полке, щелкнул замочком, порылся там и вскоре извлек на свет божий тонкую школьную тетрадку; присев за стол, он оглядел всех нас пристально.

— Начнем, пожалуй? — в его тоне слышалось волнение.

— Разумеется! — пробубнил толстяк. — Не зря же шли!

— Большое спасибо! — ответил автор с некоторой неприязнью и, посмотрев на меня, показал глазами в сторону толстяка: невежа!

— Итак, я начинаю! Слушайте. И ты, дружок, помолчи, не урчи, пожалуйста! — ласково обратился он к быковатому. Тот умиротворенно мыкнул, и чтение началось.

«— Ах, но зачем же кинжал! — вскричала она укоризненно, прижимая к ране кружевной платочек. — Честное слово, вы чудовище, Валентин!

— Итак, сударыня, вы убиты! Прошу вас, падайте.

— Но я вовсе не плохо себя чувствую! Не понимаю, с какой стати я вдруг должна падать на пол? Во-первых, это повредит моему туалету, а во-вторых, — губы ее дрогнули, — это больно, наконец! Я ушибусь...

— Какое это имеет значение, — произнес Валентин с сардонической ухмылкой, — когда вы мертвы. Ну, не капризничайте, друг мой, прошу вас!..

— И вовсе я не мертва! Уверяю вас, рана не смертельна, иначе разве я стала бы с вами, противным, разговаривать?

— Посмотрите, — он обтер клинок полый пиджака и поиграл им на свету, — ведь это же дамаск! Да он не меньше двадцати сантиметров длины! Вы помните, что лезвие вошло по самую рукоять?

— Разумеется, помню, глупенький! Ах, Валентин, разве можно быть столь безбожным ревнивцем! Вы все-таки совершенно меня не уважаете! И откуда в вас этот моветон, эти бизоны инстинкты?

— Не отвлекайтесь, друг мой. Так вот, уверяю вас, что кинжал пробил селезенку, напрочь развалил двенадцатиперстную кишку, задел желудок и, я полагаю, уперся в позвоночник, поранив его. Да половины этих разрушений хватило бы и быку! Так что не сомневайтесь, друг мой, вы сражены!

Она побледнела.

— Если вы позволите, я присяду, мне и впрямь что-то нехорошо. Так вы полагаете...

— Я уверен! — в голосе его прозвучали самодовольные нотки.

— И вы так спокойно об этом говорите? Безжалостный эгоист! Вы не любите меня! Нет!

— Но позвольте, с какой стати иначе я стал бы вас убивать?

— Что вы заладили — убивать, убивать! Повторяю, я не так уж плохо себя чувствую! И я не верю, понимаете, не верю, что у вас хватило жестокости лишить меня жизни.

— Вы сами в этом повинны. Ваше чудовищное кокетство...

— Да поймите же вы наконец, ну как я могла кокетничать при этой ужасной ране? Какой же вы все-таки глупенький!

— Мадам, ну что за логика! Я наконец теряю терпение, черт побери! — и он нервно зашагал по комнате из угла в угол.

— Да-да, я понимаю, вам нечего мне возразить, вот вы и мечетесь! Ах, уж эти мне мужчины!

— Но поймите, в который раз я вам говорю, рана смертельна и она появилась только что! Естественно, у вас не было ее неделю назад, когда я застал вас...

— Ах, не вспоминайте! — вскричала она. — Я краснею...

— Да умрете ли вы наконец? Повторяю и заверяю вас честным и благородным словом — рана смертельна!

— Послушайте, а я начинаю вам верить... Вы и вправду хотите, чтобы я умерла?

— Ну конечно же, и чем скорее, тем лучше!

— Ну что ж! Я наконец решилась. Но помните, злодей, что до самой гробовой доски вас будет мучить нечистая совесть! Прощайте, милый глупыш!

Она вскочила с дивана, зашаталась и рухнула на янтарный паркет, раскидав свои члены наподобие жалкой тряпичной куклы.

— Мертва! — прошептал Валентин. — Навек, любимая...

Он отошел к окну и стал смотреть туда, где легкие сиреневые сумерки большого города вдребезги разбивали расцветающие огни реклам.

— Вот и все! — промолвил творец, насупившись; бледное лицо его зарумянилось, длинные белесые волосы, длинные матовые пальцы, длинный стан его колыхались подобно водорослям; из угла вдруг послышалось хрипение и плач. Мы все, повернувшись, глядели и слушали — плакал неуклюжий бычок; жилы на толстой шее натянулись, заросшее щетиной лицо было сплошь залито жирной обильной влагой.

— Ну что ты, глупенький? — ласково спросил его очкарик, голос которого узвончился. — Не плачь, успокойся, милый!

Он подошел к монстру, положил свою длинную белую ладонь на его лохматую голову и погладил ее; потом, видимо что-то поняв, он запустил руку куда-то вглубь, за спину быкообразного, под лохмотья, и вырвал оттуда две короткие, с окровавленными остриями бандерильи и бросил их в угол, не глядя.

— А все-таки, друзья мои, он жалеет меня, — сказал интеллигент растроганно... — Осязает мой мученья...

Толстяк с неудовольствием наблюдал за происходящим, дамочка же была спокойна — она понимала. В это время послышался топот и крики с палубы; что-то железное там дре-

безжало, выло и ухало; снова странная дрожь потрясла судно до основания.

— Что же это? — спросил толстяк испуганно. — Неужели же начинается?

Дамочку опять зазибило, писака, как бы лишившись сил, присел на стул у двери, да и я, честно говоря, почувствовал себя неважно — что-то липкое, сладкое и тянущее растворилось во мне, мешая сосредоточиться; только быковатый был умиротворен, бездумно и вяло он полизывал у себя между пальцами, что-то заунывно-веселое напевая; его инстинктивное спокойствие меня подбодрило, и я сказал сам себе с надеждой: еще не время. Томительно дребезжа, тянулись минуты, освещенные из окна слабеющим солнцем; уханье и дрожь не прекращались, но я уже почти успокоился и стал думать о детях — как они сейчас — любимые! — капризничают — вечеряющий свет всегда рождал в них капризы... Вспомнив деток, я снова чуть не заплакал, как всегда, когда я о них вспоминаю, впрочем, дорогой мой, я попрошу вас не распускаться! Ну, посмотрите, как испуганно смотрит это очаровательное, желающее вас существо. Ну хорошо ли будет, если прямо при ней у вас из глаз посыпятся голубые кляксы? Держитесь уверенней, сударь, — сказал я себе, — и вы отпугнете несчастье хотя бы на время!

И точно, уханье прекратилось, вибрация тоже, и местное радио сообщило: «Не беспокойтесь. Все в порядке, милые пассажиры! Солнце светит, и те, кто хочет, могут потанцевать!»

Тотчас из маленького серебряного цветка на стене полились звуки какого-то бравурного танца. Я встал и вырубил музыку.

— Здесь, кажется, бар, — с остаточной хрипотцой промолвил хозяин. — Там есть спиртное и бутерброды. Если желаете, можете подкрепиться!

Никто не отказался, и вскоре каждый из нас держал в одной руке бокал, а в другой — сэндвич с холодной телятиной, которая, несмотря на недавний обед, показалась мне необыкновенно вкусной. Да, хороши они, эти коровьи дети, в вареном виде; все раскраснелись, все воодушевились, и развязавшиеся языки — даже Фемина нечто мелодичное лепетала — заговорили о полном и безраздельном довольстве.

— Так вот, дружочек, сочинение ваше мне очень по душе. Его отличает необыкновенное изящество композиции, легкость исполнения, глубина чувства. Я совершенно далек от того, чтобы считать вещь вашу просто изысканной зарисовкой. Она принадлежит к разряду таких литературных новинков, где

мысль не декларируется, не нисходит до вульгарной образности, но запрятана в самой структуре произведения. Единственное, позволю себе заметить, возражение, у меня возникшее, сводится вот к чему: не слишком ли вы злоупотребили искренностью, которая, к сожалению, здесь очень четко просматривается. Понимаете, от милой вещи вашей за версту разит грубой автобиографичностью. Могу понять, что событие, человека поразившее, рано или поздно отражается в его творении, но не искусней ли было бы, если бы вы запрятали воспоминание на уровень, скажем, интонации, в произведении, трагующем, например, о розах?

— Вы совершенно правы. Но я не мог...

— Все он не прав! — провозгласил пузырь, покачиваясь над полом. Тонкие ножки удерживали его у земли, наподобие привязанной к полу нитки, а то бы он, вероятно, снялся и улетел в окно. — Совершенно не прав! Ну при чем здесь розы? Розы-то здесь при чем? Розы, мимозы, интонация, пертурбация! Стыдно. А что он ее убил, так и правильно сделал — нечего подолом вертеть.

— Простите, — сказал я, — но ведь вам услышанное понравилось?

— Понравилось, совершенно определено. И чувствительно, и поучительно. И это... Налейте-ка мне еще малость. Для укрепления жвительных сил, так сказать...

— Не желаете ли прогуляться? Вечереет, и на палубе сейчас, вероятно, прохлада... Да и не стоит вам больше... Уж простите за прямоту, я, так сказать, не в обиду, — произнес очкарик, глядя на толстяка.

— Люблю... Что думаешь, то и режь! А я не обижусь! Пойдем, согласен!

Они начали собираться, я выжидал; тут произошла некоторая заминка, потому что, когда они направились к двери, ни я, ни моя пассия не тронулись с места.

— А вы?

— Если не возражаете, — обратился я к очкарику, — мы еще здесь побудем. Я боюсь, что наша дама замерзнет на палубе, а одной ей тут будет скучно. Так что, повторяю, если вы, конечно, не имеете ничего против, мы останемся.

— Ну, хорошо! — сказал он резко, втайне досадуя на нашу бестактность. — Как хотите. Вот ключ, — если уйдете, повесьте его на крюк у двери.

— Прекрасно! — сказал я медовым голосом, а женщина премило ему улыбнулась.

Итак, они ушли, и я запер дверь на замок. Быковидный глубоко и мерно дышал, распростершись ничком на полу, на-

крытый попоной с узором из миртовых веток; полутемный сон, реющий над тяжелой его головой, мешаясь со слабыми уже лучами заходящего солнца, создавал странное, лишенное векторных линий свечение — так светятся гнилушки на болоте.

И я подошел к ней, и взял ее за руку, и подвел к дивану, и познал ее, и было мерное дыхание быка, и качание волн, и колышущийся пульс крови в ее и моей груди, и мягкий запах, чуть подслащенный парфюмерными специями, и она сказала: «Возлюбленный! Обнимемся и уснем!» И мы уснули, и спали долго, и я пробудился от тиканья часов на руке.

И вот за стеной заговорило радио:

— Друзья! Уже зажжены свечи святого Эльма и заработали небесные механизмы, разворачивая мощнейшие волны, и все это для вас, для избранных, так сказать! Итак, приглашаем вас полюбоваться классической морской бурей!

«Ну, наконец-то! — подумалось мне. — Начинается!» Смесь радостной дрожи и дрожи неодолимого ужаса овладела моей душой. Я знал, на что мы идем, и останусь тверд. К чертям годы жалкого ожидания! Я подавил накативший страх и поднялся с нашего ложа; женщина все спала, и спал бык; оделся, глядя во тьму за окном, судно качало, оно стало слабо, но окончательно, как я понял, потрескивать; я подошел к ней и поцеловал в лоб; выйдя, я плотно притворил за собой дверь и тихо закрыл ее на ключ. «Ни к чему вам участвовать в панике», которая сейчас поднимется! — подумал я. — Это будет неэстетическое зрелище, я не хочу, чтобы вы унесли с собою на дно несколько некрасивых воспоминаний. Спите с миром, пока еще есть возможность!»

На верхней палубе вдоль поручней стояла цепь пассажиров; зрители были взволнованы; прожектор, светивший во тьме, выхватывал нелепые куски темнеющего пространства; его плохо закрепили, и он метался с безумием, целенаправленной логике бури не поддающимся, вырывая из темноты черные и белые спины; ураган, смятение уже намечались — рокот все сильнее бушующих волн, жалкий ропот толпы, пораженной пришедшей бедой, об этом свидетельствовали.

Итак, качка все усиливалась; порывы ветра становились мощнее — отчаянно дернувшись, свалилась стремянка у капитанского мостика, кувырнулась в воздухе и упала за борт, увлекая за собой — боже мой! — милого очконосца, который, не ожидая нападения сзади, навалился животом на поручни и смотрел вдаль; падающая лестница так ловко поддела его, что он, подпрыгнув наподобие акробата, перевалился через борт и упал в темноту, издав слабый, покорный зов, поразивший меня своей интеллигентной интонацией.

В толпе вскрикнули, но большинству уже было не до того — волны стали захлестывать палубу, и я крепко вцепился в какой-то крюк у рулевой рубки. Многие с отчаянным звуком блевали, лица были солонны и блестящи от брызг и от слез — две субстанции, почти однородные, там перемешались, и надо всем господствовал ветер, нанося неисчислимыя раны судну, смывая и выдувая все на своем пути. Невдалеке я заметил толстоузого, он что-то грозное рек, глядя на море, держась рукою за прибортовой поручень; в другой руке его была бутылка, из которой он то и дело отхлебывал. Наконец, его мягко поддело волною и унесло за борт; он покоем на влекущей его волне, как на диване, и лицо у него было дурацкое.

Потом под мелькнувшим лучом прожектора я увидел рыжего оратора; он бежал, приготовив руки для ныряния, сложив их лодочкой, и, когда борт занесся над волнами, он, опираясь красивую дугу, полетел в самую гущу морской пены. Видимо, у корабля остановились двигатели, потому что нас стало бросать еще безобразнее, и, когда подлетевшая волна ударила меня в подбородок и задрала голову, я увидел над собою бывшего подсудимого, вцепившегося в поручни, в прежней позе; лицо его искажала злоба. И тут особенно сильный порыв ветра сорвал сверху прожектор, он упал, горя, и со звоном разбился о палубу; тонущий корабль погрузился во тьму, и что-то летело...

*Жена Лота*

- Ты обернешься...  
— Нет.
- Ты обернешься!  
— Нет!
- И в городе своем  
Увидишь яркий свет,  
Почуешь едкий дым —  
Пылает отчий дом!  
О, горе вам, сады —  
Гоморра и Содом!  
— Не обернись! Святым  
Дано — соблазн бороть.  
По рекам золотым  
Несет меня господь!  
— По рекам золотым  
Несет тебя господь,  
А там орет сквозь дым  
Обугленная плоть...  
— О чем ручьи поют?  
— Там пепел и зола!  
Над ангелом встают  
Два огненных крыла!  
— Они виновны.  
— Так.
- Они преступны!  
— Так!
- На грешной нагоде  
Огня расправлен знак!  
Ребенок на бегу —  
Багровая звезда...  
Ты плачешь?  
— Не могу...  
Всем поворотом:  
— Да!

\* \* \*

Медногубая музыка осени. Бас-геликон  
Кружит медленным небом. И, колеблем, осыпан листвою,  
Проплывает военный оркестр в мокром воздухе по-над  
землею,

Чуть повыше дождя занесен, накренен.  
Скажет музыка «оо-о», и отступит фонтанов вода.  
Так застыли тритоны, что губы у них леденеют —  
Не сомкнуть, не ответить оркестру. Он медленно реет,  
Медью призрачной греет.

Дрожит за плечами слюда.  
Что ж, российский Версаль? Нам достались из той  
стороны

Этот парк щегольской да падрывное слово «блокада»,  
И не кроны деревьев — голодные ребра войны,  
Не золоты арфы, а песня смертей и надсада...  
Сеет дождик — и плачу. И с криком летит «метеор»  
Вдоль оставленных парков. Деловито спешат экскурсанты  
Мимо братской могилы фонтанов, каскадов, озер,  
Мимо музыки — вниз головой —  
растворенных дождем оркестрантов.

\* \* \*

Загляделась я в польщу.  
На невнятную жизнь мою  
По воде неясной гадаю.  
Закраснелась вода, зажглась —  
Это облако, отразясь,  
Занебесным коснулось краем...

\* \* \*

Век можно провести, читая Геродота:  
То скифы персов бьют, то персы жгут кого-то,  
Но выцветает кровь. В истории твоей  
Оливы шум, крестьянский запах пота.

Мельчает греков грубая семья,  
Спешит ладья военная в Египет...

Мы горечи чужой не можем выпить,  
Нам только имена, как стерни от жнивья,  
А посох в те края на камне выбит.

И где она — земля лидийских гордецов,  
Золотоносных рек и золотых полотен,  
Где мир в зародыше, где он еще так плотен,  
Где в небе ходит кровь сожженных городов,  
Где человек жесток, и наг, и беззаботен...

\* \* \*

Дрожат и плещут за окном  
Тяжелые поля пшеницы,  
Покажется — она дымится...  
Дождь, как стена, к земле крепится,  
Полнеба заливают гром,  
Ни птицы в воздухе сыром,  
И мертвая сосна смолится.

### Судак

I

Странный пейзаж открывается разуму духом узрящим:  
редкий бесцветный кустарник и камень горячий...  
Нет, это снег рождества, белые кровли,  
дольный дымок слюдяной, стадо под кровом.  
Жирной разводы воды под коромыслом,  
бледное масло горит в воздухе чистом.  
В иглах, цветах ледяных — лба полукружье  
детского — через стекло вижу снаружи...  
Клавдию голос зовет, и отзовется  
звонкий подойник в хлеву, цепь у колодца.

II

Темное, темное тянем питье из остуженной чаши,  
полночи ясный светильник стоит над водою.  
Радость не вспугнута, тело еще молодое...  
Как прохрустят голыши и песок прошумит по поддонью,  
если очнуться, вскочить, если выкрикнуть «наши!».  
Я начинаю движением губ превращенье созвездий  
в шитую знаками шерсть, письма золотые, —

и, запрокинув лицо, напрягая затылок,  
ты разбираешь по ним отдаленные вести  
из прокаленной земли полуострова-чаши,  
из черепичного рая, пыльного сада...  
Неисчислимые, длинные очи следят винограда,  
как пожухает листва, осыпая ограду,  
как зарумянится слива от долгого взгляда.

III

Теплый, тройного замеса воздух, и свет золотеет.  
Сбился туман, разворошенный солнечной спицей.  
Из Феодосии-Кафы тянется сонная птица,  
пристально, умно глядит, а сказать не умеет.

Или душа караима в пестрой повязке?  
Или еще гонуэским стеклом отольет оперенье?  
Горного воздуха низки, пухлого облака связка,  
благоухание детской беседы вечерней...

## Аркадий Илин

### Из цикла «Эпохи и стили»

#### Фламандцы

Мясник, ласкающий на брюхе  
свое величье и покой,  
молочник с бледностью старухи  
и мельник с толстою женой,

детишек вскормленное стадо —  
томятся сытые тела  
в тени ухоженного сада,  
в плену у щедрого стола.

Плоды покоятся на блюде,  
уста лениво шевелят  
и в затрапезном пересуде  
вершат языческий обряд

мясник, ласкающий на брюхе  
свое величье и покой,  
молочник с бледностью старухи  
и мельник с толстою женой.

#### Голландия. XVII век

##### Л. Корсавиной

Художник пишет по утрам картины,  
сев за мольберт, откинув край гардины.  
Модели оживут на полотне,  
и, обернувшись, дама скажет мне:

— Еще есть время в зеркало взглядеться,  
читать письмо у светлого окна,  
когда покоем комната полна,  
и хочется нарядно приодеться.

Еще есть время дворик свой прибрать  
и вышивать старательно узоры,  
бросать на улочку задумчивые взоры,  
бокал с вином от друга принимать.

### Аттестат

...И вот вошла. Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

*Анна Ахматова. «Муза», 1924*

Пятилетний, в коротких штанишках на помочах, я шествую по Невскому. Рядом, конечно, должна шагать мама, мы всегда вдвоем: она посвящает мне все свободное от заработка время и даже то, что неизменно отведено третьей ипостаси — разносчицы телеграмм. Тогда я, обняв утомленную шею, поблескиваю глазами с ее плеча.

Если я не оседлал маму, то рука моя должна храниться в ее ладони, но я ощущаю землю и свою незакрепощенную кисть — где ты? Однако бедра женщин, которые обычно наплывают на мое лицо, стремятся к равновесию значительно ниже линии горизонта — здесь что-то неладно.

Я внимательно вглядываюсь в асфальт, хотя желание мое — всмотреться в прохожих, но, зная, что единый взгляд толпы примагничен ко мне, я прижимаю подбородок к груди и зыркаю по сторонам...

— Не пиши от первого лица, — отмечая пренебрежение — не свое — читателя (она раннее меня!), с кривой усмешкой наваливается на спинку кресла тетка. Рука ее стиснута коленями, ноги вибрируют.

Когда пальцы мои, нащупав клюкву, давили ее, лицо изображало муку, а после, когда рука подносила содеянное к глазам, я плакал.

— У тебя опять получится вопль, — осязает волосы тетка: часть их заплетена в косички, отдельные участки завиты и — проседь, проседь. Ребенком я окрестил это империей...

Здесь было кафе: мать кормила пирожными, звучали сказки (непреренно поучительные), официантка Тася, гардеробщик — инвалид с культей, замененной в будущем протезом, и улыбка его (улыбочка), и голос: «Видите...»

Я сидел на потертом стуле и прикидывал сумму, на которую потреблял: угощение качественнее общепитовского, но и дороже — его много. Появлению продуктов аккомпанирует табло калькулятора — оно люминесцирует, мне не избежать огненных цифр: два яйца, традиционно диетические, — тринадцать умножить на два получится двадцать шесть; в меню добавляю за варку и сервис, а подсовывают, убежден, по девять копеек, в столовой неизбежно минимум тридцать вместо восемнадцати, а это, считай, еще одно можно проглотить, да на три копейки хлеба, — или так: на копейку соли, на две — хлеба, соли, кстати, хватило бы на месяц, а с мучным тоже нечестно, буханку за четырнадцать копеек кромят на двадцать кусков и каждый оценен в копейку, да еще начисляют по три копейки за два куска.

Я сидел на потертом стуле и вновь истязался испытанным ранее, когда мялся в очереди у стен кулинарии, мялся и читал судьбы. Когда мы двигались неспетым строем, мне вдруг стало жутко всего, включая винтики на прилавке-холодильнике: фурнитура тоже оказалась причастна. Стало жаль себя, когда увидел все как оно есть на самом деле: пиратский глаз кассира, вдавленные, тройные, квадратные подбородки, куцые, будто об одной фаланге пальцы, сжавшие мешки полиэтиленовые импортные с рекламой джинсов и автомобилей, кошелки холщовые отечественные с мочащимися голозадыми детьми...

Я не уверен, что не присутствую в данный момент в некоторых прельстивших взор зданиях. Я, смотрящий, придирчив: здесь изменить цвет и ликвидировать четвертый надстроенный этаж — он нарушает гармонию. Я, находящийся в домах, одинок и грустен: здесь кишит народ, бал, мне вроде бы весело, но я обманут, ее — нет, хотя стоящая — не она ли? Щурюсь, догоняю во внутреннем дворе (статуи, фонтан), останавливаю и изучаю — нет; здесь — ни души, я — затворник, мотается лес, таранит руку, это — апогей скорби, и я готов зарыться в собачью шерсть, но — нельзя, и вновь понимаю, что мне не пять, а близко к тридцати, и пока (надежда!) я не вывел категорию: мечтатель или неудачник.

\* \* \*

Активно изучаю присутствующих. Это — две аспирантки, прижавшиеся к стойке у заветного окна; они читают допоздна, делят яблоко, спят вместе; асимметричный дипломат: покле-

вываает девиц («неплохо!»), перетасовывает бумаги, наслаждаясь не только укомплектованностью материала, но и пропикная заодно в женскую физиологию; потряхивает ворохом (пощупывая аспиранток), снова перекладывает.

— Скажите, мне имеет смысл ждать? — громко и никому, пощелкивая пальцами над рабочим местом инспектора ОЗО.

— Есть право у человека в туалет отлучиться?! — басом (деланным) различается в неистовстве сирени (и это в самом сердце канцелярии!) опустошенное за ночь лицо.

В детстве я мечтал стать сумасшедшим — сумасшедшие не чувствуют боли. Жениться на медичке? Только не это! Я полагаю, что меня настолько угнетет медицинская практика супруги, что я не изыщу ресурсов для половой жизни. Второе место завоевала контролер метрополитена. Третье могла бы заслужить бюрократка.

Поаживаю энергично, не позволяя усомниться ни людям, ни мебели, ни самому духу делопроизводства в своей бодрости и решимости.

Первой проникает пирамида бумаг, следом — очевидный усталый кадровик: «Кто бы пожалел?»

— Я за документами. — Стопы опережают голову, и мне легче.

— Студбилет, зачетку, читательский. — Сколько у тебя еще козырей?

— Нет. — Я уже не уверен, стоило ли тревожить безразличную мне жизнь отдела кадров.

— Из библиотеки — справку, из тридцать пятого — заявление с резолюцией Миневича о том, что у вас все потеряно. — И даже символика!

В коридоре — фотовыставка к юбилею института. Шагаю мимо, по глаза ищут и находят. Подхожу. Почему именно это? За все годы функционирования факультета при всем множестве студентов. Голова Давида. Петренко. Алла. . .

Сейчас я выскочу из квартиры, нажму на кнопку лифта, но не стану томиться — нет, пока он доберется, перепрыгивая ступеньки, я промчусь по лестнице черного хода, попав на девятый этаж, долечу до ее квартиры, вожму палец до боли в звонок и одержимо уставлюсь на дверь: очертания речи, догадка о поступи, дверь открывается, за дверью она, дальше, в глубь квартиры, на кухне — мать, и тоже смотрит, — четыре глаза изучают меня — я необычен: я как-то неловко поманю, вместе с нею шагнет мать, она тоже поймет, она вспомнит — так было, но остановится, закусит губу, улыбнется — мы все выразим

радость, я шепну: «Я хочу тебя! Я хочу с тобой. . .» — я опущу глаза, снова подыму их: «Пойдем к нам. . .»

— Ты — маньяк, — прикикает ко мне Ирина и, дрожа, всасывается в шею: фиолетовая плазма переливается в нее.

— Как всегда, не о том, — перебираю невидимые локоны. — Мне ведь от них ничего не нужно. . .

Я все еще у стенда. Навстречу — человек, опираясь на палки с подлокотниками: ботинки различны, ноги при перемещении настраивают на своей автономии. Именно это я открыл тогда, когда глаза, части лица и фигуры зажили сами по себе. «Почему у тебя два носа?» И снова взгляд на пожелтевшую хроникку: доцент, пустой стул. Да, я тогда вышел.

\* \* \*

Река, словно поверженный парашют, не покоряется границам парашюта. Больше всего мне дорог сейчас лес: я обнимаю дохматое тело, я успокаиваю зверя: преодолеем. К реке одержимо влечет, и, отпустив пса, — он не убегает, он втирается в ноги, — я перевешиваюсь через гранит, — рыхлое тело воды вскипает жилами, оно подобно карте, что на ней? Оно сокращается подобно клетке — мне не оторваться, зрелище манит: что под покровом, что за десант скрыт пеной? Волны как скалы. Неужели город гибнет? Накатывается вал. Я сгребая собаку и бегу, но куда? Здания закрыты, и за стеклами — никого. Никто не отопрет нам, и мы сгинем в бешенстве воды. Но кто там за дверьми — брат? Нет, не он. Это — я. Но все же ощущение братства. Ну, как же, я и я — конечно, мы самые родные друг другу. «Ну, что же ты, сколько можно, — с раздраженной заботой он, замыкая дверь. — Посмотри». Да, удержишься мы на набережной — и все. «Что у тебя в сумке?» — он, не повернувшись. «Это собака», — я треплю приосанившегося кобеля. «Ну, как хочешь». Он крутит головой — ну совершенно как брат, хотя это — я, допустим, я-двойник.

— Налево, — произношу я-двойник. — Я в ванную.

— Я тоже, — присоединяюсь я.

Забавно созерцать себя со стороны — наблюдаю, как раздевается я-двойник. И тут до меня доходит: ведь я-двойник — мальчишка. Сколько ему — лет пятнадцать? Он вдруг кажется мне невероятно несчастным. Жажда утешить ребенка столь велика, что я приближаюсь, но вдруг иное захватывает меня, и я:

— А как это случилось?

— Ты все испортил, — отмахиваюсь от него.

Я-двойник пытаюсь открыть душ, но под рукой оказывается что-то иное из иного мира и иной ситуации. Я-двойник перевозу взгляд, уже вспомнив: это — занемелая рука покойника.

— В чем же моя вина? — недоумеваю я. — Ты сам открыл. — Но тут же ловлю себя на том, что, в общем-то, не в состоянии сообразить, где же я? Но наибольшая тревога за я-двойник, с ним-то что? Неужели все так, как мне почудилось? Как же спасти его? Я беру его за плечи, я шепчу:

— Неужели ты не можешь остаться? Неужели нельзя жить нам двоим?! — кричу я.

— Ты не понял? — шепчу я-двойник, коченея.

Я-двойник плачу. Руки, мои юные руки — мне не шевельнуть ими, они — мертвы, мне уже никогда ничего не сказать ему, он так и не поймет. Так и не...

\* \* \*

«Заблудиться нужно уметь, это — дар», — утешаю себя, все глубже забираясь по смутно знакомым лестницам на этажи, по ним сквозь двери, по коридорам — в неведомые кущи вуза, как вдруг, словно пробуждение — белый мрамор, зеркала — да-да! — и белый роаль...

— Ты где? — простирает руки жена, чувствуя меня, незримого. Чем все кончилось? ..

Из залы попадаю на лестничную площадку, спускаюсь по ступенькам, похлопывая черные с золотом перила.

— У тебя сколько людей? — спрашивает спина (я — сзади).

— Моих — восемьдесят, — голос из помещения. В нем свет и дым вуалью стелется наружу. Мощное лицо оборачивается. Мелкие глазки помаргивают. Красный значок. Молчание.

— Ну так что? — из никотиновой пелены. — На повестке вопрос с пилотками.

— Сейчас, — производит шаг ко мне незнакомец.

«Ударить или убежать?» Последнее не от испуга, а от нежелания нарушать сюжет, навязанный не мною.

— Вам кого? — Это — ко мне. И новый шаг. Физиономия благополучна, как мичуринская антоновка в корзине, — помню со школы: ботаничка трясла невесомый (давала подержать) муляж, повторяя несколько удивленно: «Полтора килограмма».

— Я за документами, — я, не колеблясь.

— Вам завизировать? — он щелкает, словно кнопочным пожом, авторучкой.

— Модест, что там? — В проеме организуется набросок, и вот уже композиция из двух фигур: близкий к квадрату с фруктами на плечах и тощий, словно пласт жвачки, возникший.

— Нет, я уже выбыл, — киваю, стремясь вниз.

— Выход перекрыт. — Нависает в пролете яблоня. И будто падает плод, с подкашливанием: — Тупик.

\* \* \*

За сложной системой оргстекла и алюминия старушки проводят чаепитие. Каморка тесна, и реальность спорит с иллюстрацией: художник вроде бы шутит над героем, рисуя жилище меньше его самого. Но так же как в представившейся картинке видимое убедительно и надежно, так и они: имеют продолжением руки плоскость стола, головы — ящик с ключами; сколько лет они просидят с блюдами? Различаю голоса: сплетничают. Им, наверное, невдомек, что лепет их слышен за пределами бытовки, во внешнем мире, где старческий гротеск ваяет пороки невестки, соседки, сменщицы, начальника «караула».

Заранее шевелю пальцами для привлечения внимания, подхожу и громко и вежливо, хотя уже вспомнил, как добраться, спрашиваю. Мы все улыбаемся, и та, что гардеробщица (номерки как бублики на карем шнурке), объясняет. Ей, кажется, понятно, что она первой начала меня утешать.

Натешившись информацией, удаляюсь.

Вахтерша: Бродит, как Савич.

Гардеробщица: И каждый день.

Две реплики — два выстрела: обо мне? Возвращаюсь и, минуя, бросаю взгляд: непрекращаемое чаепитие — пенсионерки так и сидят здесь до могилы, их сменяют другие, и Смерть, запутавшись в клиентуре, гадает: брала?

— Это и есть их захоронение, — шлепается на плечо чело-вечек со спичечный коробок.

— Постарайся понять: мне необходима цельность событий, такая, что ли, система от А до Я, иначе легко запутаться.

Человечек: То есть свихнуться.

Я: Ты — Савич.

Он: Неостроумно. Хуже — пошло.

Я: Ну кто же знал. Прости.

Савич (шепотком): Хочешь жить сто лет?

Я: Двести.

Савич: Полтораста.

Я: Триста.

Он: Возьми.

Сворачиваю ладонь, выхожу во внутренний двор, размыкаю изуродованные пальцы: конфета «каракум», сжимаю — пусто. На плече — чепчик от желудка.

\* \* \*

Я убежден, что нынче сумею все завершить. Мне кажется, что я не слишком заметен. Зайдя в корпус, отсчитываю зигзаги, необходимые (как очереди, обеденные перерывы, минуты до открытия, минуты бездействия и молчания торговца) для достижения искомой двери. Я озяб и взмок мгновенно — представилось, что библиотека закрыта. Впрочем, тут же стало понятно, что мысль не сегодняшнего дня, и испуг мой обернулся шуткой.

С влажной спиной я слежу, как вычтываются из библиотекарей части фигур стеллажами и столами, затем совокуцляются в единое, как вдруг одна из девушек исчезает вовсе, а две другие, будто ведают мою точку зрения, замирают с изданием, листая. Представление это походит на графическую игру.

Привычно сутулюсь, но тотчас предполагаю, что здесь все должно протекать иначе — они многого не одобряют и не могут уподобляться тем, к кому попадают в зависимость вне этих стен, неопределенно пощипывая прилавок.

Я оценивающе меряю их, и это, сочетаясь с нераспрявленной спиной, рекомендует визитера как закомплексованного, преобразующего недуг в наглость.

Не смутясь отсутствием билета, Оля (ей подходит это имя?) штампует справку об отсутствии долга. Один — ноль!

Выхожу в коридор и тут же проникаю в недра «киоска» — что в нем? Среди кипы книг рассыпана и собрана бликами и тенями оконной рамы, решеток за окнами, ветвей и листьев, скользящих по стеклам, фигура киоскерши. Разброшюровывает тиражи. Закованная в одежды, она смотрит на меня повелительно и зло, желая с ходу навязать свои идеалы. Но я не верю в созданный ею мир. Я сотворю свой. Да, не сейчас. Не сразу. Годы. Тысячи картин. Они навязут мое мировоззрение миллионам. Я верю. У меня есть силы.

В коридоре — недавний должник библиотеки. Он — рассчитался. Читальный зал, кефир, жена-сокурсница, двадцать копеек, степень. Или: стройотряд, сауна, водка, каратэ, халтура на кладбище. Или: родственник, собственное мнение, биография. Или — все вместе и что-то еще. Или — вообще другое? А я?

Старается идти быстро, но не уступаю темпа и перего-

нюю девушку (маньяк) с сеткой. В ней: книги, вязание, апельсины.

Девушка (да как же так?!), другая — вдоль забора, границы стройки. Я — широким шагом, через ступеньки, по лестнице, ведущей к дверям одного из корпусов, — но в него ни к чему, — и — вниз. Из-за колонны возникает девушка с сеткой, и почти рядом мы следуем до какой-то сугубо служебной двери, в которой канет. Кто там: страстный кочегар? Объятия в научно-фантастическом свете манометров под пересечением труб и арматуры. Взгляд на аквариум с рыбками (зритель!), взгляд «туда», стон. Торопливое поглощение принесенного пайка и его, истонника, многообещающее: «Больше не приходи». Постучаться?

\* \* \*

Я навещал деканат раньше: не только в период учебы, а после, когда прекратил посещать факультет; интересовался, имею ли возможность возобновить занятия, отвечали — да, я удалялся. Когда я вновь посетил институт, то «да» произносила незнакомая девушка, экспозиция дипломных работ менялась, стены красились в другой цвет, дисциплины переезжали в новые аудитории.

— Что-то сегодня одни отчисленные, — обо мне и еще о ком-то, видимо о нем, — поворачиваюсь к блондину с красным лицом (должник библиотеки): что же с ним приключилось? Фамилия? Мнется, словно ему срок помочиться; привык прятаться от людей, напиваться и иногда, в особые дни, отличаться назойливостью. Вместе экзаменовались. На сочинении шептал все слышнее и разборчивее: «Луч света!» Я мотал головой и улыбался — забыл шпаргалки.

Блондин покашляется на холст, явно приглашая посмотреть: я заметил живопись при входе, как и все здесь, я лишь притворяюсь рассеянным. Да, это тот самый Озим. «Мой Узбекистан». Так что же, мы станем завидовать ему?

— Только осенью, — откладывает просьбу об академической справке девочка. Зачем мне такой документ? И, устало и величественно: — Этот товарищ мне два месяца надоедал.

Она печатает. Он мнется. Я выхожу.

В коридоре знакомство с дипломными. Не торопясь (роль!), изучаю работы, бормоча: «Дрянь, дрянь». Один холст мне вроде бы надо признать недурным, но я оцениваю лишь импульс, родивший его. И только.

У выхода (входа) — списки разнообразных должников, абитуриентов, студентов, отправляемых в совхоз, пионерлагерь и пр. Когда-то в них...

Я — на площадке. В руке зачетка. Что это, слезы?

\* \* \*

В фокусе сумка, опершаяся о ножку стола: «Я тоже не каменная!» — так, явно, восклицает, доказывая, имея, конечно, свои цели. Я понимаю ее сейчас, верю, открыв, — да ведь знал! — что и она спешит и нервничает, юлит, пресмыкается.

Не видно фигуры, и, поравнявшись с окном, опережая головой туловище, направляю лицо к бойнице, хотя, еще не отворив дверь, знал, что инспектор здесь — застыла с того времени, как я покинул приемную, и разморозится только теперь, когда загляну — ага! Смущена и, пожалуй, недовольна, только слегка, что даже странно близко к удовольствию — я пропал, чего-то не сообщив, может быть (мне страшно!) — не пообещав.

Незначительные слова и дальше — «Будет Стах!» Деталь! Столбенею. За стеклами, растрафаченными текстом, что-то творится. Там — невидимая с трубкой в руке, далее — провод и некто, а где-то уже зарождаются буквы: рябой грузчик с гематомой на виске, подменив ценник, торгует свинными сардельками; птице дали вольную, но она пока не улетает, а примостилась на дверце клетки, наклонив голову; девица не решила — идти к зубному врачу или провести время в кинотеатре, не зная, где может случиться встреча; старик — умирает, и все это сгущается и распадается, пульсирует, рокошет (что добавить?), вершится ради апогея цикла: «Будет Стах!»

Должностное лицо обижено — я отвлекся.

— Потребуется паспорт. — Она не договаривает. Когда? В чем сейчас дело? Тем временем рука протягивает аттестат. Когда же она изловчилась вскарабкаться на антресоля за папкой с моим делом? Ведь не сейчас. Неужели? А если предположить, что не добыл ни справки, ни зачетки? Если построено, то что это такое?

Выходит и исчезает в дверях одного из отсеков.

Что они все, приезжие? Работают ради поступления в вуз? Или после окончания?

— Распишитесь. — Я проследил приближение и то, как листки в руках вздрагивают вместе с грудями. Она — сексуальна. У нее — двойная жизнь. Ей это нравится. Первая сторона бытия, «инспекторская», оказывается (сладостная неожиданность, не ставшая привычкой) оплаченной в половой, потому как в ней происходит накопление для второй.

— Скажите, а можно мне получить официальную справку, что я у вас отучился? (У вас!) — Таращу взор.

— Если вы хотите академическую с перечнем зачетных дисциплин, то нужен запрос, и вообще это реальнее осенью, сейчас (говори, продолжай, но только искренне, и я услышу нечто, да, именно теперь, в ряду никчемных построений: я не такой безумец!) наверняка ничего не добьешься.

— Да, это было бы здорово — получить такой документ. Да. — Взгляд, чувствую, чересчур наивен — перегнул — улыбается. — А вот вы заметили насчет восстановления? — Поднята бровь. — Это осуществимо? — Бросаю в прорубь окна, замирая: обо что ударится фраза?

— Лучше всего обратитесь в тридцать пятый кабинет и побеседуйте с Миневичем лично. У вас прошло, — слова достигли плотной среды, — более трех лет со времени отчисления, но если вы являетесь работником министерства просвещения, то им, как правило, идут навстречу.

— Нет. Не являюсь. — Время утекает сквозь беспомощные пальцы. Их искалеченность — не причина бездействия, лишь повод для оправданий. «Сколько я мог бы сделать», — отчеркиваю я формальной чертой бесплодность каждого года. «Я должен», — мне еще хватает дыхания на пустомельство.

— Что же вы не обратились раньше? — Что толку объяснять (и как?), что я прилетал и парил над корпусом, загадывая: там? нет, там. Как объяснить мое нахождение в классе, когда сокурсники первый раз работали маслом, — до чего забавно это выглядело? Можно справедливо заметить, что тогда я бился в горячке в тисках незаменимого Ганса — да, это происходило в то время. Но я не...

\* \* \*

— Это не Миневич.

У меня вроде бы нет сомнений. Я прокрадся тихо, к тому же он, развалясь, сляпывил телефонную трубку, так что я возник внезапно и застал его врасплох. Неподготовленным жестом пытается поправить что-то в воздухе. Это оказывается ни к чему, если иметь в виду меня, но он ощущает наличие еще и другого. Мне бы следовало зайти раньше — понимаю, — тогда бы констатировал действие и все в аудиенции разыгралось бы точнее.

Беседуя, я не в состоянии уразуметь, существует ли путь к реабилитации, и мыслимая черта после моего вопроса: «Так я могу восстановиться?» — «Да» или «Нет» — не проявляется.

Некоторое время воспринимаю сидящего проректором, ради

чего соединяю два абсолютно несхожих лица в единое: больше растягивается и оплывает физиономия исполняющего обязанности в пользу Миневича, потом же ошибка в личностях пресекается, он же, настороженно встретившись глазами, молвит: Я — не Миневич.

Не видя лучшего выхода, решаю вести себя эгоистично и, нечто тараторя, удаляюсь, но тотчас разворачиваюсь, как обруч, сжимая вопросительный знак:

— Так я могу восстановиться?

— Нет.

\* \* \*

Когда город враждебен, я боюсь не добраться до дома, я боюсь, но город чинит препятствия, и я никак не могу добраться до своего дома.

Пожалуй, я вышел не туда, после сунулся не в ту подворотню и вышел не из предназначенной парадной на набережную. Булыжник и песок. Задницы плюющих в воду детей. «К всенощной!» — чуть не завопил я, сообразив, что слышимое — перезвон колоколов. Глаз заметался: подворотня и ворота деревянные, бесконечно раз крашенные, — настезь, вросшие в асфальт, — им, огнедышащим, заливали их; старуха, приклеенная вампиризмом к стеклу: платок и ... (чья-то картина?), как барельеф, лепка стенная (ее не должно быть!).

Меня часто одолевали странные сновидения. Собака. Пес погиб много веков назад. Во всем виноват я. Он понесся за мной, и его перерезало трамваем. Когда транспорт приближался, мне казалось, это еще не финал. Миг повис у вечности. Ной вроде бы вырвался из-под колес. Можно ли было что-то исправить? Его словно затянуло в омут. Он выскочил или нет? Я не смог сообразить. Я понял, что слышу вой. Я заткнул уши. Я помчался проходными дворами. Я стал задыхаться и смеялся бег на шаг. Я оказался у залива. Здесь мы купались с ним. Мы жгли (возьми себя в руки!) — я жег костры. Пес, что он представлял собой? Что он значил?

Я все помню. Людей. Дома. У меня было преимущество. Существовало два исхода. Он — там или — дома. В сумерках я появился из подворотни. Ной лежал между колес. Он — жив! Только не спеша, а то все испортишь! Его не увлекло под колеса! Ну, может быть, задело, толкнуло. Да, это уж точно, но не столь страшно. Я приближался. Контур пса меняется,

Я — обманут! Песком засыпанные останки. Выбилась шерсть. Вьется. Мысль — откопать. Или просто окликнуть. Реанимация. Трансплантация. Что я?

Последующие дни преобладал смех. Повествуя о смерти, я выпендривался. И вот те же ворота, та же перспектива, может быть, тот же день. Может быть, Ной рядом и сегодня ничего не случится.

\* \* \*

Брюки и кудри (я составляю тебя), этюдник, метафизически отяготивший плечо.

— Постойте, — начну я. — Постой. Я доверю тебе чью-то жизнь. Когда мать целовала его щеки, губки, ягодицы, подбрасывала, ловила, то же продельвал отец, и оба называли происходящее счастьем, то он, голенький, становился неожиданно задумчивым, и в глазах его маячило нечто, знание иного возраста, опыт зрелых лет, и родители, встретив мудрость, терялись, по инерции продолжая радость, но останавливались и созерцали его, размышляя: было ли у него что-то раньше? Трехлетний, он стоял на краю парапета и неотрывно следил за течением...

— О ком вы? — попытаешься ты вспомнить.

— Сейчас я не назову наверняка, но после, может быть, вспомню его точное имя.

Архитектура града еще просвечивает сквозь фигуру, но я уже ревную к размалеванным картонкам в фанерном коробе.

— Да, но зачем? — попытаешься ты защититься от странных воспоминаний.

— Только не говори, не произноси слов, молю тебя, я попробую напомнить, как в детстве (было это?) орал от отчаяния, горя и злости, вожделения, возможного и — утраты, утраты, — воздух хранил волнение и запах, глаза различали контур — она только что прошла, кажется, коснулась меня и, умилившись моей стряпне в песочнице, неуклюжим манипуляциям с железными формочками, призвала к иному. Юношей я заглядывался на египтянок, пил дешевое вино и пел с надрывом, стариком я мямлил: «Это еще не все, я еще встречу...»

— Это все нормально, — улыбается Ирина. Снисхождение и материнство, но по сути — другое: ее страшит скольжение по желобу — она видит, как тщетно цепляются конечности обреченных: милая, она хочет обрести силу...

— Но дай мне вспомнить утро с пузырями солнца сквозь тучи, когда стриж, стремясь, отсек проводом крыло и, упав на гравий, бился... И вечер, когда предметом своей страсти

я выбрал огрызок газетной страницы с фрагментом: стиснутые кулачки прижаты к маленьким грудям, узкие трусики, неаккуратный лист, на выброс, верхняя часть лица отсутствует, только губы в упреке кому-то, посягнувшему на беззащитность. Она сразу стала моей, я защищал ее от коварных преследователей и, израненный, молитвенно простался с ней, избавленной.

— Так это была... — не выдержишь ты, сжимая мою руку.

— Ну, потерпи еще: я привык бродить, казалось, без цели, как сам считал вначале, но как-то понял — цель есть, нечто, не оформляемое речью, из бесчисленных составляющих чего были угаданные — луч, возглас и таящееся — в листве, за поворотом, в окнах. Я тащился по раскаленной пустыне, там негде было укрыться от смертельного зноя, но, иссушенный и обезображенный ветрами и недугами, убедившись, что на планете для меня не существует ни клочка суши, проваливаясь в бездну, пробуренную водой в своей же массе, я немел, предчувствуя, и скоро убеждался, что за пеной в столбе брызг рождается радужный лик.

— Почему мы не побеседовали об этом раньше, — услышу я голос ушедшего Учителя и, после паузы, обниму тебя за плечи:

— Ты понимаешь, у меня нет ни одной картины маслом, но это, в сущности, не так: отсутствие их не абсолютное — они почти материализованы, хотя произнес и убедился: нет ни одной картины маслом.

— Но кто же ты? — резко воспрянешь ты (этюдики стукнется о колонну Казанского собора: Невский так же гудит — что можем мы? Старуха на мосту хищно исследует ворох голубиных перьев: где же мякоть?).

— Ни разу нельзя обойтись без... — очнется критик.

— Я — пятилетний мальчик со змеиной головой: мольба и страсть — согрей и полюби, дай припасть к своему сердцу, и я уйду, оставив в тебе свой яд, но не предаю имя. Не назову.

— Почему ты стал таким? Мне жалко...

— Когда каждый кусочек моего тела был предан пороку, когда я не искал разврата, а бежал его, когда я просто бродил по кладбищу, когда наступив на тень, я вспоминал, да, когда очертания случались похожими, когда любой эпизод... когда прозой и живописью становилось все видимое...

— Что же тогда? — спросишь ты, готовая слушать.

## Виктор Кривулин

\* \* \*

Поэт напишет о поэте.  
Художник представляет нам  
себя, в малиновом берете,  
распахнутого зеркалам.

От легкости, с какой он дышит,  
от грации, с какой парит,  
я съежился, я желт, я выжат,  
я отдал кровь — а он царит.

Тону в любующемся взгляде:  
я — это он, я — это свет,  
но резкий, падающий сзади,  
в затылок бьющий или вслед.

В лучах его второй природы  
я только тень, я только вход  
туда, где зеркало у входа,  
где женщина, смывая годы,

ладонь по зеркалу ведет.

### *Песочные часы*

То скученность, то скука — все тоска.  
Что в одиночестве, что в толпах — все едино!  
И если выпал звук — изменится ль картина  
не Мира даже — нашего мирка?

И если ты ушел, бог ведает в какую  
хотя бы сторону — не то чтобы страну, —  
кто вспомнит о тебе, так бережно тоскуя,  
как берег — по морскому дну.

Обитый пробкой Пруст мне вспомнился намедни,  
искатель эха в области пустот,  
последний рыцарь памяти последней —  
резиновый фонарь он опустил под лед.

Подумать, как черно и холодно, куда  
ни обратишь разбухнувшие очи!  
Чем движется песок в часах подводной ночи —  
одной ли тьмой? одним ли хрустом льда?

Что стоит человек, во прахе путешествий  
пересыпаемый сквозь горловину сна, —  
не горсточка ль песка, зачерпнутой со дна  
залива, обнажившегося в детстве?

Что стоит человек — течению времен  
едная струящаяся мера?  
Согрета ли в руках запаянная сфера,  
где памяти источник заключен?

И если так тепла — чьи пальцы согревали?  
чьих — мутный оттиск на стекле?  
Об этом помнил кто-то, по едва ли  
я вспомню — кто. И как бы ни назвали —  
всё именем чужим, всё в спину, всё вослед. . .

\* \* \*

Есть пешехода с тенью состязанье:  
то за спиной она, то вырвется вперед.  
Петляющей дороги поворот,  
и теплой пыли осязанье.

Так теплится любовь между двоих:  
один лишь тень, лишь тень у ног другого, —  
смешался с пылью полдня полевого,  
в траве пылающей затих.

Но медленно к закату наклонится  
полурасплавленное солнце у виска.  
Как темная прохладная река,  
тель, удлиняясь, шевелится.

Она течет за дальние холмы,  
коснувшись горизонта легким краем.  
И мы уже друг друга не узнаем, —  
неразделимы с наступленьем тьмы.

### *Синий мост*

где сиреневая мрела  
перевернутой дугою  
тень от Синего моста —  
там совсем уже другое  
состояние, и, стоя  
изумленно и смиренно,  
вижу новые места

не успеешь кончить фразу —  
тень от синего моста  
стала ржавой или рыжей.  
и такая духота  
все охватывает сразу,  
что за маревом не вижу  
дальше собственного глаза,

дальше синего моста

\* \* \*

Больничное прощанье второпях.  
Косящий снег. Выхватываю мельком:  
подвешенная на цепях,  
еще качается, качается скамейка.

Сестра моя, мне страшно повторять  
над пропастью твоей болезни,  
что нас касается живая благодать  
и ангельская боль небесной песни.

Слова ли, штампы ли — им тесно и бело,  
но горькая лекарственная сила  
в них действует. — Полегче ли? Прошло?  
— Чуть помолчи. . . Мне лучше. . . Отпустило.

Еще растерянность и мартовская смурь,  
еще живешь, не оживая, —  
но помнишь? — ласка... ласточка... лазурь —  
лоскутья поэтического рая,

где только стоит голову поднять —  
и от голубизны дыханье перехватит.  
Халат, распахнутый, как нотная тетрадь.  
— Откуда льется Бах? — Из форточки в палате.

### *Гобелены*

Иное слово, и цветные стекла,  
чужие розы витражей...  
На гобеленах временно поблекла  
гирлянда бледная длинноволосых фей.

Засох венки... Но были бы живыми —  
всё не жили бы здесь,  
где платьев синий пар в серо-зеленом дыме  
неразличим, уходит с ветром весь.

Музейных инструментов мусикии  
волноподобные тела  
звучали бы для нас, как мертвые куски  
когда-то цельного поющего стекла.

Как хорошо, что мир уходит в память,  
но возвращается во сне  
преображенным — с побелевшими губами  
и голосом, подобным тишине.

Как хорошо, как тихо и просторно  
частицей медленной волны  
существовать не здесь — но в море иллюзорном,  
каким, живые, мы окружены.

Когда фабричных труб горюют кипарисы,  
в зеленых лужицах вьются, —  
весь город облаков, разросшийся и низкий, —  
вот остров мой, и родина, и связь.

И связь моя чем призрачней, тем крепче.  
Чем протяженней — тем сильней.  
К тому клонится слух, что еле слышно шепчет, —  
к молчанию времен, каналов и камней.

К тому клонится дух, чьи выцветшие нити  
связуют паутиной голубой  
и трепет бабочки и механизм событий,  
войну и лютию, ветер и гобой.

Так бесконечно жизнь подобна коридору,  
где шторы темные шпалер  
как бы скрывают Мир, необходимый взору...  
Да что за окнами! Простенок ли? Барьер?

Лишь приблизительные бледные созданья,  
колеблемые воздухом своим,  
по стенам движутся — лишь мука ожиданья  
разлуку с нами скрашивает им.

Так бесконечно жизнь подобна перемене  
застывших туч или холмов,  
длинноволосых фей, упавших на колени  
над кубиками черствыми домов...

Так хорошо, что радость узнаванья  
тоску утраты оживит,  
что невозвратный свет любви и любованья  
когда не существует — предстоит.

### *Рауль Дюфи. Праздник Моцарта в 1929 году*

На юге Франции — не здесь, но где пюпитры  
толпятся стайкой легконогой  
на акварели,  
где праздник Моцарта, разрозненный, безвидный,  
и цвет, разбрызганный без цели,  
и сверк бинокля...

И не сейчас — но в довоенном равновесье,  
между Версалем и Венсеном,  
раскрыты ноты

для новой музыки, для похоронной вести,  
для парусного поворота  
страницы, сцены...

Но и не там и не тогда — спустя полвека  
удешевленного «Скира» перелистаешь:  
смотри-ка! — вот он,  
рояль, грохочущий, как черная телега,  
рояль в углу — и я за поворотом  
стены — и стая

листочков, усеянных хвостатыми значками...  
Лист неба, разграфленный телеграфом.  
След самолета.  
И запись нотная приподнята над нами —  
но перечеркнута. И творчество — работа  
в саду истории кровавом.

### Летописец

От сотворенья мира скудных лет  
шесть тысяч с хвостиком. И так, хвостато время,  
Как пес незримый ходит между всеми.  
Шесть тысяч лет, как дьяволово семя  
вошло тысячелистником на свет.

И, наблюдая древнюю игру  
малейшего, худого язычка  
чадающей плоски — с тьмою, чьи войска  
пришли со всех сторон, свалились с потолка,  
прокрались тенью к белому перу,

запишет летописец в этот год,  
обильный ведьмами, пожарами и мором,  
желанное пророчество о скором  
конце Вселенной. Трижды крикнет ворон.  
Запишет: «господн...» И, счастливый, умрет.

Шесть тысяч кирпичей связав таким раствором,  
что (крыса времени, творение ничье,  
источит до крови нещерное зубье,  
кромсая стены...) инобытие  
примет глина, ставшая собором,

где в основанье — восковой старик,  
истаявший, как свечка, в добром деле.  
Как свечка, утром видимая еле,  
как бы внимательно на пламя ни смотрели  
глаза, каким рассвет молочный дым дарит.

### Утро петербургской барыни

*Гипотетическое описание картона с эскизом  
к неосуществленному жанровому полотну  
художника Федотова*

Слава Кесарю! слава и господу в горних!  
Барабанное утро. К заутрене колокол. Мышка в углу.  
Печь остыла. Пришел истопник. Выгребает золу.  
Возле каждых ворот возвышается дворник,  
стоя спит, опершись на метлу.

Власть устойчиво-крепкая, в позе Паллады,  
ей опорой копьё, на груди ее — знак номерной.  
Но в полярных Афинах под великопостной весной  
ломит кости. Глядят из кивота распятый.  
Занимается в топке обдерыш берестяной.

«Богородице-дево...» — начнет. И запнется. И девку сенную  
кличет (ах ты, какая досада, нейдет на язык  
божье слово): Палашка! Потоками пяток босых  
затопляет людскую, переднюю... (Так я тоскую  
по утрам — ты бы знала! — пока не затих

гул таинственный в сердце, остаток ночного озноба.)  
Человек состоит из предчувствий и смертных глубин —  
то ли Гоголь об этом писал? То ли сказывал старец один,  
возвратясь на покой от господнего гроба,  
голубинный свой век ореолом венчая златым...

Одеваться, Палашка! В соборе, поди, уже служат.  
Благовещенье нынче... за шторами льдины шуршат.  
Сон я видела, сон треугольный: ограда, родительский сад —  
но глубоко внизу, будто в яме, — а рвется наружу.  
Как достать бы его? Как на землю поставить назад?

Я, бессильная, в белом, стою на коленях.  
Наклоняюсь над ямой и слышу: из глубины  
«Марья! Марья!» — зовут, и деревья уже не видны.  
То ли мокрая глина внизу, то ли вроде сапожного клея  
что-то вязкое... дышит... я в ужасе. Погружены

руки словно бы в тесто — и тесто вспухает.  
В утесненне душевном проснулась. Лежу-то я где?  
На булыжнике улочном! Голая. В холоде и срамоте.  
Надо мной наклоняется дворник, железной метлой помавает,  
«Мусор, барыня», — плачет. И слезы в его бороде.

«Мусор, мусор...» — бормочет, меня, как бумажку, сметая.  
Шелестя, просыпаюсь — неужто я смята в комок?  
И зачем это снится? И холод, бегущий от ног,  
отчего-то врывается в сердце ордою Мамаю,  
морем валенок, бурок, сапог...

Как там душно — внутри меня — как надышали!  
Пелагея! Смотрю на тебя — и темно:  
ты по-русски «морская»... что имя? Звучанье одно,  
а смотрю на тебя — в океанские страшные дали  
погружаюсь, тону, опускаюсь на дно...

### *Натюрморт с головкой чеснока*

Стены увешаны связками. Смотрит сушеный чеснок  
с мудростью старческой. Белым шуршит облаченьем, —  
словно в собрание архонтов судилище над книгочем:  
шелест на свитках значков с потаенным значеньем,  
стрекот псымен насекомых, и кашель, и шарканье ног.  
Тихие белые овощи зал заполняют собой.  
Как шелестят их блокноты и губы слегка шелушатся...  
В белом стою перед ними — но как бы с толпою смешаться!  
Юркнуть за чью-нибудь спину... Ведь нету ни шанса,  
что оправдаюсь, не лягу на стол натюрморта слепой!

Итак, постановка.

Абсолютную форму кувшну  
гарантирует гипс. Черствый хлеб,  
изогнув глянцевитую спину,  
бельмо чеснока, бельевая веревка —  
сообща составляют картину  
отрешенного мира. Но слеп  
каждый, кто прикасается взглядом  
к холстяному окну.  
Страшен суд над вещами,  
творимый художником-Садом!

Тайно, из-за спины загляну;  
он пишет любви — завещанье:  
«ты картонными кушами и овощами  
воевала с распадом...»

Но отвернемся, читатель мой. Ветер и шепот сухой.  
В связках сушеный чеснок изъясняется эллинской речью.  
В белом стою перед ними... и что им? за что им отвечу?  
Да, я прочел и я прожил непрочную чернь человеческую  
и к серебристой легенде склонился, словно бы к пене морской.  
Шепот по залу я слышу, но это не старость —  
так шелестит, исчезая из лодки-ладони моей,  
пена давно пересохших, ушедших под землю морей...  
Мраморным облачком пара, блуждающим островом Парос  
дух натюрморта скользит — оживает и движется парус.  
Там не твоя ли спина, убегающий смерти Орфей?

И не оглянуться!

Но и все, кто касался когда-то  
бутафорского хлеба, кто пил  
пустоту, что кувшином объята, —  
все, как черные губы, сомкнутся,  
в молчанье художника-брата,  
недаром он так зачернил  
дальний угол стола.  
Жизнь отходит назад  
дальше, чем это можно представить!  
Но одежда Орфея бела,  
как чеснок. Шелестя и листая  
(между страницами памяти  
черствые бабочки спят),  
шелестя и листая,  
на судей он бельмы оставит,  
свой невидящий взгляд...

# Борис Куприянов

## Ночь

*Посвящается жене*

Под очарованный твой кров  
Замедлил я моим возвратом.

*Е. А. Баратынский*

1

Все известнее озеро в кроне тугой;  
Горизонт назиданья, прощальный последок —  
Разворот головы на сферический слой  
Облаков, островов, где прославленный предок,

Намывающий ночь в теменной фиолет,  
С золотою осыпкой в прореженный холод,  
В образ бросит свой взор, — и, как ткань на просвет,  
Оссияет радость в воротах и за ворот.

Начинается выход, касаньем грозясь,  
Истлевается пряная цвель на облатке;  
Клеевая бумажная слизь или связь, —  
Голод свода, свежующий взмах; и на грядке

Израстание звезд, колготящих в бутон,  
Испускающих в щелки окна и наката,  
То ли свет, то ли звук, то ли взгляд, то ли стон...  
Все смолчавшее слито и смято.

И, просясь, по единому слогу, в силки,  
Каждый корень, наизворот павший,  
Опетляет — и в подпол, в сырые лески  
Плод упрячет, всю землю впитавший.

Пытан в привязях; оцет, распушка, стреха!  
Отпустить восвоися от мирной, от кровной  
Ноздревой теплоты. Раздувает меха  
Не ковач, а толмач; и волнует неровной

Речью тою, наслушанной в ощупи лиц;  
Повеленьем и вслух обернувшимся служкой!  
И в густом всеязычии сел и столиц,  
С медной денежкой, в ночь с погремушкой...

Долю в долю! судьбу в удержания час,  
В настоящий шаг обнищанья...  
Плоть поется! и кто-то расслушает нас,  
Достоверно сознав до прощанья.

Слышишь, общая оползнь — забота на мя  
Присыхает, как горлом, норою,  
И ведет изъяслять, вечной жаждой томя,  
Из колодца смертельной игрою.

В лет по воздуху вольному душу держа,  
Странно строя, но с полною верой,  
Наша память, как в поле небесном межа  
Млечной чести серебряно-серой.

2

Досыта в тону наято седьмин,  
Захребетевших ветвей и плетений.  
Небо и небыль, один на один...  
Лес повторивших себя средостений,  
Может быть, высажен в славе такой,  
Что недостойн признать. За строкой

Проще легчает. Во множество «за» —  
Больше не сеется семя страданья  
Литературного. Тушка-слеза  
Не зависает, и в миг расставанья  
Не прожигается кожа лица  
Именем вещи. Стило из свинца

Водит и ведает: смысл и нанес!  
Место свидания переносимо.  
И назначается часто всерьез  
Туча, плывущая мимо,  
Невозвратимым путем торжества,  
Царским подарком признанья;

И проступают в удел и в права  
Знаки владенья. Дознанья  
Сам судия, полумесяц-сырец,  
Препровождающий радость порыва,  
Строго снимает! И делу венец —  
Гость неожиданный. Сызнова шива

Не образуется. В двух толчеях  
Больше не мглы мимолетия в смену,  
Но окружения жизни в очах,  
В мелкий цветочек, звездащий колено:  
С лету, со стрекоту — пляс кузнеца;  
Искр изныванье, зола и пыльца...

Что же, огни на горе и в саду —  
Это немало для каждого вместе  
С тем соглядатаем, что на виду  
Ночью и днем; а в заквашенном тесте...  
Зорю румяную прочит рука,  
Тяжко смлная крутые бока.

Должно засказывать близость и связь,  
Переводиться повтором, и даже —  
Слыть краснобаем, над слитком склоняясь;  
И, оставаясь, питаюсь на страже,  
Бросом бодриться, остатком для тех,  
Кто восторгает заботой и болью

Все полюбления! Слабость и грех  
Взяв из себя и возвышенной ролью  
Спрятав глаза, на рассыпанном дне...  
Мчать, волочиться, срываться во сне;  
Падать на теплые локти весны!  
В месте свидания мы сведены

Местом и временем. Время и речь —  
Преодоленья густого простоя.  
О, ничего не держайте сберечь,  
Кроме как самое слово простое,  
А нахождение усилья молвы —  
Крепость веков; прирастанье листвы

Снегом, дождем, прикипевшей грозой,  
Беличьим шумом и птичьим испугом,

Светом зеленым, огнем с бирюзой —  
Все к одному и в единстве друг с другом,  
Не отчуждаясь ни в чем из добра,  
Нам любоваться любовью пора.

Разумом знаю, в рожденье рожден,  
Куплен ценою и клетью не скрытен,  
Жаждал женою, дремал с полуден  
И в постижении жил ненасытен;  
Лязгал зубами, оступ и устав...  
Вот водопой в царскосельских верстах!

Кроме как омут не зрю, отразясь,  
А глубиной недостало заняться.  
Пью и качаюсь, стенаю виясь;  
Не измениться, чтоб с небом обняться...  
Длань завожу до усердия глаз,  
Голос держу, сознавая рассказ.

Вся от ногтей по представленным дням,  
Словно строительный возглас, вечерит, —  
Дорого бродит, а в ночь по огням,  
По отцветаниям удостоверит;  
Духом дыша из-под крыш и камней,  
Жизнь прошивается светом сильней,

Чем по себе остается самой;  
Ридится, деет полдненья и траты;  
Но за всеобщей звездой световой  
Распространенья, разъятья, раскаты —  
То, что бывает, и то, что пройдет:  
Лед и отдуше, жаровня и мед.

В ночи к исчисленным, — и без числа,  
На подпадении слышащим чисто, —  
Всем, кто сидит и стоит у стола,  
Место и время, а местность гориста,  
Роцца ветвиста, речиста река...  
Ночь не проходит, яснее слегка.

В очередь кончилась мгла на юру.  
Холод сверканья захватан белесым  
Слом монотонным. В прохладном пару  
Каменотес, проследяв за колоссом,

Сослепу, спрятав затылок в крыла,  
Чертит кривую проходку дыханья,  
Еле возможным ударом стебла —  
Посоха холода в землю светанья.

Значит ли? Тонкая поступи грань  
В рань предрассветную больше, чем значит;  
Или опять возложившие длашь  
Прообернутся, простынут, проплачут —

Год напролет, набивающий шаг,  
Только за тем, чтобы тешиться тенью!  
На иноходь понадеясь за так,  
На непролазном стремленьи к хотенью.

Смена до света огульных вершин  
Чтит шевеленья в губах сердобольных.  
Даже! . . и только тогда . . . порошни  
Пороха восхода течений продольных.

В кружеве жадных зарниц на цветах,  
Ласки оскала в промятости взгляда;  
И потепления тьмы на пятах —  
Общее отчее чувство наряда

Снизанной нити живого ковра  
В подразделеньях челночных находок:  
Травли, печати, зарезки, тавра —  
Всех заселений, окраин, слободок!

Окон — икон в набухающий свет,  
По инородству протолкнутой крови!  
В порах сетчатых, рассветных помет;  
В духе и в доме, в молчанье и в слове  
Важно забыть о привязанных днях,  
Тем осторожней исправить виденье  
Лиц, надзирающих солнечный стяг,  
Вдавшихся в смысл и состав повеленья.

Чаще, чем грезится, встреча и лик  
Так высоки и в таком полновластьи,  
Что невозможно, чтоб взгляд не проник,  
Страхи минуя, сомненья и страсти,

## Певец

Певец задремал, и цевница пристыла.  
Заснула земля, как младая могила.  
Вся свежесть, вся аура, вся пестрота  
Висит над плитой, как вторая плита.

Задумался странник, зазнался отшельник. . .  
Глядят друг на друга: Шаляпин и «Мельник».  
Персона и самость; шинель и швея.  
О, бедная, страшная скупость моя.

Заплачет чернильница — ночь Украины!  
Цевница сольется. . . Спроси у долины:  
«Зачем ты щедра, а писатель — глоток,  
Как сорванный с теплого древа квиток?»

Да в том-то, наверное, все и связалось,  
Что нету вакансий писать, а писалось  
В руке, заговорной чьим-то жезлом,  
Тому, кто умел обращаться с крылом.

## Владимир Кучерявкин

### *В саду*

Да, это я здесь, в саду,  
Где женщины на скамейках  
Похожи на постаревших сирен  
С тяжелыми головами,  
Где мужчины, как темные птицы, проходят в траве,  
И дети ровным светом горят, и в пламени этом  
Слышится гул столетий.  
Все говорят негромко, знакомо звучат голоса,  
И будто бы все это — я.  
Ворона чернеет в ветвях, и она беспредельна,  
Как и эта игра, продолжение смерти, твой голос,  
Потерявшийся в тканях моей болезни.  
Когда бы мы были мертвы, пробирался во тьме  
И ощущали лишь то, что мертво!  
Но утро медленно сходит сюда,  
Где под ногами влажная бродит земля,  
Всплывает трава из глубин потрясенных семян,  
И мы ожидаем своей череды.  
Сад проходит сквозь нас,  
Тихими лапами пробуя наши сердца,  
И больно цветом мы, про все позабыв,  
Что сейчас перед нами.

### *Осеннее возникновение матери*

1

Словно статуи летят в рамках бледных картин,  
Белые и прекрасные.  
Всматриваясь, узнаешь отца и мать,  
Они здесь, они летят рядом, о да, тихие и прекрасные.  
Я иду по земле, осень, холодно,  
Слякоть, похоже, проникает сквозь мокрую кожу ботинок,  
И лишь деревья напоминают о том,  
Что рядом они, отец и мать, здесь и всегда.

О чем-то шепчутся двое на скамейке,  
Падает лист, парус, под которым мы отправляемся  
в океан зимы,

И ты присмирела — слово «завтра»  
Рождает агонию тихую взгляда,  
Так всегда с тех пор, как горит факел человеческого тела.  
Они то приближаются, протягивая матовые руки,  
То отлетают, как клубы дыма, а ты,  
Ты хочешь лишь одного: смежить глаза  
И лица не отрывать от плеча моего.

2

Сегодня больше не будет витать над сознанием  
Сгоранная дух беспокойный. . .  
Черное тело пешехода вспыхнуло в подворотне,  
Большие глаза звона плывут от угасающей башни  
в темных водах деревьев.  
Зеркало, настольная лампа и шкаф, улыбайся, как похоть  
зимой, —

Все растворяется в серых волнах дремы.  
Приляг — теперь уходим в пустыню неврастения,  
Монотонным танцем рук провожая улетающий алкоголь.  
Хоть глоток этих деревьев, чье шуршание так прохладно!  
Напиток губ твоих горяч и тяжел.

3

Неподвижно тело твое, едва различимо дыхание,  
Но слышно отчетливо дыхание звезд —  
Мерной поступью они идут, пронося в небе наши судьбы.  
Осень только что простилась с нами, теперь помни,  
Под барабаны смеха надвигается белое лицо зимы,  
Осень простилась с нами, теперь помни,  
Голубиным крылом тебя накрывает холод.  
Тонкими пальцами слепи нам под вечер дочь,  
Мы петь ее станем, осторожно ведя голоса  
в лабиринтах любви,  
Мы наденем старые маски и, уходя, за собой развернем  
Бесконечные волны безмолвия — так отмечается праздник  
времени!

И дитя, высоко взвивая плач,  
Распустится, как далекая воля, как небо, оголенное ветром  
весенним, —

Рождение, небо и воля. . .  
Что останется там, в коконе протяженности,  
Ветер, ветер запишет нас на своих покровах.

Стекло рассвета опускается, дробится, и осколки его  
Облекают тающее сознание. Так было как-то на горе,  
Давно упавшей в книги, — и губы мягкие поют моим губам  
Старую песнь, знакомую песнь.

Так долго длится утро.

Так долго длится любовь.

Протяжный крик утра висит над просыпающимся домом,  
Как сталь; и вот солнце, золотой кувшин, вливает в нас  
Первые капли. . .

Когда ты погружаешь глаза свои в страх,  
Я знаю: боги несовершенны, все, кроме тебя.  
Мы все хотим жить, преступные, мясо,  
И есть еще великолепный, как парус, день,  
Уходящий холмами туда, где не смолкает смех.

Утром кожа сна сходит с трудом  
И, будто в огне, сворачивается в слова:

Тесные сумерки. . .

Выгляни в окно — там, как всегда,  
Над крышей кружит сумасшедшая птица.

Сидя на крыльце, вижу,

Как медленно уходит облако дня

И ночь восходит с востока, играя,

Как черное солнце в записках моего друга.

Он приходит в сумерках, медленно поднимаются

Его губы, ведя череду слов:

«Товарищи по плачу, взлетающему к небу белой птицей,

Танцоры, уставшие убежать от мучительной музыки сфер,

Когда черные ладони ночи опустятся нам на плечи,

Я ввуху вас сюда, в пещеру памяти моей и песни,

Где качаются законы, старые, как матери,

Мы ляжем на пол, сладко пахнувший телом,

И станем слушать, как неторопливо приходит и уходит

жизнь».

Лишь на рассвете встает передо мной, слушающим,

Тобожественная стена сна.

## Сергей Магид

\* \* \*

Там спит вода и заморозок бьет  
в больные корни вялую траву,  
там иней ткет морозную канву  
и воздух белый по утрам поет.

Там жгут костры и вскапывают сад,  
и комнаты протапливают впрок,  
и никогда о той не говорят,  
что послезавтра перейдет порог.

Там старый дом на языке земли,  
протянутом к болотному ручью,  
где воду пьют, теперь уже ничью,  
стволы косые в солнечной пыли.

Там зреет жизнь, что будет после нас,  
там детство прилегло на чердаке  
и вспоминает тот короткий час,  
когда судьбу я грел в своей руке.

И тихо шепчет белая струя  
стекающих на голову небес,  
что там, где небо, и вот этот лес,  
и старый дом, — там родина моя.

\* \* \*

День, как котенок, лакает из луж молоко  
белого неба, налитого в блюдце двора,  
чья-то рука постучалась и в наше окно  
звоном карнизов, капелью, гремящей с утра.

Окна раскроем и на паутинки лучей  
вывесим душу проветриться и посвежить,  
грохотом льдин, перекличкой отважных грачей  
спишем в утиль зазевавшуюся смерть.

Пеною света отмоем обиды зны,  
страх соскоблим и надеждою лица протрем,  
и на секунду поверим, что именно мы  
чудом отмечены и никогда не умрем.

\* \* \*

Ах этот ветер — напоминанье  
о непрерывно дпящемся чуде  
жить и чувствовать ветер.

У вечерней воды — вечное поминанье  
всех, кто оставил в людях  
ветер напоминанья  
о мужестве жить на свете.

На выцветший за день город тень от ветра  
поминанье вышептывается и длится,  
пока мы вращаем чудо бесконечно круглого  
года.

Земли крутобокая тыква  
утром легка желтоватым звоном.  
Ветер с моря,  
и солнца постепенные спицы  
вяжут белое оперенье восхода.

\* \* \*

Тяжелый дождь шумит над миром,  
жалуется перегной,  
мох плачет,  
волосы обвисли у берез,  
но в срез оврага вбитый лес  
молчаньем давится,  
и значит,  
воображением в ударе  
и предугадываньем линий  
вот этот съехавший откос  
в скользящей падающей глине  
твой слух одарит.

И всех назначенных минут  
остановившиеся взгляды  
тебя, отставшего, найдут,  
но не в лесу уже, а рядом  
с тем самым садом,  
где время — невесомый пух,  
и рвется жизнь, как паутина,  
где ты забудешь плоть и дух,  
жену и сына  
и станешь мертв наполовину,  
чтоб слово выговорить вслух.

\* \* \*

Но ручей посентябрел,  
и вода прочернула до дна,  
за запрудой проросшая мыльными зернами пены,  
оставляя субботе  
травянистые стены,  
уходя сквозь осины, где кружит уже желтизна,  
где не знает смертей  
журавлиная жизнь в постоянстве наивного леса,  
где сосна потемневшей струною отвеса  
мерит угол паденья  
в иную эпоху ветвей,  
и острее и все обнаженнее их кривизна.

Ну а ты,  
ну а ты...  
Смеется на хуторе финском кустарник,  
прогалины детства встречают тебя ивняком,  
и на срыве к оврагу  
случайный неласковый дом  
криво вставлен в промокший подрамник  
на картине с дождем.

И какая судьба,  
и когда же и как обернется,  
и подхватит тебя, и возьмет тебя прочь, и уймет  
желтизну и кружение,  
и медленновязущий взлет  
паутины какой-то белесой,  
и пенье  
ливневых остролетящих смывков,



## Александр Миронов

---

\* \* \*

текут песочные мотивы  
и циклопичные следы  
где бледный конь вершит правление  
где насекомых слышно пенье  
сюда дитя крадется тенью  
коснуться ножкою воды.

### После чая

Вечерние часы перед столом.

А. Ахматова

Слегка сквозит. Невидимым плащом  
Покрывают стены. Разговор нескладен.  
Роман хозяйке дома возвращен,  
Слова перевелись, а чай прохладен.

Пора идти. Пора глядеть в окно,  
А то — не ровен час — издохнут кони  
Иль вспомнится вчерашнее кино  
О вырезанном синем эмбрионе.

И вот уже слетают на порог  
Лоскутья снега, кожи или пены.  
Под простынею дышит влажный мох,  
И три недели вянут цикламены.

\* \* \*

Когда падали березы,  
тело Демона устлав, —  
капали злодея слезы  
в растворенные уста.

Ты ли Демон? Ты ли лебедь,  
синий сказ германских вод,  
расплескав свой сладкий лепет,  
водишь тихий хоровод. . .

Пал у черных ног Кавказа,  
дух отдав слепым ветрам,  
пал — на первой ноте сказа  
в щебет прибрежных трав.

Только горы реют тронно  
над художника судьбой,  
только гаснут ночью тропы,  
что ведут на водопой.

### Путешествие

Душа моя, что спишь? Воспрянь, оденься,  
привыкни к перевозданному труду  
творенья слов. . . О, лепет без младенства!  
Дурь без вина. Раголе. . . Мы в аду

зеленых смыслов и созревшей скверны,  
где флора нам являет чудеса.  
Ваш труп, Ти Эс, уже созрел, наверно,  
над Темзой, где так страшно воскресать?

А впрочем, избежим пустых вопросов —  
перо скрипит, и слов невпроворот. . .  
Ваш меч, Бретон, уже расцвел, как посох,  
в стране, где сам себя не узнает?

Там, наверху, все воедино слито,  
а здесь вся чертовщина — заодно.  
. . . Жан, студиозус Ареопакита,  
нам крутит запоздалое кино:

все об одном — как отыскать подругу,  
как стать поэтом, голубем, цветком. . .  
Осточертело. Я летел по кругу,  
в то время как Вергилий шел пешком,

в то время, когда ткались договоры,  
совсем как приговоры — ни о Ком —

двух демиургов европейской флоры,  
писателей с гремучим языком,

двух филинов постевропейской ночи,  
в то время как божественно цвела  
в кругу своих последних одиночеств  
воспитанница Царского Села.

Всё вспоминала тети тени, даты —  
в плюще, в плаще, в кровавом домино...  
Иные разобратся будут рады,  
кто, где да в чем, а впрочем, все равно.

Parole... Мы пьяны. Persona Grata  
зовет меня. Я думаю, уволь,  
и намекаю: «Как-то поздновато...  
который час?» Он отвечает: «Ноль».

\* \* \*

Душе постыло бабочкой летать,  
Ей дом-гербарий писчий уготован.  
Пора смириться смертной плотью слова —  
Кормить ее, голубить, одевать.

Под пологом беспамятства глухим  
И в каталоге слухового зренья  
Игла ей — ласка, пища ей — сравненье  
Белесой ночи с саваном цветным.

Кто смертию помечен, как пыльцой,  
Кто слухом осязал сквозную млечность,  
Тот зрением, помноженным на вечность,  
Восхитит ее страшное лицо.

## Владимир Нестеровский

### Июль

Листьев крепкие ладошки  
На ручищах статных кленов.  
В душевной кроне шорох мошки —  
Как шептание влюбленных.

То июль, листвою могучий,  
То июль, детина ражий.  
Ключ пробился из-под кручи  
И бежит струей в овражек.

Подожди за далью, август,  
Дай нам летом насладиться.  
Ночь не дремлет, словно Аргус,  
И светла небес водица.

А плоды, конечно, будут,  
Будут дыни и арбузы.  
Лягут, сочные, по пуду  
В погреба тяжелым грузом.

О июль, в соку мужчина,  
Ты у нас на сельской службе.  
Есть, июль, на то причина  
Быть с тобой сегодня в дружбе.

Я с тобой имею сходство:  
Ты середина, средний возраст.  
Мы сейчас без сумасбродства,  
Глубоко вдыхаем воздух.

А плоды, — они созреют;  
Мы не все испили соки.  
Видим небо чистым зреньем,  
Вдохновляемся высоким,

Предстоят еще и встречи,  
Мы не раз восславим женщин.  
Сорок лет — еще не вечер.  
Пламень в сердце не уменьшен.

### Элегия

Сегодня хочу говорить по-другому.  
Устал я от соли, устал я от сути.  
Есть тайна старенья — и вы мне не судьи.  
Сегодня хочу говорить по-другому.

Залетных видений я рифмой не трогал,  
Не трогал вас, годы, дела и соседи.  
Реалии мерзли, как пес за порогом,  
Стцхи гроыхали в железном корсете.

Сегодня хочу говорить по-другому:  
Ведь мужество ямбов нервишки не лечит.  
Сегодня хочу говорить по-другому:  
Мне пушкинский возраст склонился на плечи.

Линяют виски, истончается темя.  
Я к вам, деревенские срубы, взываю.  
Дубасит по стану сутулому время  
И в теплую землю вбивает, как сваю.

Есть зори и росы, а песни — довесок.  
Зачем себя высшими целями мучить?  
Найду для души хуторок, перелесок  
И юную деву с улыбкой тягучей.

Я стану, как в детстве, угрюм и неловок,  
Опять подружусь с догнивающим садом.  
Увижу процессию божьих коровок  
И буду донть умиленным взглядом.

У черной воды одолжусь обручальным  
Кольцом — и замру. Это время настало.  
Пейзаж и вечерник, и путник случайный,  
Я стану надежным для вас пьедесталом.

### Нуль

О чем философствуешь, НУЛЬ?  
О самозабвенье провалов?  
Об алчности интервалов?  
О братстве пробони и нуль?  
О чем философствуешь, НУЛЬ?

Мы все на земле короли,  
Хватает грошовых амбиций.  
Лишь стоит забыться — нули  
Увяжутся за единицей.

Лучи пожирают свечу,  
Полжизни взвалив на закорки.  
О НУЛЬ! — из тебя я торчу,  
Как суслик пугливый из норки.

О НУЛЬ! — добрячок до поры,  
Просвет, если сложишь ладошки.  
В тебе все бывлые миры  
Сидят, как матрешка в матрешке.

О НУЛЬ! — смертоносный овал,  
Мне тайну открывший по-свойски.  
Я знаю: убьют наповал —  
Уйду сквозь прорезу авоськи.

С отчаянья жизнь не пролей,  
Свечу не задуй ненароком.  
Глазеет зрачками нулей  
Всевидающей Вечности ОкО.

### Северный пейзаж

Сегодня лета нет, не знаю почему.  
Дожди и стынь, и лица цвета серы.  
Я не мечтал об отдыхе в Крыму,  
Пускай о том мечтают пионеры.

«Всему причиной штучки НЛО», —  
Сказал вчера и загрустил уфолог.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> У ф о л о г — человек, самодеятельно изучающий неопознанные летающие объекты.

Он поврежден был явно головой,  
Он все смотрел на неба серый полог.

Он обвинял пришельцев в тяжком зле,  
Бездушных карлов с длинными ушами.  
Они меняют климат на земле  
И незаметно страхи нам внушают.

Но я на лето не питал надежд  
В том чудном крае, где зимуют раки.  
Я не привык к прогулкам без одежд, —  
Да только, жаль, не созревают злаки.

Мне не до развлечений: свой досуг  
Я трачу на стихи. Я сочиняю, правлю.  
Я сам останусь здесь, а на беспечный юг  
За солнышком любимую отправлю.

Так даже проще: не менять настрой,  
Прожить весь год без всякой перестройки.  
Пришпорь воображенье — и герой  
Помчится, словно Чичиков на тройке,

Какая прелесть в близине ночей, —  
Никто не отличает дня от ночи.  
Такой простор для пламенных речей, —  
Простор для вдохновения, короче.

Мне по нутру бессолнечный режим,  
Люблю в природе сдержанность и строгость.  
И я несусь в неизвестность, одержим,  
Над пропастью, и не срываюсь в пропасть.

Мне жалко их, экватора детей.  
И что б я делать стал, попав на тропик!  
Я б почернел от горя до костей,  
Я б высох, как лишенный крови клопик.

Жара мгновенно размягчает мозг,  
Ты, как кисель, течешь на грязном пляже.  
Такой там слышен беспардонный визг,  
Что ненависть обуревает даже,

А здесь прекрасны комары и хмарь,  
Разлив травы и омут Левитана.  
И ветер голосит, как пономарь,  
Вокруг вагонов полевого стана.

Покой и тишь над пасмурным жнивьем,  
И зябко море сдержанного света.  
Мы в это лето вечность проживем,  
Мы укрепимся духом в это лето,

### Подсолнух

*Вик. Антонову*

Подсолнух блистал, краснорожий,  
На грядке в венце золотом.  
На древнего бога похожий,  
Щептал он о чем-то святом.

Он был, как и я, желторотый.  
На темени — отблеск зари.  
Такие же оспинки-соты  
И семечек сизых угри.

Он был постоянно веселым,  
Плясал на мясистой ноге.  
И лик поворачивал к солнцу —  
Вертел дотемна по дуге.

На шее пушистой, шершавой,  
Похожие на допухи,  
Наждачные листья шуршали,  
Как «Слова о полку» стихи.

Цветок живописный, альбомный,  
Он югу вполне отвечал.  
Взлелеянный солнцем любовно,  
Он солнцем служил по ночам.

На жаркого лета закате  
Он сбросил поблекший венец,  
Спиною склонился покатою  
И благостный принял конец.

Почил головою на запад.  
А жил головой на восток.  
Струил одуряющий запах  
На службе сгоревший цветок.

До жатвы на грядке дневала,  
Пожух он и высох, как гриб.  
Залетные птицы клевали  
Набухшие солнцем угри.

Пошел его стебель на прясло,  
Хоть был он в искусстве мастит.  
Но рыжим, но солнечным маслом  
Пир осени он умастил.

На почве тщедушной, подзольной  
Еще не случалось чудес.  
Лишь солнца могучий подсолнух  
Не меркнет на грядке небес.

### *Отключая сознание*

Чудодействие русалочьих рук.  
Затуханье влюбленного взора.  
Отхожу. Убывающий звук —  
Убывающий звук разговора.

Где-то там, где-то там, на краю  
Моего бытия, в отдалении  
Кто-то тянет волынку свою,  
Не по щучьему ходит велению.

В затемненный причудливый грот  
Уплывает кораблик сознания.  
Так же ловит восторженный рот  
Речи первого в жизни признания.

В тихий вечер нырнуть налегке,  
После стольких за день впечатлений.  
И купаться, как в теплой реке,  
После нежностей в сладостной лени,

Потерять интерес к голубям,  
Где естественней выглядит аист.  
Засыпать, беспечально любя,  
Знать, что любят тебя, просыпаясь.

В волнах лунной небесной свечи  
Будет сон безмятежный, укромный.  
Нас на праздник потянут лучи  
В мир сверкающий, светом огромный.

Слов восторженных, песен рои  
День вдохнет в золоченые трубы.  
Снова быстрые руки твои,  
Снова беглые речи и губы.

### *Плач камня*

Слова угрюмый палач,  
Истины я не нарушу.  
В камне укрывшийся плач  
Вырвался стеблем наружу.

Был этот плач обречен  
Вечно томиться в темнице.  
Взвился внезапно ключом,  
Стебля зеленого блищем.

Мимо прохожий прошел,  
Странно разводит руками.  
Трезвого разума шок:  
Плачут холодные камни.

Камень накапливал грусть,  
Жалобы тихо шуршали,  
Если шербатую грудь  
Терли подметкой шершавой.

Ливень крутой его сек,  
Грызли жара и морозы.  
Сыпался зыбкий песок —  
Камня угрюмые слезы.

В детстве негаданно вдруг  
Я изумился впервые,

Преодолеши ислуг:  
Камни ведь тоже живые.

Камень, что в скверике рос,  
Бомбою был изувечен.  
И разрешился вопрос:  
Камень, он тоже не вечен.

Был я, наивный чудак,  
Тверд и не пил корвалола.  
И неожиданно так  
Сердце слеза расколола.

### К портрету

*В. Гаврильчику*

Висит на стене мой портрет,  
Как будто вином разогрет.  
Скуластый, глазами рогат.  
Сам черт ему, видно, не брат.  
Кто истинный, я иль портрет?

Я знаю, портреты не мстят,  
Я знаю, портреты не льстят,  
Но вечно наводят тоску:  
Мы дремлем — они начеку.

Я думаю в трудный момент  
Портрет — это тайный агент.  
Продам его — можно в кредит, —  
Пусть он за другими следит.

Плевать мне на эту родню!  
А впрочем, его я женю.  
Пусть любит, рождает детей  
И ждет моей смерти, злодей.

Но щерится злобно портрет,

### Каток памяти

В предтелевизорное время,  
В эпоху уличных катков  
На льду мужало наше племя  
Провинциальных простаков.

Любовь носилась по спирали  
По скверу стайками невест.  
Но, дети областной морали,  
Мы так стеснялись сделать жест.

В ту зиму я не принял вызов,  
Я вытащил другой билет.  
И вдруг увидел в телевизор  
ЕЕ через десяток лет.

Уже в столичной части света  
ОНА являлась, как в бреду,  
Принцессой дерзкого балета,  
Что чудодействовал на льду.

Лихой плясун в уборе стильном  
За ней носился и кружил.  
Коньком по памяти сублимной  
Она писала выражи.

Зажжется память на экране  
Залетной птицею — стрижом, —  
И наша жизнь за дальней гранью  
Нам вдруг покажется чужой.

Цепь лет порвется неизбежно,  
Но я судьбу благодарю,  
За то что юность конькобежной  
Была в том кукольном раю.

Благодарю за зим картинки,  
За шапочки пуховый нимб.  
За то, что старые пластинки  
Терзали песню «Догони!».

Что остается от горенья,  
А что уносит дней поток?

Следы свободного пареня  
Запишет памяти каток.

Планета спутников орбиты  
Мотает, как катков витки...  
Приметы лет давно забытых —  
Благословенные катки!

### *Зимняя спячка*

Начинается зимняя спячка,  
Укрывается в дом красота.  
И вчерашняя пава, гордячка,  
Пусть красива еще, но не та.

Не расслабишься духом, как прежде,  
Не рванешься за дверь сгоряча.  
Сад таинственный сбросил одежды,  
Перекинул на наши плеча.

Тело холодом взято в осаду,  
И устроилась ловко душа.  
Только голому зимнему саду  
Позволительно спать не дыша.

Ты весной горяч и неистов,  
Ты разбросан на сотни людей.  
Не под силу собрать портретисту  
В точный образ десятки идей.

Жить отлаженной четкой машиной  
Жизнью тела — основой основ.  
Удивляться жужжаньям мушным,  
Перепутавшим зиму с весной.

И душа отдохнет от метафор,  
Словно сонный вдохнет порошок.  
Хорошо, что не будет метаться  
И не будет болеть. Хорошо!

Вкус вина позабуду противный,  
Стану тверд я и неумолим.  
И какие предстанут картины  
И герои пред взором моим!

Оживают зимою легенды,  
Продремавшие тысячи лет.  
И пришельцы — галактик агенты —  
Выползают на призрачный свет.

Я героев работать заставлю,  
Истреблять неумное зло.  
Жаль, исчезли уютные ставни,  
Что творцам помогали зело.

О зима, врачеватель, больница,  
Дай горчичник для страждущих спиш.  
Посети нас, мечта, небылица.  
Спи, медведь, спи, душа моя, спи!

### *Лунная собака*

Собака выла на луну,  
Что, став на небесах биваком,  
Размыла знаки Зодиака,  
Сокрыла звездную страну.  
Пронизанный тоскою древней,  
Повис над спящею деревней  
Собачий глас во всю длину.

Не слышалось собачьих склок.  
Забилась под крыльцо товарки.  
Туман коричневой заварки  
Глаза собачьи заволок.  
Болезненным глумливым смехом  
Собаке отвечало эхо,  
И был надрывен диалог.

Как неуютен лунный свет!  
Как будто льют эфир на темя.  
Подобна теплой шубе темень:  
Нахлынет мрак — и ты согрет.  
А свет — он душу обнажает  
И перед бездной унижает,  
И кажется, что ты раздет.

Лишь сдавит горло тишина,  
Терзается душа собачья.  
Она устроена иначе,  
Рассудком не отягчена.

Ее охватывает ужас,  
Когда на землю дышит стужей  
В упор стерильная луна.

То вечный страх, то вечный страх  
Перед суровым смыслом мира  
Четвероногих пассажиров  
Планеты на семи ветрах.  
И, слушая собачьи трели,  
Ночами ежится в постели  
Бог, повелитель, вертопрах.

Собака, пессимизма дочь,  
Собака, лунная собака,  
Ты — сон, ты соткана из мрака.  
Мне слушать жуткий вой невмочь...  
Луна висит созревшей каплей.  
Но облаков морозной паклей  
Ее с небес стирает ночь.

## Олег Охупкин

---

### *Летучий Голландец*

Давно так не звездило по ночам.  
Все осень, осень, облака да тучи.  
Эпохи поворот тем круче, круче,  
Чем чаще люди ходят по врачам.  
Увы, меня не тронула простуда.  
Хоть весь продрог, я не о том скорблю.  
Гляжу в пучину в жуткой жажде чуда,  
Но не дано разбиться кораблю.

Давно так не звездило по ночам.  
Все ветер, ветер, сумрак и ненастье.  
Пусть непогода треплет наши снасти,  
Но бури нет и дождь по мелочам.  
Так муторно, что хочется к причалу.  
Но берег, берег... Это позади.  
И плаванье не обратить к началу,  
Когда еще бессмертье впереди.

Давно так не звездило по ночам,  
Всё свечи, свечи, тусклая каюта  
И паруса в полете без приюта,  
Да ржавчина по доблестным мечам.  
И ужас наводящая свобода,  
Когда покой, как призрак в тишине.  
И дух не утоляет непогода.  
И вечный парус, парус при луне,

Давно так не звездило по ночам.  
Все бегство, бегство, комната и книги.  
В пространстве — туч имперские квадраты,  
В столетях — плач все видевшим очам.  
Лишь палуба Летучего Голландца  
Вне времени, законов, перемен.  
Но и на ней опасно без баланса.  
Свободен дух, но и скитанье — плен,

## Квадрига

А. С. Пушкину

Нет ничего ужасней и странней  
Квадригой черной сросшихся коней.  
Имперской бронзой ставшие навек,  
Они тебя раздавят, человек!

Чудовищны четыре жеребца,  
Застывшие под лаврами венца,  
Зверинная душа, металлом став,  
Ожесточила тварный свой состав.

Уже не всадник, слившийся с конем, —  
Зверообразный памятник. На нем  
Печатью узурпаторской узды —  
Ездок, забравший жуткие бразды.

Уже не конь, что издали — кентавр —  
Над колесницей лицемерный лавр,  
Тавренный и подкованный табун,  
А сверх всего — орел, не то горбун.

Триумф когда-то горнего орла —  
Звероподобье, в коем умерла  
Прообраза божественная часть —  
Над зверем человеческая власть.

Колеса не прибавили коню  
Величия. С квадригой не сравню  
Пегаса, распластавшего крыла  
Превыше бронзы, лавра и орла...

Прекрасен и высок без седока  
Сей конь, чье беззаконье на века  
Крылами попирает испокон  
Звероподобный вздыбленный закон.

## В глухозимье

На смерть Т. Г. Гнедич

Седая стынъ. Дымит ледовый лютедь.  
Мерцает снеговейущий простор.  
И ухо рвет оркестр стозвонных лютед —  
Студеный жар, куда ни бросишь взор.

Искрят и пышут лютые Стожары,  
На дерево влезает Орион,  
И сивером свистят во все Ижоры  
Бельт ледяной и норд со всех сторон.

Гремучая свирель зимы-владыки  
И вьюжный Лель оброшенных лесов  
Зовут в Анд на голос Эвридики,  
Но лютовой сифонит с полюсов...

И нет надежды русскому Орфею  
Растрогать лед, сивеющий в снегах.  
Но, лиру взяв, и я в душе робею  
На опустевших Стикса берегах.

И если бы неверье обороло,  
Не тронула б струны живая скорбь,  
И на Неве не слышали б Глагола,  
Сшедшего звездой в ледовый гроб.

Но дрожью световой пронизан холод,  
И лучезарен смерзшийся гранит,  
Поскольку светоч веры — звездный Коло,  
Что адамант Петрополь наш гранит.

## Самый снежный день зимы

Вчера был самый снежный день зимы.  
Я умотался. Снег сгребали мы.  
Что делать, если служба такова!  
Не все же двигать ямб, сдвигать слова!  
Приходится лопатой и движком  
Работать на морозе со снежком.  
Кому-нибудь приходится в метель  
Распутывать погоды канитель!  
Кому-нибудь и нравится? .. — О, да!  
Вчера и я пришел к тому, когда

Мы вышли кое с кем расчистить двор  
И тротуар. Нам ослепило взор,  
Едва взглянули мы на снегопад.  
Нам желтизна березовых лопат  
Казалась кислой, как во рту лимон.

Сугроб соперничал с известкою колонн,  
А черная ворона над Невой  
На перекличке с черной полыньей  
Соперничала с глубио: что черней —  
Крыло вороны иль вода под ней.

Работая без отдыха весь день,  
Молчали мы. В ушанке набекрень  
Один был. На другом торчал картуз.  
Как будто на Смоленщине француз,  
Приятель мой ворочался в снегу  
В испарине, при этом ни гугу...  
И если и шибал кого мороз,  
То не его. Он так в лопату врос  
Руками, что метель, его крутя  
Как мельницу, молола снег шутя.

Когда же был объявлен перекур,  
Мы огляделись тайно сквозь прищур  
Промокших век. Мело из-за угла.  
Кололась Петропавловки игла.  
Она прошила ватники в местах,  
Где что-то колотилось в лоскутах.  
Тогда я кой-кому сказал: «Гляди!  
Что там? Уж не весна ли впереди?»  
И он проямлил: «Дай мне рубль взаимы!  
Сегодня самый снежный день зимы»,

### *Из летних вечеров*

Июнь... Какие вечера!  
Какое медленное лето!  
Средь нескончаемого света  
Пойми где завтра, где вчера.

Неярок северный пейзаж.  
Кусты, поля полупустые,  
Да птичьи крики холодные,  
Вёлт скудный вид... Вот Север наш.

Зато уж небо — небеса!  
Блеск без конца. Не наглядеться.  
Всю ночь мне никуда не деться —  
В полнеба света полоса.

А вечера, а вечера!  
Я с них и начал. Это чудо.  
Покой усталый отовсюду  
И шорох птичьего пера...

И смутный призыв — теплый тон,  
Как звон далеких колоколен.  
Он гармонически спокоен,  
И все ж напоминает стон.

Так у аккорда обертон,  
Хотя и взят аккорд в мажоре.  
Но есть в полях печаль о море  
И хаос в карканье ворон.

И каждый вечер, им смущен,  
Смотрю я, грустный поневоле,  
На вечеряющее поле,  
Страданью мира приобщен.

И он лежит передо мной —  
Притихший мир с коровьим взглядом,  
И грусть моя белеет рядом —  
Фонарь на кровле жестяной.

\* \* \*

И вдруг запел нежданный соловей —  
Защелкал звучно и тревожно,  
И мне без радости твоей  
Жить стало грустно невозможно.

И слушал я наедине  
С тобою напоенным сердцем,  
Как пел он в утешенье мне,  
Ручьясь коленце за коленцем.

И медлил я куда уйти —  
Все слушал — сердце отзывалось,  
И это было на пути  
К тебе, и солнце поднималось.

## *В ночь на Невскую сечу*

В годину невзгоды, во время  
Позора Батыева плена  
Запомнило русское племя  
Военные шведов знамена.

Обыкновенная сеча,  
Но что-то в ней неизгладимо.  
С восхода — Батыева туча,  
С заката — безумие Рима.

С Востока — ярмо и нагайка,  
Невежества желтая сила,  
А Запад — грядущего гайка,  
Златая середина, могила.

И в это-то время лихое  
Нам было не то что виденье,  
Но знаменье, правда глухое,  
И живо в народе преданье.

В ту ночь по Владимире князе,  
Почтив его светлую память,  
Отряд новгородцев в железе  
Ушел нас навеки прославить.

И вел Александр их. Ижорца  
Пелгусья, Филиппа в крещенье,  
Заутра, до свету, до солнца  
О вражеских войск размещенье

Разведав, он ставит при входе  
В Неву, поручив ему стражу  
Двух русл, дабы враг при отходе  
И здесь ущемил себе грыжу.

И вот, чуть светало, с залива  
Внезапно повеяло чудом,  
Как будто бы грохот прилива,  
Как если бы русским народом,

Поднявшимся разом на сечу,  
Дохнуло пространство и время,  
Всходившему солнцу навстречу  
Дохнуло видения пламя.

Реченный Филипп обернулся  
На шум, распахнувший до неба  
Простор, будто спал и проснулся,  
Он видит Бориса и Глеба.

Корабль, и на нем двое рослых  
Мужей в одеяньях червлених.  
Ладья выгребает на веслах,  
По-русски в бортах укрепленных.

В насадах гребцы, как бы мглою  
Одеты, лишь двое над ними  
Светлы и зарей золотою  
Очерчены чудно, как в дыме

Два пламени жарких и ясных,  
Обоих же руки на плечи  
Друг другу возложены. В грустных  
Их жестах — печаль, не иначе.

И слышен в рассветном просторе  
С ладьи доносящийся голос,  
В том голосе крепкое горе  
Так жгло, что пространство пугалось.

То вещий Борис-страстотерпец  
За русскую землю ко Глебу  
Рече: «Брате Глебе, мой братец,  
Помочь с тобой сроднику люблю

Должны мы, иначе сегодня  
В беде настоит он великой». —  
И Глеб: «С нами сила Господня». —  
В округе дремучей и дикой

Опять все спокойно. Филиппу  
Уж мнится, — не сон ли все было?  
И что не взбредет с недосыпу  
В башку! . . . и водой брызжет в рыло.

Однако, одумавшись, тут же  
Спешит к Александру с докладом,  
А тот ему: «Тише ты, друже!  
Чай, Биргер услышит. Он рядом».

### Велосипед купил

Прибежал я в избу, весь из себя красный, синяк под глазом, в руках колесо от автобуса, рулевое.

Отец нашей семьи сидел за столом, борщ наворачивал.

— Все бегаешь, — говорит отец. — И все без толку!

— Во! — говорю и колесо показываю. — С Мишкой Егоровым делили — мне досталось.

— Это хорошо, — пережевывает отец. — Только у Мишки Егорова есть велосипед, а у тебя нет.

— Чего это ты про велосипед?! — спрашиваю.

— А ничего! — говорит отец. — У Машковых тоже велосипед, и у Таньки Захваткиной!.. А где твой велосипед?

— Как «где»? — говорю. — Второго дня во сне видел.

— Так то — во сне! — говорит отец. — А где деньги? Денег-то нет. . .

— Есть! — говорю. — Деньги вчера во сне видел.

— Так то — во сне! — говорит отец. — От денег во сне толк не велик. А чтобы толк был велик — надо их зарабатывать. По делам и награда.

— Кто тебе сказал? — спросил я.

— Председатель наш, — сказал отец. — Вызвал сегодня и говорит: «В районе, — говорит, — экспедиция работает, изыскатели (железная дорога у нас будет), у них нужда в рабочих. А твоему парню уже тринадцать стукнуло, а до школы, до первого сентября месяц бегать без толку, — пусть лучше работает, деньги зарабатывает. Велосипед у него есть?» — «Нет», — говорю. «Вот на велосипед и зарабатает. А работу дадут несложную, под силу. Парень он шустрый — хорошо и зарабатывает».

— Парень ты шустрый, — сказал дядя в кожаной кепке. — Я, — говорит, — начальник экспедиции, и я хорошо это вижу. Оклад у тебя — шестьдесят рублей. А не будешь лениться — еще премию выпишем.

— А зальнюсь — не выпишете? — спросил я.

— Не обижайся, — сказал Начальник.

— Хорошо, — сказал я. — Не обижусь.

— Работа у них интересная, — сказал я Мишке Егорову. — Да еще зарплату дадут: шестьдесят рублей за месяц. На премию, правда, надежды нет никакой. . .

А сам про себя думаю: «Погодите, — думаю. — Я вам так буду работать, что премию обязательно дадите!»

— Все изыскивают, изыскивают!.. Будешь у них — разуйнай, что изыскивают? — сказала Машкова бабка.

— Ничего, — сказал я. — Разберемся с ними.

— Я эту контору знаю, — сказал старший брат Тани Захваткиной. — У них много не зарабатываешь.

— Ничего, — сказал я. — Кто много трудится, тот много и имеет.

А на огороде меня учительница русского языка поймала. Похвалила. Спросила, разве может быть без труда чистой и радостной жизнь?

Я хотел пробежать мимо этого, но она сказала, что это слова Чехова, и тогда я остался, и мы еще поговорили.

Работа началась интересно.

Приставили меня к треноге. На треноге — труба. Через трубу на рейки с делениями смотрят.

К треноге приставили: меня, толстого дядьку и двух взрослых парней с рейками. Один парень из нашего села, Григорием зовут, после армии.

Толстый дядька посмотрит через трубу на одного парня, вздохнет, в тетрадку запишет, на другого парня посмотрит, вздохнет и опять в тетрадку запишет. И тогда я должен хватать треногу и тащить на новое место. А в это время. . .

— А в это время я буду на ходу подсчеты делать, — сказал толстый дядька по фамилии Дорофеев. — Понятно? — сказал Дорофеев. — Пока треногу несешь — руки у меня. . . Они — как? . . . Они — свободные, и я могу делать подсчеты, чтобы время не терять.

«А-га, — думаю. — Видать, он тоже хочет премию заработать».

— Понятно, — говорю. — На меня надейтесь. Мы с вами сработаемся.

И только он прищурился на второго парня, который Григорий, — я треногу рванул и понесся. . .

— Э-э! — крикнул Дорофеев. — Нельзя же так!

— Мо-о-ожно! — крикнул я. — Догоняйте!

Потом выяснилось, что Дорофеев не успел чего-то разглядеть в трубе. На этом деле мы полчаса потеряли.

Потом мы еще много времени потеряли на том, что Дорофеев — как черепаха. А с утра выглядел работающим. Ну никак ему было ко мне не приладиться: то ему посмотреть надо, а треногу я уже унес; то мне ждать, пока он доползет до новой стоянки; то начнет винты крутить на своей трубе...

— Чего винты-то крутите?! — говорю. — Открутите еще чего-нибудь!

Я, понятно, не всегда выдерживал: то треногу схвачу, то скажу чего-нибудь, из Пушкина, а Дорофеев вдогонку: «Куда же?.. Нельзя же так!..»

В общем, плохо дело!

Так и сказал Начальнику. Он меня вечером по голове погладил...

— Ну, как первый день прошел? — спрашивает.

— Плохо, — говорю. — С этим Дорофеевым премию не заработаешь!

Начальник посмотрел на Дорофеева и головой покачал. А Дорофеев задышал громко. Начальник говорит...

— Не знаю, — говорит. — Не знаю, Дорофеев — хороший производственный.

«Ты — не знаешь, — подумал я. — А я — знаю!» Но ничего не сказал, воздержался...

Назавтра мне другого дали. Не Дорофеева, совсем другого... Девку мне дали.

С утра она мне показалась: то, что надо! Разбудила: «Вставай, — говорит. — Быстрее! Со мной пойдешь! Пошевеливайся! Ты, — говорит, — слышала, гоняться любишь как угорелый. Это хорошо, то, что мне надо!»

«Ну, — думаю, — теперь поработаем!»

А работа была такая: палки длинные, в красную тельняшку, вешками называли, переставлять с места на место. Как моя ивовенькая, Верка, махнет рукой, так мне на новое место бежать.

Вечером — пришли в палатки — Верка как закричит сразу на все палатки:

— Кого мне дали!.. Носится как угорелый!.. Минуту не стоит!

Начальник услышал...

— Что же ты бегаешь?! — сказал он.

— А стоячая вода быстро портится, — ответил я.

На следующий день мне другого дали. Студента с лысиной: Сначала я не знал, что с лысиной. Потом, когда загонял его, он кепку снял, смотрю — с лысиной.

Со студентом мы землю мерили железной лентой. Чего ее мерить? Не знаю. Но уж дали — надо быстрее промерить.

— Быстро померим — премию дадут, — сказал студенту.

— Серьезно?! — сказал он.

— Чего?.. — спросил я.

— Точно знаешь: дадут премию? — спросил студент.

— Быстрее всех будем — конечно! — сказал я.

— Понятно, — сказал студент.

— Кто воюет, тому и мясо, — сказал я.

И в тот же день потерял ленту, железную... Потерял. Так случилось. Как так случилось — не знаю, и студент не знает. Сначала я его загонял, потом он кепку снял и плешь обнаружил, потом я ему частушку спел...

Мы влюблились —  
Кудри славила,  
А расставались —  
Плешь оставила...

...потом студент пошел в другую сторону... я — в одну, с лентой, а студент — в другую. Потом я ленту оставил — студента пошел искать. Нашел студента — ленту стали искать...

Ленту не нашли.

— Тридцатник, — сказал студент.

— Чего? — сказал я.

— Тридцать рублей лента стоит, — сказал студент.

— Побожись?! — сказал я.

Студент побожился.

Потом студент мне все рассказал. Он сказал, что премии мне не видать, а ленту у меня из зарплаты вычтут.

То, что вычтут, — не запечалился, потому что тридцать рублей останется — на велосипед не хватит, но деньги немалые! А вот что премии не видать — чуть не заплакал!

Да еще Начальник вечером по голове меня не погладил, а сказал просто...

— Да, — говорит, — с коллективной работой у тебя не ладится.

Определили меня с утра на индивидуальную работу: колышки красить — номера рисовать. Ихние колышки повсюду натканы: в лесу, в поле, в огороде... Когда еще будет до рога, а колышки уже — вот они!

Банку с краской, кисть — все мне дали, и я пошел. Иду. Не тороплюсь. Не спешу. Как угорелый не несусь. Премии все равно не будет. И ничуть не жалко. Проревел вчера, а сейчас хорошо, спокойно. Рисую номера на колышках, порядковые. День рисовал, второй рисовал. Птицы поют, никого нет, хорошо. . . Правда, один раз Дорофеева встретил. «Здравствуйте, — говорю, — Дорофеев!» А он дернулся. . . Дернулся, треногу подхватил и побежал. . . «Вот ведь, бегать научился, — подумал я. — Сейчас бы с ним и поработать!»

А через неделю мне Начальник сказал, что работаю я старательно, вот только номера на колышках все перепутал. . .

— В результате, — говорит, на меня не смотрит (боятся посмотреть), — получилось, что работа коллектива за целую неделю пошла насмарку! . .

— ОГО! — сказал я и пошел к студенту.

Студент быстро подсчитал, что коллектив за неделю зарабатывает три моих зарплаты.

— Да, — сказал я. — Придется мне у них остаться, отрабатывать. Школу — догоню.

— Догонишь, — сказал студент. — Я с тобой позанимаюсь.

После этого случая меня с индивидуалки в коллектив кинули. С Дорофеевым оказался!

Дорофеев сначала дергался! Но я прямо сказал:

— Не дергайся, Дорофеев. Все равно премии не будет.

Он успокоился. Потом мы с ним даже подружились. А потом я его трубу разбил! . .

Труба его прямо вдребезги разлетелась. Ничего не собрать! Говорю Дорофееву:

— Сколько твоя труба-то стоит?

А он положил руки на голову и качается.

Мне потом студент сказал, что труба — пять моих зарплат стоит.

— Ух ты! — с продолжением сказал я. . . — Со школой, значит, ничего не выйдет в этом году — на второй год останусь.

— Квалификацию приобретешь, — сказал студент.

— Да, — сказал я. — Вместо велосипеда.

Вызывает меня Начальник в кожаной кепке, говорит:

— Послезавтра тебе в школу — давай прощаться!

— Как прощаться?! — говорю. — Мне убытки отрабатывать надо!

— Убытки отрабатывать не надо! — сказал Начальник. — У нас это не принято. Вот твоя зарплата — шестьдесят рублей. Я слышал, ты велосипед купить хочешь? . .

И вот тогда я заревел! . .

Реву! Начальник меня успокаивает. . . Он мне тогда много чего сказал. . . Said, что я еще молодой, что вся жизнь моя, сколько ни есть, — вся впереди, что я научусь работать, что в общем я хороший и старательный мальчик, что есть и похуже меня. . . Я уже и реветь перестал, а он все говорил и говорил. . . И тогда я подумал, что если я — хороший и старательный мальчик, а убытки в этой конторе — не в счет, тогда пускай гонит премию! . .

— А где премия? — сказал я.

— Премия?! Премии тебе не будет, — сказал Начальник и как-то совсем иначе посмотрел на меня.

«У-ух. . .» — подумал я, но сказать — ничего не сказал. Воздержался.

Через шесть дней велосипед купил.

\* \* \*

Где обитает птица козодой?  
Над пахнувшей стрекозами водой,  
Козодоенье — неказистый труд,  
куда важней вязанье козьей шерсти  
и прибыльней, и знатоки не врут. . .  
Но козодой далек от совершенства!

Кричи, кричи! Я не слышал твой крик,  
а выдумал и вычитал из книг.  
Леса обложек, пыльная прохлада —  
где обитает птица козодой?  
На Кронверке, на ветке золотой,  
на Петроградской, в центре Ленинграда.

\* \* \*

— Ты плачешь? — Нет. Я вижу Пиренеи  
и слышу шелест каталонских роз. . . —  
Любимая! Мытарствуем, болеем,  
пленяем и пленяемся всерьез. . .  
Что я? Меня сомнения питали  
и легкий звон походных литургий.  
Топтали землю грузными деталями  
тяжелые брабантские стрелки. . .  
Любимая! Я помню запах дыма  
и синий бархат виноградных кос,  
и плачу, и смеюсь неразделимо  
с дыханием и пеннием стрекоз.  
Я — зеркало! Не думайте — кристальное!  
Костлявая кричащая родня —  
Кастилия. . . — казалась мне крестами,  
и красным перцем — листики огня. . .  
Я гез, распутный дон, искусный повар,  
фламандский враль, обжора, тихий плут, —

как ишака, тащи меня за повод  
туда, где обещания цветут. . .  
Любимая, пока твоя одежда  
и кожа вызывающе свежи,  
ты падаешь и медленно, и между  
горячими откосами межи. . .  
Ты плачешь? — Нет. Я слышу голос сердца  
и, ежели не впроголодь сердцам,  
пускай мое коротенькое скерцо  
скорее доиграет до конца,  
пускай, мой гез, твои ладони больно  
шипями диких, каталонских. . . и  
пускай меня, как маленькую пони,  
хозяйские прогонят холуи,  
пускай, мой гез, стремительным и странным  
покажется желание мое,  
пускай, пускай пожизненно, постранно —  
чиновники, начальники, ворье. . .  
пускай. . . Ты плачешь. . . — Не умею плакать!  
Но жгут ладони жесткие цветы.  
Пока лягушкам жить и жабам квакать,  
и окнам прогорать до темноты,  
пока героям пуговицы портить,  
до блеска начищая на парад, —  
мы только гезы. . . Ты — укромный портик,  
я — твой кораблик, легкая кора. . .

\* \* \*

. . . до горения, сладости, боли, течения сна,  
до течения, сна, упования, плаванья, плена,  
проплывания мимо — так близко от берега! — на  
берегу распускаются травы. . . ты помнишь, Елена?  
как болел я и виделось мне — проплывал, берегам  
расставаться с водой не хотелось, и низко осели  
берега, и на уровне глаз оставались луга. . .  
позади согреваемой жаром больничной постели. . .  
ты мне снилась, и не было снов беспокойнее, и  
засыпал, но не видел твоих омертваний, и просто  
засыпал на волне, просыпался и снова. . . огня  
фонарей принимая за свечи высокого роста. . .  
и горели лампы, и не было в мире лампад  
так отважно, как эти, укрывших тебя, так спокойно  
не от взоров моих, не от рук или слов, или

адресованных слугам твоим обещаний, соблазнов... и войны,  
что бросал я к ногам твоим слугам, бросал как орех —  
и бросал в колесо для твоей дрессированной белки...  
ты смотрела сквозь слезы и дым, сквозь ресницы и мех,  
как грозил я и грезил, и плыл, и у берега мелко  
было... и, нарушая покой тишины, я капризно  
цеплялся за стебли твоих цветников, и казалось —  
ты в одежде из птиц, мотыльков или бабочек из —  
говорила:

дождись! дождайся, как я дождалась...  
через тысячу лет ты меня повстречаешь во сне,  
и тогда, если сны наши снова сомкнутся, как губы,  
не жалея угроз и молитв, драгоценных монет  
раздавая бесчисленно моим избалованным слугам,  
проходи, не пугаясь разрушить мои цветники,  
забывая на миг очертания брачных чертогов,  
не срывай одесний, не сбрасывай обувь — накинь  
на себя из тончайшего шелка и жемчуга тогу,  
что ткала я узор за узором, виток за витком,  
вспоминая твой сон по частям, по узорам, по цвету,  
вспоминая тебя, вспоминать, забывая о ком...  
вспоминала до сладости, боли, горения света...

\* \* \*

Суок!  
это имя и шелковый мячик в руке и картонный уют  
балаганного бала

Суок!  
ружейник гимнаст врачеватель и бог стрелок наугад  
но и этого мало

Суок!  
как тающий сахар на блюде  
с горячей и сладкой судьбой  
о чайные сумерки! не оглянуться  
нечаянно не покачать головой  
Суок!  
а в мире пирожных серебряных ложек английского  
сада по сути  
смычки или танцы мечтали — останься! останься,  
еще потанцуем

Суок!  
прощайте мой шелковый мячик в горсти  
бумажное счастье — снежок конфетти  
и шанка из снега у верного негра

Суок!  
простим и простимся — прощайте, пора  
забыть абиссинское небо двора  
и вальса немецкого негу  
Суок!  
это я проклинать нищету устала, мое неуклюжее  
пажество,  
еще покачаюсь, еще поцвету среди голубых колыханий  
плюмажа

Суок!  
вкусных игрушек и кушаний вкусных  
среди серых лошадок  
смотрела как смотрят в запретный замок и  
совсем не дышала  
Суок!  
ворчи оружейник скрипи карабин кривляйся канатный  
плясун обрубил  
последнюю нитку опоры нетвердой надежды  
урок заучи самоучка-стратег — ты тоже оборван и  
тоже из тех  
кто тонкие нити порвет этой музыки нежной  
Суок!

## Наль Подольский

### Замерзшие корабли

Памяти Р. М.

Жил-был поэт. Он был одним из тех многих юных существ, что прнезжают однажды взглянуть на наш город, тотчас в него влюбляются и стараются в нем остаться на любых условиях, меняя сытую жизнь под родительским кровом на голодное, полное случайностей, сомнительное и беспокойное существование.

Нашему поэту везло — отличая его от большинства других поклонников, город ему отвечал чем-то вроде взаимности. Поэту была подарена редкая привилегия: за два года житья в городе он почти не имел столкновений с людьми административными, с представителями закона и с соседями, одним словом, с людьми, олицетворяющими прозаические стороны жизни.

Город давал поэту жилье и пищу и взамен требовал служб. В зимнее время город хотел, чтобы в домах его было тепло, и каждый четвертый день заточал поэта на сутки в каменное подземелье котельной. Низкие потолки, сплетение серых труб и гудение газовых горелок отпугивали музу поэта, и писать в котельной стихи ему не удавалось. Если находилась подходящая книжка, он сидел и читал, а в противном случае, признаемся с прискорбием, попросту спал во время дежурства.

По утрам город будил поэта. Сначала он посылал голубей ворковать и хлопать крыльями перед окном на карнизе, а если это не помогало, по улице начинали ездить гремучие грузовики с железными трубами.

Город заботливо опекал поэта. Если тому было нечего есть, достаточно было прогуляться по городу ночью, когда из машин в булочные перегружают теплые мягкие булки, и уж хлебом тогда он бывал обеспечен, ибо на многих из этих машин работали такие же, как он, неунывающие молодые люди, поэты или художники.

Подобно дикарю в джунглях, которого лес поит, кормит, пугает и развлекает, наш поэт полностью зависел от города и обожествлял его не в меньшей степени, чем дикари — свои

джунгли. Он жил словно наедине с городом и ощущал в отношениях с ним даже некоторую интимность.

Город часто менял наряды и порой был капризен, как стареющая актриса. Каждое утро он украшался по-новому, чтобы поэт, выходя на улицу, вновь и вновь удивлялся его красоте и говорил:

— Ты прекрасен, о город!

Каждый четвертый день поэту к восьми нужно было в котельную. Часов у него не было — для чего поэту часы, — и ему город сам показывал время. Шестиэтажный дом против окошка поэта, дом-часы, начинал оживать с половины седьмого. Первым загоралось окно на шестом этаже слева, загоралось неярким голубым светом, и за ним правее внизу вспыхивали два желтых окошка. Постепенно освещались всё новые окна, образуя меняющиеся в заведенном порядке световые фигуры, и наступал момент, когда от верхнего голубого окна панскось вниз протягивалась сплошная гирлянда разноцветных огней, и это значило: пора выходить. Через несколько минут голубой фонарик наверху гаснул — город, все еще кротко, увещевал поэта:

— Дружок, ты опаздываешь.

Но стоило ему помедлить еще — и город терял терпение: резким слепящим светом, перечеркивая цветную гирлянду, вспыхивали сразу все окна второго и третьего этажей:

— Беги же, несчастный. Беги скорее!

И действительно, после этого окончательного предупреждения, как бы он ни спешил, опаздывал уже обязательно и выслушивал от своей сменщицы слова хотя и расширявшие его лексикон, но для поэзии совсем не годившиеся.

Жизнь ему не давала поводов для знакомства с людьми правильными, проводящими день на службе, а вечер — в кино или у телевизора, зато в изобилии предоставляла общение с дворниками, мусорщиками, грузчиками магазинов и с людьми, просто болтающимися, живущими неизвестно чем, и все-таки живущими — другими словами, со всеми, кто существует на улице так же непринужденно, как иные в своих собственных квартирах.

Среди этого люда встречались персоны весьма примечательные, и из них для поэта, пожалуй, наиболее был любимытень немой Феликс, которого про себя поэт называл «черный скрипач». Сначала его поразила известность этого имени — немой был одинок и по имени сам, естественно, не представлялся, но тем не менее всюду, от рынка и до канала, на любой улице и у всякого ларька, каждый знал Феликса. Сам город хранил его имя, представлял новичкам и заботился, чтобы

это, и так уж обиженное, его дитя не влачило жизнь безвестно и безмянно. Второе же удивление поэта, связанное со скрипачом, было литературного свойства. В одном из его сочинений возник персонаж, похожий на Феликса, и на поэта напало упрямство не копировать имя, а заменить его — он промучился несколько дней, и оказалось, что если писать об уличном немом скрипаче, то назвать его можно лишь Феликс, и никак иначе. После этого он для себя и прозвал Феликса черным скрипачом — за черноватую смуглость лица, за угольный цвет глаз, за черную, хотя и оборванную, но всегда черную одежду.

Черный скрипач играл во дворах и просто на улице, оставивался, когда ему вздумается, и начинал играть, не интересуясь присутствием слушателей; денег не собирал специально, но если давали, брал.

Поэт за ним вскоре заметил престранное чудачество: раза два или три он тащил куда-то старые картинные рамы, подобраанные, видимо, на помойках.

А однажды он увидел черного скрипача, входящего в старый дом с лепными ящерицами на фасаде, в пустой и заброшенный, предназначенный для ремонта, дом; часть окон была выбита, и они смотрели в воды реки черными глазами. Это было уже по-настоящему интересно, и поэт в тот же день посетил этот дом.

Он вошел в вестибюль, и гулкое эхо где-то наверху, в сводах, еще долго хлопало дверью. Под ногами алали осколки стекла из разбитого витража; не зная сам почему, он шел осторожно, стараясь не наступать на них.

Он поднимался по широким истертым ступеням и слушал, как сверху навстречу ему по лестнице эхо ведет его же шаги, словно невидимого двойника, а вскоре такой же двойник появился и снизу, точно под ним, этажом ниже, он повторял каждый шаг его, каждый вздох, каждый скрип башмака.

На площадках лестницы двери встречали его по-разному. Были двери, забитые наглухо и заваленные грудями мусора; были двери распахнутые, льющие на мрамор ступеней яркий веселый свет; были двери чуть приоткрытые, манящие голубым полумраком; были и пустые проемы, ведущие в полную тьму, готовую всякого, кто рискнет в нее погрузиться, растворить мгновенно и без остатка, чтобы пришелец исчез навсегда.

Поэт чувствовал, что попал во власть странных чар этого дома, ему стало казаться, что все эти двери — не просто так двери, что от того, в которую он войдет, зависит, быть может, очень многое. У него даже скользнула — возникла на миг и тотчас исчезла — мысль удалиться отсюда, не тревожить этой спящей пустоты, не искушать судьбу зря.

Часом или двумя позднее ему так и не удалось сообразить, на каком этаже он свернул с лестницы; он помнил только, что вошел в светлую комнату, привлеченный фотографией на стене. Он долго ее рассматривал, забытую или просто брошенную, старинную фотографию, пожелтевшую, в черной овальной рамке. Женщина в шляпке с вуалью и в платье с глубоким вырезом, опираясь на зонтик, смотрела вдаль.

Содранные обои лоскутьями свисали со стен, и он насчитал не меньше семи разноцветных слоев. Он почувствовал горечь, доходящую до ощущения едкого вкуса во рту, горечь брошенного человека жилья, где обитало не одно поколение.

Поэт подошел к окну — пыльные стекла окрашивали в серый оттенок глубокий двор, и деревья там далеко внизу, и играющих под ними детей. Дети двигались плавно, замедленно, как это видится иногда во сне, и звуки оттуда не доносились — оттого вместо детской веселой возни он видел сверху непонятный безмолвный обряд. Так, наверное, смотрели бы люди на жителей незнакомых планет... или те на людей. Еще четверть часа назад он принадлежал тому миру, все, что случалось там, было естественно, само собой разумелось, а отсюда так странно... далекий, совсем другой мир.

Ему вдруг ясно представилось, как выглядят снизу эти пыльные окна мертвого дома и как непонятен, как странен, если смотреть оттуда, должен быть человек, находящийся здесь.

Скорей всего, это от стекол, — он стал открывать окно, изо всей силы, до боли в пальцах, нажимая на заржавевшие задвижки и пачкаясь пылью. Окно отворилось со скрипом, словно бы неохотно, ветер вздул с подоконника пыльное облачко.

Он прислушался — снова никаких звуков, и тот мир, внизу, оставался таким же далеким, таким же чужим. Значит, этот дом так просто не отпускает... А войти в него было легко.

И опять его уколола мысль поскорее уйти отсюда, и опять она тотчас же пропала.

Следующая комната, с оранжевыми обоями, была неприятна, в ней крылось что-то недоброе. Он миновал ее быстро, и в дверях испытал волнуемое и жутковатое ощущение, что перед ним расступились, уступили ему дорогу — кто-то невидимый, невесомый, неслышный и все-таки вполне реальный.

Квадраты паркета, покрытые пылью, поломанное старинное кресло в углу, лепные узоры на стенах, — он ходил, все это разглядывая, и чувство, что он здесь не один, укреплялось, становилось отчетливее. В этом доме пустоту населяли — он не знал, как их правильнее назвать — тени, призраки или сны, скорее всего, именно сны, сны брошенного старого дома.

И где бы он ни шел, по светлым ли комнатам с обломками мебели, по заваленным ли мусором коридорам, поднимался или спускался по темным крутым лесенкам — они, эти тени, все время окружали его, шли навстречу ему, пропускали его, обходили, и он чувствовал их иногда до того остро, что казалось, вот-вот услышит их и увидит.

Он бродил и бродил, словно здесь было место, которое ему нужно во что бы то ни стало найти, словно его там ждали. Полы были на разных уровнях, и он по пути одолел несколько коротких лестниц, так что теперь и приблизительно не представлял, на каком этаже находится. Он попробовал вернуться назад, но в знакомые комнаты не попал, а дверь, по мысли его, ведущая на центральную лестницу, была заперта и с другой стороны, видимо, забита досками.

Он побрел в противоположную сторону, надеясь найти черный ход, и, обогнувши, судя по числу поворотов, примерно половину дома, он действительно черную лестницу отыскал, но продвинуться вниз смог всего на этаж, наткнувшись на завал из кирпичей и обломков ступенек.

Осознав, что заблудился по-настоящему, он почувствовал вдруг усталость и присел покурить на ступеньки. На лестнице было полутемно, значит уже вечер, значит он бродит по этому дому уже не один час и прошел, наверное, не один километр.

На площадку выходили две двери, сквозь щели одной пробивался свет, другая была темна. Взявшись за ручку первой из них и угадав непрочность замка, он принялся ее дергать, трясти и, навалившись плечом, распахнул ее наружу — и обнаружил за нею то, что заставило его вцепиться руками в дверные косяки и отпрянуть назад.

Дверь вела в пустоту, в воздух, как будто здесь обитали летучие люди — по утрам они открывали двери и, хлопнув снаружи французский замок, улетали в разные стороны, а вечером, возвращаясь, отпирали ключиками входы в свой улей и влетали внутрь.

Ему открылось по-вечернему спокойное небо и провал под ногами; там, внизу, кривыми обломками ребер торчали остатки снесенной пристройки. Звуков не было, лишь поскрипывала открытая дверь, бессмысленно раскачиваясь над пустым пространством; притянув ее осторожно к себе и хлопнув, он шагнул ко второй, темной двери.

Глаза к темноте привыкали медленно, и он шел осторожно, но все равно то и дело оступался в неровностях пола и спотыкался о всякий хлам.

Вскоре он попал в коридор, совершенно темный, и продвигался вперед, касаясь рукой стены; коридор казался ему бес-

конечным. К его пальцам притронулось вдруг что-то холодное — отдернув руку, он сообразил, что наткнулся на дверную ручку. Он зажег спичку: перед ним была резная, темного дерева, дверь, на медных массивных ручках тускло блестели две разинутые звериные пасти.

В щелке у пола угадывалось сероватое свечение. Испытав вдруг жгучее отвращение к темноте, он толкнул дверь — створки медленно распахнулись, открывая широкий вход.

Комнату наполняли золотистые отсветы заката, проникая сквозь высокие, полукруглые наверху окна. Ощущения грязи и запустения не было, хотя кое-где светло-зеленые обои свисали ключьями до самого пола. Потолочная лепка — цветы и птицы — повторялась внизу на паркете, черным деревом среди желтоватого.

В дверях он медлил не больше секунды. Внезапно ему померещилось, что он на виду у множества глаз и они ждут именно его. Он шагнул внутрь — рисунок паркета вел его к выходу на балкон. Он уверенно взялся за ручку стеклянной двери, со смутным и странным чувством, что на этот балкон уже выходил однажды, давно, так давно, что об этом не вспомнить.

Пьянея от свежего прохладного воздуха, он оперся на перила. Внизу он увидел толпу, что ждала его, увидел людей с цветами, людей, кричащих ему что-то и машущих руками.

Видение это длилось всего один миг. Редкие прохожие деловито шли сквозь сумерки и смотрели по большей части только себе под ноги.

Но его уже не занимали прохожие. Ощущение города, уходящего в светлую летнюю ночь, целиком захватило его. Асфальт уже не был плоским, не был грязным и серым, мостовые обрели форму и мягко мерцали розоватыми и лиловыми бликами. Улицы словно плыли вдаль и соперничали между собой, приглашая в свой теплый прозрачный сумрак. И не воду уже несла река, ее наполняло черноватое чеканное серебро, отражая легкие силуэты домов. А те — один, из белого мрамора, тихонько светились, другие, будто вылепленные из терракоты, уже засыпали.

Он забыл о времени и впитывал чудесное зрелище, но вскоре чувство, что его где-то ждут, пришло к нему снова. Почти в уверенности, что кого-то сейчас увидит, он резко оглянулся, но комната уже погрузилась в темноту.

У него хватило предусмотрительности проверить, где он находится, — он стоял на балконе третьего этажа почти над самой входной дверью, рядом с центральной лестницей,

Он нашел без труда выход, и на лестнице эхо опять повторыло высоко в сводах звуки его шагов.

В город спустилась голубая тихая ночь. Дома вбирали в себя призрачный свет неба и мерцали над темной водой приглушенными красками, от них исходила, казалось, еле слышная музыка.

Поэт шел домой поспешно и почти не глядя по сторонам, не в силах перенести избытка окружающей его красоты; он чувствовал, в его отношениях с городом открывается новая страница, и верил, что напишет теперь удивительные стихи. В его воображении теснились слова, образуя ритмически движущиеся, яркие и причудливые цветные сочетания.

Дома он сел к окну, отворил его и, не включая света, еще долго записывал строчки.

А утром, проснувшись поздно от духоты и шума трамваев, он обнаружил, что ничего не помнит из вчерашних своих сочинений. Разбирая корявые буквы, выпрыгивающие из строк и наползающие одна на другую, — а ведь ночью ему казалось, что пишет он аккуратно, как при солнечном свете, — он часть слов прочесть так и не смог, а стихи показались ему отвратительными, беспомощными, напыщенными, в них не было ничего от поразительной красоты минувшей ночи. Он решился порвать их, и ему это было ново и неприятно: раньше он никогда не рвал неудачных стихов, а просто откладывал в сторону, и они потом сами терялись.

Его потянуло на улицу. Город плавал в легком тумане и выглядел спящим, туман приглушал уличный шум, словно город просил не будить его, не тревожить его сновидений.

Поэт брел по набережной, бессознательно выбрав путь, ведущий к пустому дому; над водой лениво ползли бледные клочья тумана. И как вчера в доме, но теперь уже под открытым небом, он чувствовал себя окруженным недоступными его взгляду и слуху теньями. Они шли рядом, позади и навстречу, обгоняли и уступали дорогу. Тени, сны города... если бы он мог в них проникнуть! Он видит лишь оболочку, город внутри его не пускает.

К пустому дому он подошел по другой стороне реки, из-за тумана сам дом был плохо виден, но его отражение рисовалось отчетливо на поверхности молочно-белой воды, словно только что всплыв из глубины. Перед темными окнами, как ленты прозрачной ткани, скользили сероватые туманные полосы. Туман съедал все цвета, превращая все краски в белые, черные или серые, и поэт удивился, приметив на двери дома голубое пятнышко, и удивился еще более, признав в нем почтовый ящик.

Зачем на таком доме быть почтовому ящику? Это так его занимало, что он тут же не поленился дойти до моста, чтобы перебраться на ту сторону.

Ящик выглядел совсем новым — обыкновенный почтовый ящик из жести, с тремя круглыми дырками. В дырках что-то белело; он вытащил гвоздь, вставленный вместо замка, крышка откинулась, и в его руки упало письмо.

Взглянув на конверт, он вынужден был осмотреться, проверяя, насколько нормально он видит все остальные предметы — столь невероятен был адрес: «Вторая невидимая планета Марс, город черного огня, Рихард Вольф».

Почерк был ровный, почти без наклона и чуть небрежный, почерк привычного много писавшего человека. Единственно разумное объяснение, что это дело рук шутника или помешанного, не успокаивало поэта. Более того, конверт вызывал холодное, непонятное и жутковатое чувство, как если бы, например, железный гвоздь у него в руке вдруг начал извиваться наподобие червяка. Оттого, прекратив исследование конверта, поэт вернул его в ящик и удалился тем же путем, которым пришел.

На мосту ему встретился черный скрипач, и с другого берега поэт видел, как тот подошел к дому, вынул письмо из ящика и скрылся в дверях, но он не удивился и воспринял это как само собой разумеющееся.

С того дня дом с ящерицами стал чем-то вроде маяка для поэта, где бы он ни бродил, все равно ноги сами приводили его к этому дому. Все острее он ощущал наполненность города неизвестными ему — он так и не придумал, как их называть, — существами; ему теперь часто виделась на пустых улицах ускользающие тени, мерещился говор людей и скрипы повозок. Он писал мало и большую часть стихов тут же рвал на клочки, но надеялся, что создаст нечто замечательное, когда ему наконец удастся проникнуть во внутреннюю, скрытую жизнь города. И этот пустой дом представлялся ему входом в таинственный и несомненно прекрасный мир.

В доме происходила какая-то своя жизнь, и поэту время от времени удавалось улавливать ее внешние проявления. Несколько раз еще он видел черного скрипача, входящего внутрь, и один раз дождался его выхода — тот провел в доме более часа. Поэт основательно изучил географию этого дома и не путался больше в этажах и лестницах, бывал там часто, но ни разу не обнаружил следов деятельности скрипача.

А однажды вечером, поздно, в окнах третьего этажа, он заметил свет, колеблющийся, слабый и желтоватый. Ошибки быть не могло: лето шло к концу и ночи уже были темные,

Еще дважды белели письма в почтовом ящике, но поэт их не трогал, испытывая к ним инстинктивную неприязнь.

И еще один случай остался у него в памяти. Все у того же дома, в дождливые сумерки, неизвестно откуда взявшись, перед ним внезапно возникла женская фигурка в плаще с капюшоном. Она шла навстречу ему, они разминулись быстро, и лица он не разглядел. Ее взгляд скользнул по нему с приветливым безразличием, и у него мелькнула фантастическая нелепая мысль, что она могла бы с тем же спокойствием пройти сквозь него, его не заметив. Через несколько шагов он оглянулся, но ее уже не было, словно она растворилась во влажном сумраке.

Эта встреча ему почему-то казалась важной, и он даже жалел, что не попытался заговорить с незнакомкой.

Время, однако, шло и не приносило поэту ничего нового. Чего он ждал — он и сам вряд ли мог четко сказать; ждал каких-то изменений в своей жизни, ждал прозрений и, не помышляя о чем-либо интересном вне и помимо города, ожидал, когда город приобщит его к своей внутренней таинственной жизни.

Это напряженное ожидание его изматывало, а город не только не открывался, но и отдалялся теперь от него. Он по-прежнему много бродил по улицам, восхищаясь городом с грустью отвергнутого поклонника. Писать он сейчас вообще ничего не мог.

Даже в доме с ящерицами он все реже улавливал дыхание той, скрытой и для него главной жизни города, все реже чувствовал присутствие теней или снов этого дома. Он знал, их не стало меньше, просто он их теперь не чувствовал, и они не замечали его.

Он забрел туда как-то вечером, в позднее время, и, свободно уже ориентируясь в темноте, выбрался на балкон. Под ним медленно, еле заметно покачивался фонарь, освещая широкий круг перед дверью дома и подножья деревьев; их кроны и набережная скрывались в душноватой тьме августовской ночи. Под фонарем билась бабочка, шелест крыльев казался громким; потом она делась куда-то, и тишина стала полной.

Фонарь перестал качаться, темнота замерла, словно приготовившись слушать, и неожиданно для себя он заговорил, обращаясь к этой чуткой, окружающей его темноте, заговорил негромко, не думая, что говорит, слова сами собой срывались с его губ:

— Город мой, ты прекрасен и непонятен, о город! Ты хранишь еще отзвуки забытых языческихговоров, еще мстят тебе призраки болотных огней и старинного чухонского колдовства, погребенные под мостовыми, под многими слоями камней, под

мертвой коркой асфальта. Еще слышны в безлунные ночи стук карет, еще ветер приносит запахи моря, скрип уключин и хлопья парусов. Город, я пленник твой и твоя собственность, я частица твоей души, подари же мне хоть один, лишь один из твоих снов, покажи хоть одно из хранимых тобой видений!

Эхо слов его стихло. Казалось, темнота его разглядывает тысячами внимательных глаз.

— Bravo! Bravo, поэт, — произнес внизу мелодичный голос; гулкая пустота дома наполнилась женским смехом и рукоплесканиями.

Внезапно и быстро они оборвались, звонко повторенный темными стенами, умолк последний хлопок. Стало опять тихо, и опять беспокойная бабочка трепыхалась, шурша о стекло фонаря. Огромные пятнистые тени крыльев металась в стволах и ветвях деревьев, заставляя их тоже метаться, и под ними ничего не было видно.

— Кто вы? — спросил он тихо.

Снова раздался веселый смех, но вслед за ним голос сказал совершенно серьезно:

— Одна из теней этого города, один из его снов. Слушайте же, поэт: ваша просьба будет исполнена. Завтра вечером, здесь, ровно в восемь — и будьте точны, поэт!

К дому он добирался далеким кружным путем и спать лег перед рассветом. Ему плохо спалось, сквозь дремоту он чувствовал наступление утра, и мерещились беспокойные сны. Рассвет представлялся чем-то одушевленным, со множеством серых когтей, сдирающих остатки темноты с города, и по улицам разбегались запоздалые мыши, спеша спрятаться от белевого чуднца.

День он провел, не выходя на улицу, ожидая сумерек с нарастающим возбуждением. Окна в доме напротив зажигались и гасли в надлежащем порядке, город исправно показывал время. Наконец, весь первый этаж погас, это значило — половина восьмого, и поэт отправился в путь.

По дороге, пока он шел вдоль пустынной набережной, возбуждение его улеглось, и, отворяя уже привычную для себя дверь, он испытывал почти апатию.

За дверью виднелся свет — на первом же марше лестницы, по краям верхней ступеньки, неподвижным прозрачным пламенем горели две свечки. Он прошел между ними, и на следующем марше горели еще две свечи — эти пары огня пропускали его и вели наверх, к третьему этажу.

На площадке была полутьма, в одной из дверей воздух слабо светился и смутно рисовалась высокая темная фигура.

— Добро пожаловать, юный поэт, — проговорил гортанный,

чуть каркающий голос, и тем не менее довольно приятный. — Профессор Вольф, — представился он и жестом пригласил гостя в освещенный проем.

Поэт рассмотрел не сразу, что профессор курил трубку, и был в первый момент озадачен еле видимыми багровыми отсветами на его лице. Тот вынул изо рта трубку и, отступив из проема, оставил в нем облако белого дыма. Перешагивая порог, поэт обратил внимание на странную вещь, в общем мелочь, над которой, однако, впоследствии размышлял: подходя к дверям, он видел едва освещенное пространство, когда же вошел внутрь, комната была залита ярким и теплым светом, здесь горело не менее двух десятков свечей. От их полыхания слегка кружилась голова, и поэту стало казаться, что он видит все происходящее, и хозяйина, и себя самого, со стороны, вернее с разных сторон, словно ему удавалось глядеть сразу во много зеркал, и ощущение это немного беспокоило и немного пьянило, он так и не свыкся с ним и чувствовал странность его до самого конца вечера.

Как бы издали он видел хозяйина, его бархатную черную куртку и сверканье перстня на пальце, как бы издали видел себя самого, в сером свитере, и, поклонившись профессору и опускаясь в предложенное ему кресло, он дивился тому, что со стороны выглядел непринужденным и очень учтивым, ибо знал за собой угловатость в движениях, а в присутствии новых людей — и неловкость. Впрочем, у него не было уверенности, что сейчас он делает все по своей воле, — его поведение скорее напоминало сон, где все происходит само собой, где можно себя отдавать во власть незримых течений и плыть, куда вздувается.

Он пытался взглянуть в лицо профессора, но видел только глаза, напряженно блестящие, и чем больше старался увидеть его лицо, тем яснее почему-то видел самого себя. И лишь постепенно, позже, специально не глядясь, составил он представление о лице профессора. Смуглое, все в глубоких морщинах, окаймленное длинными, до плеч, волосами, черными, но пронизанными яркими серебряными нитями седины, оно поражало соединением женских и мужских черт. Несмотря на почтенный, и даже очень почтенный возраст, это лицо невозможно было назвать ни старым, ни старческим — а скорее всего, древним.

Давая время поэту освоиться, профессор пускал клубы дыма, и они, принимая форму страшных существ — не то рыб, не то ящериц, — плыли хороводом под потолком и, извиваясь, выползали на волю, через открытую на балкон дверь,

Над креслом профессора, низко, повис серый пласт дыма, похожий на гигантскую рыбку-ската, с длинным змеевидным хвостом и хищной массивной мордой, ее широкие плавники-крылья медленно колыхались. Профессор, запрокинув голову, направлял к рыбе всё новые клубы дыма, они к ней прилипали, и рыба становилась плотнее, в ней чувствовалось все больше силы, и движения плавников и туловища делались все более упругими. Наконец, эта игра профессору надоела, он отложил трубку и небрежно пустил к окнам тонкую струю дыма, словно указывая рыбине путь — и она вдруг поплыла, упруго и плавно изгибая лоснящееся брюхо, колыхая мощными плавниками. Описав наверху точный круг, она выскользнула в балконную дверь, и поэт облегченно вздохнул, ибо готов был поклониться, что, проплывая над ним, она сверкнула живыми, видящими и злыми глазами.

Трубка погасла, профессор ее вытряхнул и тут же принялся набивать снова, ловко погружая в нее тонкие нити золотистого табака и тщательно их уминая.

— Итак, юный поэт, вы влюблены в этот город, вы хотите постигнуть его красоту, вы мечтаете о гармонии? О, поэт, дело тут не в одной гармонии, красота эта сложнее. Вплетите в ткань вашей гармонии чуть заметную нить уродства, тончайшую нить безобразия, и поиграйте с нею — вот тогда вы начнете кое-что понимать. Пусть эта нить то терется, то появляется снова, и не одна, а сразу две-три нити, и вдруг они исчезают, уходят вглубь. Они не видны больше, но вы знаете, в глубине они существуют, их присутствие уже не забыть — поиграйте этим, поэт! Вот тогда ткань ваших стихов будет всех завораживать, и все станут повторять: колдовство... А вам не знакомы, поэт, такие стихи:

В беспутстве соблюдая чувство меры,  
И гнусность доведя до красоты,  
Они могли бы нам являть примеры...

— Не знакомы? — он зажег свою трубку, и к потолку потянулся столбик густого дыма.

Лазурный фон небесной пустоты  
Обогащен красою их несходства  
Господством в каждой — собственной черты.  
Святых легко смешаешь, а уродство  
Всегда фигурно, личность в нем видна,  
В чем явное пороков превосходство...

Сделав паузу, он отправил несколько дымных колец в угол комнаты, и поэт, словно повинувшись повелительному приглашению, обернулся.

На выступе голландской печи, на фоне нарядных ее изразцов, мерцающих огнями свечей, сидело нечто серое, птицеподобное, отвратительное. Туловище и ноги прятались в серых складках — о, ужас, это была не ткань, а кожа опавших перепончатых крыльев, выше затылка торчал уродливый горб, и вислый затылок повторял форму горба; огромные уши, каждое как отдельное лицо какой-то нечистой твари, почти закрывали хищный нос и розоватые плотоядные губы; по шершавой коже чудовища то и дело пробегали морщины, будто его изнутри корежили судороги, лицо искажалось гримасами страдания и злобы.

Словно издалека доносился голос профессора:

Но общность между ними есть одна:  
Как крючья вопросительного знака,  
У всех химер изогнута спина...

— Вы думаете, юный поэт, можно без конца шлифовать один и тот же алмаз гармонии, и это будет искусство? Нет, поэт, искусство — та же алхимия. Положите этот ваш алмаз в самый прочный тигель, разведите под ним жаркий, сжигающий все огонь и добавьте к алмазу каплю ядовитой и смрадной слюны этой твари!

По коже химеры опять пробежала судорога, лицо сморщилось, как от сильной боли, и ощерился рот, готовый кусать, — поэт же поймал себя на том, что, испытывая страх и отвращение, не способен все же глаз отвести от химеры, жадно следит за каждой складкой пупырчатой кожи и ждет очередной конвульсии с омерзением и восторгом.

— Найдите в себе крупинцы немного темного страха, жестокости, невиданного порока, неопишуемого уродства. Сплавьте, поэт, их в тигле, если у вас хватит сил, сплавьте с алмазом гармонии! И вы создадите кристалл, привлекающее которого нет для людей, они им будут восхищаться веками, они за него отдадут свои души, пойдут за ним в воду, как крысы за дудочкой. Это будет великий соблазн и колдовское искусство!

Он замолчал, прислушиваясь, — с лестницы доносились легкие, торопливые шаги.

Химера забеспокоилась и начала расправлять крылья, пытаясь взлететь, но не успела — она стала бледнеть, расплзаться, превратилась в отдельные серые клочья и исчезла совсем, растворившись в воздухе.

— Ну конечно, я опоздала, — донеслось из проема двери. Это было сказано негромко, по-домашнему, и поэт сразу узнал голос, пригласивший его вчера, голос, как казалось ему сейчас, красивей и мелодичней которого нет и не может быть на свете.

И опять, как в первый момент, когда он вступил в эту комнату, поэт почувствовал, что внезапно что-то здесь изменилось — все как будто оставалось на месте, и все-таки один мир мгновенно сменился другим. Огни свечей стали теплой и спокойней, они мягко играли в синих цветах изразцов, подернутых паутиной трещин; стены комнаты не тонули уже в темноте, они стали видны и, приблизившись, уютно золотились обоями. Дым профессорской трубки тонкой струйкой плыл к потолку и исчезал там бесследно.

И опять поэт чувствовал, как разумная его воля уходит, растворяется вместе с дымом, и испытывал наслаждение от возможности непосредственно и безраздельно отдаваться во власть внутренних глубинных течений, бессознательных импульсов.

Он поднялся и быстро пошел к двери, спеша встретить ту, что должна была сейчас войти, и зная заранее, что она прекрасна и что он сразу будет отчаянно влюблен, да впрочем, он уже был влюблен, а она, словно это само собой разумелось, задержалась на миг в дверях, поджидая его, а после шагнула навстречу и, радуясь ему, протянула руку. Его заворожило тепло и изящная простота этой руки, и у него не было сил отпустить ее, но это и не потребовалось, потому что, опираясь на его руку, она отправилась с ним в глубь комнаты не спеша и тихо, будто они встретились после долгой разлуки.

Профессора он видел вдалеке, словно тот отплыл от них со своим креслом, и неясно было, услышит ли он, если с ним попытаться заговорить.

Но лишь только зазвучал ее голос, кресло профессора оказалось рядом, и они теперь сидели втроем, близко друг к другу, и вокруг них на своих восковых стебельках трепетали язычки пламени.

— Надеюсь, Вольф, вы не пугали поэта вашими фокусами?

Профессор сосредоточенно пускал к потолку кольца дыма, и она обернулась к поэту:

— Вы догадались, что здесь нет ничего сверхъестественного? Вольф — великий гипнотизер. Теперь его мало кто знает, а когда-то его имя — Вольф — не сходило с афиш.

— Да, да, — педантично и вяло подтвердил профессор, — с афиш Петербурга, Берлина, и Стокгольма, и Вены... впрочем, это все пустяки, — он слегка оживился, — настоящая работа там, где афиш не бывает. Смотрите!

Он поджал под себя ноги, сел по-турецки в кресле и запылтел трубкой, и трубка его вдруг вытянулась так, что вряд ли он смог бы дотянуться рукой до ее конца, глаза сузились и стали совсем раскосыми — вылитый Чингисхан, подумал

поэт, — а из трубки начало выползает что-то черное, тянущееся вверх в столбе дыма. Зазвучала тягучая мелодия, дым рассеялся, и стала видна черная большая змея — блестя роговыми чешуйками, она медленно раскачивалась под музыку.

Потом все исчезло опять в клубках дыма, и когда он рассеялся, профессор сидел в кресле, с потухшею трубкой, и выглядел очень усталым — лицо его посерело и руки слегка дрожали.

— Вы сегодня в ударе, Вольф. На меня ваш гипноз действует редко... Но умоляю вас, будьте разумны.

— Хорошо, хорошо, конечно... Только ты ошибаешься: это был не гипноз, тут была настоящая королевская кобра. Если бы я в тот момент умер, она осталась бы в этом доме. Да, да, юный поэт, в этом доме может случиться все, что угодно, здесь перекрещиваются дороги разных миров, — он полузакрыв глаза и говорил очень тихо, — но мы здесь в последний раз. У меня уже мало сил... мне помогал другой, более сильный, во имя старой вражды... теперь это кончилось.

Поэт мало что понял из этой речи, но почувствовал, что за ней кроется нечто серьезное и тяжелое для профессора. Тот же закрыл глаза полностью и произнес медленно и отчетливо:

— Оставьте меня ненадолго, — он кивнул в сторону балкона, — я отдохну и покажу вам мою коллекцию.

Под балконом фонарь не горел, и кругом все было темно. Поэт вглядывался в черные воды реки — в них плавало прозрачное отражение дворца с того берега и соседних домов. Дома уже спали, лишь несколько окон желтыми пятнышками пробивали маслянистую воду.

За спиной его полыхали свечи, он чувствовал их тепло, и в осколках стекла, повисших кривыми зубцами в раме балконной двери, отражались мягкие кисти пламени и за ними сгорбленный силуэт профессора. Поэт пытался найти в отражении другой силуэт и другое кресло, и никак ему это не удавалось, пока он внезапно не увидел перед профессором два пустых кресла. Моментапно его охватило неприятное оцепенение, и в воображении пронеслось столько темных мыслей и подозрений, что он даже успел удивиться своей готовности ожидать недоброго, — неужели все это гипнотические проделки профессора? Почему тот не назвал ее по имени? Неужто это... всего-навсего фокус? А как же ее рука — теплая, ласковая? Нет, нет, ни за что...

Резким усилием преодолев свою оцепенелость, он обернулся — она шла к нему и была уже рядом, и он видел, она понимает его беспокойство, — и, как в первый миг ее появления,

свечи вспыхнули ярче, а на улице, в теплоте ночи, стала слышна тихая музыка.

Они стояли, опершись о перила, и шероховатость чугунной решетки приятно холодила руки. Пятнышки окон покачивались и уплывали по черной воде, словно река ублаживала отражения не уснувших еще домов.

— Слышишь музыку? — она наклонила голову к его плечу и говорила почти неслышно, будто опасаясь что-то разрушить в молчании города. — Там бал, и нас с тобой ждут.

В окнах дворца напротив голубыми и розоватыми светлячками загорались свечи, их становилось все больше, и в их свете скользили тени — танцующие пары.

— Я хочу на бал, мы пойдем? Хоть ненадолго. А после гулять... или к нам... или к тебе. Мне кажется, ты должен жить где-нибудь высоко, в башне, ближе к луне и звездам.

Огни дворца разгорались все ярче, и пение скрипок доносились теперь отовсюду и наполняло ночь, словно в спящем городе начинался таинственный карнавал. Время остановилось и стало вдруг осязаемым, казалось, они сквозь него плывут, взявшись за руки, как в теплом фосфоресцирующем море.

Профессор их ждал, уже успев отдохнуть, и глаза его прорывались напряженным блеском. Пригласив их за собой нетерпеливым движением, он пересек освещенное пространство и шагнул в черноту открытой двери, ведущей в соседнюю комнату.

Он остановился в дверях и поднял повыше подсвечник, где ярким и белым пламенем горела пара тонких свечей. Пятнами, будто нехотя, отползала в углы темнота, и за ней проступало золотое мерцание — источник его поэт разглядел не сразу — мерцание рам висевших по стенам картин.

— В этом доме, юный поэт, жил еще мой прадед, и уже тогда здесь были картины.

Они вслед за профессором шли вдоль стен, она опиралась на руку поэта, и он шел осторожно, ощущая ее прикосновение как хрупкую драгоценность.

Пламя свечей вытягивалось все выше, и стало светлее. В темном золоте рам трепыхались отблески свечек, а картины сияли темно-красными, изумрудными и удивительной прозрачности голубыми красками. С полотен смотрели мужчины в камзолах и кружевах, во фраках, в мундирах, и женщины с ясными ласковыми глазами, с покатыми плечами, в открытых платьях, — лица грустные и веселые, внимательные и безразличные, но все поразительно спокойные и приветливые. И у поэта мелькнуло тоскливое чувство — не зависть, а смутная горечь, будто

среди этих лиц он когда-то жил, но это давно уж забыто и утратно навсегда.

— Смотрите, смотрите же, юный поэт. Загляните, поэт, в эти лица, встретитесь с ними глазами! Видели вы в своей жизни хоть секунду такой безмятежности? Видели хоть раз человека, в чьем лице было бы столько покоя? Вам ли тягаться в гармонии с ними, окруженными ею с детства?

Они перешли в следующую комнату, и здесь тоже висели картины. Музыка доносилась тихо, и казалось, портреты внимательно к ней прислушиваются.

Поэт бережно вел свою спутницу, обходя выбоины в паркетe, и радовался доверчивости, с которой она опиралась на его руку. Так они миновали еще один зал с картинами, и к поэту закралась мысль, которую он всячески отгонял, ибо она не вязалась с состоянием блаженного парения, в котором он пребывал, с безграничной нежностью к его спутнице, и все-таки она, эта мысль, прочно угнездилась в глубине его сознания: откуда здесь столько картин, и как они могли сохраниться, в общем — не дурачит ли профессор его опять гипнозом?

Стыдась этой мысли, он не мог от нее отделаться и испытывал непреодолимое желание потрогать какое-нибудь из полотен, инстинктивно предполагая проверку на ощупь вполне убедительной.

— Взгляните, юный поэт, взгляните на эти ниточки трещин, — раздался рядом каркающий голос, и тонкие пальцы профессора коснулись холста, — только старая живопись излучает покой. Не успевшая потрескаться краска будоражит, сеет смятение, электризует.

Поэт тоже протянул руку, все еще опасаясь, что его пальцы пройдут сквозь полотно беспрепятственно, ничего не встретив.

— Смелее, смелее, юный поэт, — подбодрил его профессорский голос.

Поэт ощутил плотность слоя масляной краски, прохладу ее и приятную гладкость, и действительно, от нее исходило, проникая сквозь кончики пальцев, настроение невозмутимости и покоя.

Это действие было настолько сильно, что, убрав от холста руку, он почувствовал себя беззащитным, и тотчас ему стало казаться, что со спины на него смотрят чьи-то недружелюбные и любопытные глаза.

Он оглянулся — у дальней, плохо освещенной стены улавливалось шевеление. Его спутница это тоже заметила, поняла он по тому, как напряглась вдруг ее рука.

Всматриваясь уже вместе, они разглядели большой, окаймленный тяжелой рамой портрет. Рука ее вздрогнула и напру-

жинилась еще больше, а у поэта подступивший уже было гадкий страх сменился радостью и благодарностью к ней — если ей тоже не по себе, значит, какая бы здесь бесовщина или злые чары ни действовали, она им чужая, она с ним, они вместе. Желая ее защитить, он обнял ее за талию и почувствовал, как к ней возвращаются спокойствие и легкость.

Профессор удивленно к ним обернулся.

— Он шевелился, — сказал поэт, прося у нее взглядом поддержки.

— Он шевелился, — подтвердила она, как показалось поэту, чуть весело.

— Все юные слишком мнительны, — произнес профессор высокопарно и с усмешкой, обращенной скорее к портрету, чем к ним, — вам обоим пора уже знать, что живопись при свечах оживает. Если вам кажется, что портрет покидает раму, — словно читая лекцию на ходу, он прошагал к портрету, и его краски засияли от огней свечек, — нужно пристально поглядеть ему в глаза, и все вернется на место.

Поэту опять почудилось, что он обращается не к ним, а к портрету.

Там был изображен перс не перс, индус не индус — поэт не очень-то разбирался в подобных вещах, — какой-то восточный повелитель, и поэт сразу ощутил исходящую от него мрачно-новатую силу и властность.

Профессор поднес подсвечник поближе. Вспыхнули на полотне драгоценные камни на поясе и на рукояти сабли, заблестело золотое шитье одежды, засиял крупный, кровавого цвета рубин в белоснежной ткани чалмы, и сверкнули угольным блеском глаза портрета — чуть раскосые, умные и жестокие.

— Черный скрипач! — проговорил поэт, не зная сам почему, шепотом.

Рассеянно, как бы сомневаясь в существовании поэта, профессор поглядел на него, а может быть, сквозь него.

— Могучий дух, разрушитель, мятежный и страшный... Давний враг и союзник, его путь скоро кончается.

Поэт испытывал неловкость, не понимая всех этих слов и чувствуя, что они не предназначены для его ушей. И его спутнице они тоже, видимо, были не очень ясны, к тому же и неприятны, и она недоуменно нахмурилась.

Профессор же продолжал все так же рассеянно:

— Теперь я с вами прощаюсь. Идите и будьте счастливы.

В ответ она, вместо прощания, повторила фразу, сказанную уже сю раньше:

— Умоляю вас, Вольф, будьте разумны.

Она в темноте уверенно вела поэта за руку к выходу, спеша, запыхавшись, и на лестнице, опираясь на его плечо, говорила возбужденно и тихо:

— Как все странно и весело: я иду с тобой на бал. Будет музыка, много людей, и мы с тобой вместе, вдвоем. Я хочу танцевать с тобой... ах, я и забыла, разве поэты танцуют... но это неважно, ты все равно будешь со мной танцевать.

На улице было прохладно, и в руке ее чувствовалась легкая дрожь.

— Милый, скорее, скорее! Нам нужно успеть к двенадцати. Ты простишь ведь мне эту прихоть? Мы явимся ровно в двенадцать!

Они шли под деревьями, по мягкой сухой земле, и она бесшумно пружинила под ногами.

Но скоро, направляясь к мосту, они миновали последнее дерево, и первые же шаги по асфальту вторглись в тишину механическим жестким звуком. К нему на мосту прибавился режущий ухо скрип рассыпанного здесь, как назло, тонким слоем песка. Было нечто неуклюже-неделикатное в их неумении перейти с одного берега на другой, не растревожив покоя ночных набережных.

На нее это тоже неприятно подействовало, и поэт чувствовал неловкость и даже невольную свою виноватость за внезапно явленную реальность мира.

Что-то вдруг изменилось. Рука ее лежала по-прежнему на его руке, но в прикосновении ее ощущалась теперь осторожность и напряженность. Молчание, только что бывшее продолжением разговора, стало мучительным.

Они перешли мост и шли молча по другой стороне реки, шли как-то скучно и деловито, и пропасть беспричинного отчуждения углублялась все больше.

Она сделала попытку, как подумалось поэту, из жалости, исправить положение:

— Что же вы молчите, поэт? Поговорите со мной о чем-нибудь.

Но прозвучало это капризно и по-чужому, и поэт, злясь на себя и за то, что слишком отчетливо видит ее беспомощность, и за собственную скованность, не мог больше произнести ни слова.

Молчание стало невыносимым, и для обоих было спасением приближение из темноты фасада дворца, смутно белеющего колоннами.

Окна были совершенно темны, звуков никаких не было, и, недоумевая, откуда там могут быть люди, или тем более праздник, поэт все же хотел повернуть к подъезду.

— Нет, нам не сюда, — поправила она его устало и тихо, но в голосе ее скользнул чуть заметный оттенок ласковой насмешливости, и по тому, какую теплую радость вызвал в нем этот ничтожнейший намек на близость, поэт понял, как много он потерял за последние десять минут.

Они обогнули дворец и через садик прошли к боковому флигелю, и там, во втором этаже, окна светились.

Поднимаясь по лестнице и затем готовясь нажать кнопку звонка, она смотрела на поэта смущенно, словно не решаясь заговорить.

— У нас нет сейчас времени, я объясню все после... через десять минут, не позже, вам нужно будет вспомнить о неотложном деле и удалиться. Постарайтесь, чтоб это вышло естественно... я потом объясню.

Эти десять минут в памяти у поэта остались тревожным и сбивчивым сном. Много народу и слабый свет, большая длинная комната перегороджена резной аркой, подпертой витыми столбиками; под настенной лампой негромко читали вслух какую-то книжку, а в другом конце при свечах пили чай. Их усадили за столик, она безучастно оглядывала присутствующих, иногда вяло кому-нибудь улыбаясь, и, видя ее в профиль, поэт поразился, до чего она похожа сейчас на усталую птицу. Он пытался отогнать от себя это впечатление, считая его кошмарным, но она время от времени бросала тревожные взгляды по углам и на дверь, и от этого ее сходство с птицей усиливалось.

Чувствуя, что он ей чем-то мешает, поэт собрался с духом, как если бы готовился прыгнуть в холодную воду, встал и сделал шаг к двери. Она благодарно ему кивнула:

— Спасибо. Не огорчайтесь, ничего худого не случилось... Я дам знать о себе.

Пробормотавши хозяйину свои невнятные извинения, поэт вышел на улицу. Он брел вдоль набережной, касаясь рукою перил, и холод их и ощущение твердости гранитных плит под ногами немного его успокаивали, помогая остановить бесконечную вереницу мыслей, сплетающихся в нервные путаные клубки.

Глаза его постепенно привыкали к темноте. Ветер усилился, он будоражил кроны спящих деревьев, шумевших в ответ тоскливо и сонно, и заставлял корчиться отражения домов на воде. Они напоминали сейчас лица, чудовищные, ехидно гримасничающие: их окна десятками глаз поочередно шурились, вытягивались в ниточки и открывались снова, будто подмигивая; двери, как рты, широко разевались, глотая воздух,

захлопывались, и затем ритмично приоткрывались, что-то прожеывая.

Понимая, что не сможет уснуть, он, несмотря на усталость, проснонялся всю ночь по городу. Он удивлялся тому, что не замечал раньше, как похожи дома на прожорливых многоглазых чудищ, как злобны и чутки раскрытые пасти дверей, как терпеливо подстерегают они редких прохожих, как беззвучно и ловко их втягивают в себя и глотают.

В сознании его возникали необычные сочетания слов, и даже целые строки, яркие, с непривычным и красивым звучанием. Он их даже не старался запомнить и, придя на рассвете домой, не пытался записывать, а свалился в постель, не раздеваясь, и проснул чуть не весь день.

Вечером, не полностью очнувшись от сна, неуверенно, словно пьяный, он выбрался снова на улицу — и остатки сопливости мигом улетучились: город открывался ему по-новому, жутковатыми и манящими картинками, которые сами соединялись со звуками в прочный сплав, в стихотворные образы, хоть и мрачные, но притягивающие силой.

Ветер раскачивал фонари, и округлые мягкие линии, границы света и тени, плавно скользили вверх-вниз по стенам домов, то высвечивая окна желтоватым блеском, то погружая их в темноту. Это движение всегда завораживало поэта, но только сейчас он понял, что напоминали ему эти качающиеся тени — очертания крыльев летучей мыши. Легионы гигантских летучих мышей приносили ночь в город и взмахами черных бесшумных крыльев усыпляли дома.

Поэт перешел почти целиком на ночной образ жизни. Каждый день, вернее, каждую ночь у него возникали новые строки, или даже целые стихотворения, он иногда их записывал на клочках бумаги под фонарями, иногда же хранил в памяти до возвращения домой.

В городе все для него стало живым — фонари и дома, каналы, колокольни, мосты — все обрело способность чувствовать и страдать. Поэт познавал один из соблазнов города: стоит его очеловечить, наделить мечущейся душой его стены — и любая трещина в штукатурке или выбоина в граните становится болезненной раной, и уже невозможно избавиться ни от ощущения сопричастности, ни от чувства вины, ни от режущей жалости. Боль наполняла каменный лабиринт города, и колокольни ночами, словно воздетые руки, тянулись к небу и молили об избавлении.

Тому, кто так ощущает город, особенно страшен рассвет. Кончается ночь, и по мягкой земле бульваров, меж клумб и мокрых скамеек тяжело шлепают жабы — это старух покидают

сны; потом серые когти рассвета раздирают покров темноты, царапают стены, скользят по стеклам; взрывается на востоке небо, и убитая взрывом луна всплывает мертвой рыбой; исполненскими клинками заря ранит небо, окрашивая его кровью.

У поэта изменилось даже восприятие цвета города. Если раньше весь город в целом казался ему серым и голубым, то теперь его преследовало ощущение больной желтизны:

На медных досках тротуара,  
Шурша, разлегался лунный шелк,  
Пятнист от лунного отвара,  
От лихорадки лунной желт.

Мой шаг, тяжелый, как раздумье  
Безглазых лбов, безлобых лиц,  
На площадях давил глазунью  
Из луж и ламповых яиц.\*

Заметим, что наш поэт был неопытен и несколько наивен, но отнюдь не глуп, и прекрасно понимал, что с ним происходит. Перечитывая днем, на свежую голову, свои ночные стихи, он чувствовал, что по большей части это неплохие стихи, но мало в них света, и что столь любимый им город, оставаясь изысканно красивым, рисуется ему все более зловещим и мрачным. Но что он мог с этим поделать — ведь поэт идет туда, куда ведут его звуки и строчки.

А кроме того, он надеялся на скорую благоприятную перемену, и на эту тему у него возникло даже что-то вроде небольшой теории. Он вспоминал часто и подробно тот вечер, открывший ему путь внутрь города, и воспринимал профессора и его родственницу — он почему-то решил, что она ему внучка или племянница, — как хранителей духа города, и если профессор был воплощением мрачного колорита, то она, сама собой разумелось, была хранительницей всего светлого. И когда он ее найдет, все переменится, и он создаст стихи, равноценные теперешним, мрачноватым, но легкие, радостные, устремленные к свету.

Он был убежден к тому же, что влюблен в нее до безумия, и, по общему свойству юности, из его памяти улетучилось все неловкое и неприятное, а осталось лишь впечатление волшебства и полного счастья. Его не смущало даже, что он не знал ее имени, от этого она становилась еще прекраснее; главное, она обещала подать ему весточку, и, будучи человеком доверчивым — а отчего бы и не быть поэту доверчивым, — он ожидал ее в самом скором времени.

\* Р. Мандельштам. Из цикла «Песни ночного города».

Но дни шли за днями, и ничего не случалось. Прошло уже больше месяца, наступил октябрь. Стало холодно, ночной ветер кружил буранами листья кленов, а ожидаемая в жизни поэта светлая полоса от него удалялась, становилась все призрачнее.

Воображение поэта наполняло город больными, страшными образами, в ночных улицах бродили кошмары. В черные окна, затопляя дома, наливался ядовитый молочный свет фонарей; исполнинские змеи каналов опоясали город, затаились, выжидавая чего-то, и осторожно звенели по ночам чешуей; по пустынным рельсам скрежетал колесами одинокий трамвай, и кондуктор с белым пятном вместо лица, приплясывая, корчил рожи случайным прохожим. Город мстил поэту за что-то, скорее всего, за то, что он посмел влюбиться в женщину.

Поэт начал ее искать, хотя знал, шансы его в этом деле невелики. Он целыми днями болтался по улицам, надеясь встретить ее, но это не дало ничего: он мерз, скучал, стал узнавать в лицо многих жителей окрестных кварталов, успевших ему опротиветь, — и только.

Стихов он сейчас не писал: мало того, что ему неприятно было погружаться все глубже во тьму, гораздо больше его испугало то, что он обнаружил в разных своих стихах одни и те же сочетания слов и почти одинаковые строчки, круг образов начинал повторяться; нет уж — мрак, да еще штампованный — такую безвкусицу он себе не позволит, лучше вообще больше никогда и ничего не писать!

Оставалась еще одна возможность, ее он приберегал на конец: пойти к тем людям, во флигеле дворца, куда она его приводила. Правда, он плохо себе представлял, как будет там объяснять, кто он такой и чего хочет. Но других путей не было, и однажды вечером он направился к набережной. Его память не сохранила даже имен хозяев, и он дорогой обдумывал, как ловчее начать разговор: «вы, наверное, меня не помните» — что-нибудь вроде этого.

Дверь открылась, он был встречен улыбкой очаровательного голубоглазого существа, и только хотел произнести свою нелепую фразу, как его уже потянули за руку:

— Наконец-то пришел! Почему все опаздывают?

Пробираясь за своей провожатой по темному коридору, он думал, как и куда он мог опоздать, и тут же забыл об этом — был опять приглушенный свет, было много народу, но сразу, не успев еще оглядеться, он почувствовал прикосновение холодной и спокойной тоски, в любой толпе сообщающей, словно с непрошеной равнодушной любезностью, что единственного нужного вам человека в этой толпе нет.

В дальнем углу кто-то, держа на коленях магнитофон и крутя ручки, извлекал из него музыку, и одна пара медленно танцевала; у входа, в полутьме, на диване несколько человек очень тихо между собой разговаривали; посредине же комнаты, под деревянной аркой, худощавый и смуглый юноша, в окружении нескольких зрителей, настраивал гитару.

Голубоглазая провожатая его бросила и улетила в прихожую еще кого-то встречать, а он стал искать глазами хозяина. Тот сам подошел к нему, и приветливое лицо, улыбка, внимательные глаза внушили было поэту надежду, но сказать он ничего не успел, его усадили поблизости от гитариста, познакомили с сидящими рядом гостями, чьи имена он и не пытался запомнить, и хозяин тотчас исчез.

Молодой человек в желтом свитере и с яркой бутылкой в руках, пробиравшийся мимо, стараясь не наступать на ноги, задержался у кресла поэта, задумчиво поглядел на него и, наклонившись, оставил в его ладонях белую чашку с красным густым вином. Уловив, что зевать тут нельзя, поэт спросил его, минуя всякие предисловия:

— Вы не знаете профессора Вольфа?

— Вольфа?.. Я знаю его племянницу.

— Она будет сегодня?

— Слишком трудный вопрос, — улыбнулся тот виновато, — она как туман, незаметно приходит, незаметно уходит, — он закончил фразу уже на ходу, направляясь к танцующим, и в руке одного из них появилась тоже белая чашка, не прерывая танца, они поочередно из нее прихлебывали.

Гитарист перестал возиться со струнами и опустил гитару на колени.

— Тихо, новая песня, — сказал кто-то в сторону магнитофона, и его сразу выключили. За открытым окном прошуршала легковая машина, и стало совсем тихо.

— Замерзшие корабли, — произнес гитарист задумчиво, так, словно был здесь один и разговаривал сам с собой.

Из прихожей проникла в комнату женская фигурка, она бесшумно, но решительно скользила к центру.

Гитарист, по-прежнему ни на кого не обращая внимания, начал перебирать струны:

Вечер красные льет небеса  
В ледяную зелень стекла,  
Облетевшие паруса  
Серебром метель замела \*.

\* Здесь и далее — стихотворение Р. Мандельштама «Замерзшие корабли».

— Вам везет, ваша Вольф пришла, — шепнули поэту на ухо. От волнения, от восторга и от смущения, что не узнал ее издали, он растерялся и сидел в своем кресле не двигаясь.

Фигурка подошла ближе — слава богу, он не успел к ней броситься — это была не она!

Девушка в черной шали, с красивым и милым лицом, не сводя с гитариста глаз, легко, беззвучно села на пол, прильнув к витому деревянному столбику.

И не звезды южных морей,  
И не южного неба синь —  
В золотых когтях якорей  
Синева ледяных трясин.

Не она... как же это?

Свет лампы стал тусклым и желтым, и сделалось душно.

Девушка обвила колонну руками и глядела заворуженно и грустно на рассыпанную по полу бахрому своей шали.

Облетевшие мачты — сад  
Зимний ветер клонит ко сну.  
А во сне цветут паруса,  
Корабли встречают весну.

Ему казалось, он вот-вот задохнется. Это уж слишком...  
Город над ним издевается... скорее, скорее отсюда.

И синее небес моря,  
И глаза синее морей,  
И краснея, горит заря  
В золотых когтях якорей.

На дворе было сухо и холодно, улицы коченели от первых осенних заморозков. Дома потеряли теплые оттенки, и в мерцающем свете ртутных светильников были все одинаково мерзлого жемчужно-серого цвета. Окна отбрасывали на асфальт зайчики, перекошенные четырехугольники лилового света, словно от фантастического ночного солнца.

Он шел быстро, будто куда-то спешил, и холод съедал звуки его шагов.

Какой большой город... как брошенный дом зимой... сначала остывают в нем печи, ложатся ледяные узоры на стекла, потом и они исчезают, в доме морозно и сухо... наконец, замерзают звуки, скрипы и шорохи пустого дома: дом мертв... нет, это слишком страшно, он же решил не знаясь больше с кошмарами... Город — как жемчуг, если жемчуг не носят, если он не касается человеческого тепла, жемчуг медленно умирает... город медленно умирает, как жемчужное ожерелье

в шкатулке. Ах, это тоже страшно, лучше просто — замерзшие корабли... придет весна, растопится лед, поднимутся паруса, и поплывут корабли.

Одурманивая себя подобного рода мыслями, он вышел к темной громаде спящего собора. Холодная, молочного цвета луна висела в лиловом небе, и тень собора, огромная, причудливо перекошенная, лежала на площади. Поэту в ней помещалось что-то странное, он отошел подальше и стал рассматривать купол — все как будто на месте... Только фигуры архангелов — странно опустились их крылья, странно изогнуты спины...

...Как крючья вопросительного знака,  
У всех химер изогнута спина...

Он словно слышал рядом каркающий голос профессора — да, по всем углам на соборе сидели химеры.

Поэт не стал их разглядывать. Он внезапно обрел хладнокровие и скорым шагом, будто шел по делам, отправился к дому. По пути он спокойно рассуждал о своем положении, так, для порядка в мыслях, хотя, собственно, все и так было ясно.

Город мстит ему. И ее не отдаст. И это справедливо, пожалуй. Почему он рассчитывал на нее? Со своими кошмарами он должен справиться сам, только здесь это вряд ли удастся. Значит, нужно уехать. Насовсем? Нет, зачем же. Два раза этой болезнью он болеть не будет. И чем скорее, тем лучше, хоть завтра.

Звука собственных шагов он не слышал, и опять подумал, что их приглушает холод. А может, и не в холоде дело — он уже не принадлежит городу и стал для него тенью. А разве тень может шуметь?

Остановился он только раз — на узком висячем мостике через канал. Он оперся на перила и смотрел вниз, на мерзлую воду, неподвижную, тихую, готовую к долгому зимнему сну.

— Город мой, больная жемчужина, я прощаюсь с тобой, — он говорил негромко и медленно, — я не пленник твой больше и уже никогда им не буду. Я вернусь, но буду лишь гостем, и никогда — рабом. Но сейчас мне грустно, как грустно, о город, уходить из этого рабства. Город мой, прекрасный и страшный, я прощаюсь с тобой, добрых снов тебе, город!

У ворот его дома кто-то стоял, и поэт попытался его обойти, заподозрив, что город посылает ему еще один призрак —

неужели мало химер, — но фигура шагнула к нему, и в похдке ее поэт уловил что-то знакомое: это был черный скрипач. С глухим мычанием он протянул поэту белый конверт и растворился в темноте подворотни.

Поднимаясь по холодным ступенькам, поэт думал, как поступить с конвертом, — он был уверен, что город хочет ему помешать уехать и расставляет очередную ловушку.

Он положил конверт на стол и не стал распечатывать.

Дом-часы напротив был темен, и дежурное окошко в мансарде — ночная стрелка города — тоже было темно. Часы в эту ночь уснули, и время в городе остановилось.

Не включая света, поэт лег спать и сразу заснул, спокойно и крепко. Ему снилось теплое море, и соленые брызги волн, и шершавые белые камни, нагретые солнцем, он отчетливо ощущал их тепло.

Проснулся он очень поздно, в настроении веселом и легком, он давно уж не просыпался с таким удовольствием.

Улыбаясь своим ночным страхам, он разорвал конверт.

«Милый поэт, я о вас не забыла. Кстати, поэт, вы уверены, что я существую?»

Постарайтесь простить мне, что я вас тогда столь бесцеремонно выprovдидла, но вы же помните, как все было: гипноз, увы, кончился, и нам нечего было сказать друг другу.

Мне кажется, в вашем отношении к городу слишком много болезненного — да, да, поэт, вы больны этим городом, и вам нужно лечиться. Лучше всего вам уехать, хотя бы на год, и когда вы вернетесь, все будет уже по-иному, этот город станет вам другом, и я, наверно, тоже.

Я дарю вам, поэт, мою давнюю мечту, для меня несбыточную: поезжайте в какой-нибудь теплый тихий город, с деревянными крылечками и тополями, и прямо с вокзала идите в театр. Проситесь туда кем угодно — расставлять декорации, подметать сцену — все равно кем. Не выйдет в одном городе — переезжайте в другой, где-нибудь вас возьмут.

Я тоже исчезаю из города, может быть вам от этого будет приятней и легче уехать.

И еще, поэт, не слушайте Вольфа. Если у вас хватит сил хоть в какие-нибудь строчки вдохнуть гармонию или хотя бы тоску по гармонии — я ваша верная поклонница.

До свидания, милый поэт, до свидания через год, если вы захотите меня видеть, а пока я желаю вам счастья».

В конверте было что-то еще — он встряхнул его, и оттуда выпала маленькая картонка. Поэт взял ее со стола — это был билет на вечерний поезд.

Он взглянул на дом через улицу — третий этаж там погас,

а в мансарде было еще темно, значит поезд его через три часа. Он собрал свои вещи, все они легко уместились в его старенький чемодан, и комната сразу стала чужой, ему делать здесь было уже нечего.

Захлопнув наружную дверь, он не испытал сожаления, и сам этому удивился, а выходя из парадной, ощутил даже веселье и особую легкость, оттого что больше нигде не живет и все, что имеет, — с ним, в нетяжелом маленьком чемодане.

Ему не пришлось размышлять, где убить лишнее время, — рассеянно и привычно, как ходят со службы домой, он направился к пустому дому.

На лестнице по краям ступенек кое-где сохранились огарки свечей, и он грустно им улыбнулся, как старым знакомым.

По третьему этажу разносился частый и звонкий стук, он дробился и множился в пустых анфиладах, словно сонмы детей-невидимок, играя невидимками-мячиками, хлопали в гулкие стены.

В поисках источника звука он проходил по комнатам, сплошь увешанным пустыми картинными рамами, золотыми, черными, желтыми, то почти совсем новыми, то совершенно ободранными, и пятна на старых обоях, паутина и трещины рисовали в пустых квадратах фантастические портреты, равнодушно глядящие на пришельца.

Стучали в последнем зале этой диковинной галереи — создатель ее и хранитель, черный скрипач, вешал очередную раму, выскокую, в рост человека, при этом не выпуская из рук своей скрипки, хотя она ему сильно мешала. Глухой и немой, он тем не менее почувствовал приближение постороннего; обернувшись, он уронил молоток на пол, поднес два пальца к губам и нетерпеливо подул между ними. Поэт протянул ему пачку, но он взял только две папиросы и одну из них закурил, а другую спрятал в рукав.

Словно выравшись из футляра сама, в его руках очутилась скрипка; он начал играть, и музыка казалась поэту очень красивой и очень грустной. В густеющем сумраке слабо мерцало золото рамы, и черный скрипач в ней казался собственным ожившим портретом.

Музыка лилась и лилась, завораживая поэта, и он уже не мог уловить, где кончалась одна вещь и где начиналась новая.

В рамках на стенах, одно за другим, начали возникать лица, они все внимательно слушали, и поэту вдруг стало страшно, что скрипач чарами музыки заключит и его в одну из пустых рам и оставит навсегда в этом мертвом доме,

Но внезапно он понял — здесь скрипач ни при чем, это город не хочет его отпускать.

Он повернулся и быстро пошел прочь.

Только выйдя на набережную, он замедлил шаги. Опускались холодные осенние сумерки, в воздухе плыли снежинки, они тихо покачивались, словно танцуя под звуки скрипки, и садились на неподвижную воду, пропадая в ее черноте.

Поэт шел не спеша, и из темных окон пустого дома доносилась знакомая ему мелодия:

И не звезды южных морей,  
И не южного неба синь —  
В золотых когтях якорей  
Синева ледяных трясин.

## Валерий Слуцкий

---

### *Стансы к разбившейся чернильнице*

Прощай, последняя в ряду,  
К кому испытываю жалость,  
Поскольку больше не найду  
Среди того, что удержалось  
Вокруг меня на шатком льду  
Существованья. Обветшалость,

Казня империи, стекла  
Не истончила втихомолку,  
Но ты, заполнив, как могла,  
Предназначавшуюся полку,  
Переместилась в край угла  
И угодила под метелку.

Тебя оплакала душа,  
С которой голосом привычки,  
Молчанье вещи разреша,  
Ты говорила. Пламя спички,  
Флакон, брусок карандаша  
Ответят: «Я!» — на перекличке.

Но, совершая самосуд,  
И о тебе не позабыли  
Метаморфозы, что несут  
К небытию. Не ради пыли  
В огне сработанный сосуд,  
Моя чернильница, не ты ли

В эпоху птичьего пера  
Со всей прозрачностью хранила  
Пример слияния добра  
И зла, а именно — чернила.  
Иных спасла от топора,  
Обожествляла и чернила,

А мне досталась восемь лет  
Тому назад. Душой подарка  
Являлась дружба. Больше нет  
Тебя, а вспыхнувшая ярко  
Былая дружба в тусклый свет  
Преобразилась. Свет огарка.

О талисман, даривший мне  
Порыв к единственному благу!  
Хоть пыль в стеклянной глубине  
Сменила избранную влагу  
И на твоём не черпал дне  
Я вдохновенье и отвагу, —

Ты заверять умела в том,  
Что сердцу дороги два брата  
И с ними здравствующий дом,  
Которым прошлое объято,  
Хоть неизменным чередом  
Все отдаляется когда-то.

Но в перемене, как в ночи,  
Ведут знакомыми следами  
Твои последние лучи.  
Быть может, новыми плодами,  
Как вспышка гаснувшей свечи,  
Они откликнутся с годами.

\* \* \*

А берег памятного Крыма  
Срезает теплая волна,  
Ее лазурь неодолима,  
И растрепавшегося дыма  
Полоска вдаль отнесена.  
И южных крош шатры и кубки  
Над синевой полукольца  
Для отдалившейся скорлупки  
Исчезли в мареве Алупки  
Быстрее туманного дворца, ..

\* \* \*

Я сам себя не знаю до конца,  
Актерствуя в невыдуманном гриме,  
Пожизненно враждуют два лица  
И оба называются моими,  
Гонимые к пределу бытия,  
Откуда, не задетое раздором,  
Их двойственность пронизывает Я  
Свободным и всеведающим взором.

# Сергей Стратановский

---

## Метафизик

(по мотивам произведений Андрея Платонова)

Жил философ о двух головах  
Он работал простым кочегаром  
На паровозах и недаром  
Оказался о двух головах.

Он раньше думал, что в огне  
Начало всех начал  
И пламя бьется в глубине  
Как жаркий интеграл

Событий, жизнью и вещей  
Хозяйства доброго природы  
Ему причастны дни и годы  
И разумение речей

Но тот огонь — отец отцов  
Старел и меркнул год от года  
И вся летящая в лицо  
По рельсам, ясная природа

Вдруг стала скопищем слепцов:  
Трава, деревья — все безглазы  
Все — богадельня, дом калек  
(Вот рока страшные проказы  
Ты их добыча — человек)

Ушел на пенсию.

Покинул паровозы  
Стал подрабатывать в артели для слепых  
И бесполезны были слезы

Для глаз бездомных и пустых  
И причастились вдруг сомнению  
Деревья, рельсы и поля

И словно страшная земля  
Небытие отверзлось вренью  
Второй, духовной головы  
Очам ущербного сознания

О инвентарь существованья:  
Феномен страждущей травы;  
Феномен листьев, паровозы  
Огонь всемирный и живой  
Все стало ночью и землей.

\* \* \*

Страшнее нет — всю жизнь прожить  
И на ее краю  
Как резкий свет вдруг ощутить  
Посредственность твою.

Как будто ты не жил  
Соль мира не глотал  
И не любил, и не дружил  
А только дни терял.

Как будто ты существовал  
В полсердца, в пол-лица  
Ни бед, ни радостей не знал  
Всем телом, до конца.

И вот — поверь глазам  
Как соль стоит стена  
Ты был не тот, не сам  
И словно соль — вина.

## Гоголь в Иерусалиме

Не божий град, не сад эфирный  
Сквозь дождь и скуку перед ним  
Реальный Иерусалим  
Стоит как Миргород всемирный

И словно хлеб у бедняка  
Черствы слова его моленья  
Исчез феномен исцеленья  
Гниет Кедрон, полурека

И в Галилее рыбаки  
Из той туманной древней дали  
Забросив невод в час зари  
Лишь душу мертвую поймали.

\* \* \*

Прораб сказал:  
Движение звезд  
Прообраз нашего сознания  
Мы строим человеко-мост  
над ночью мироздания  
Пролетарий — субъект созидания  
Демиург и космический мозг

Чтоб иссякли в селениях слезы  
Мы пасем электрический ток  
И всемирное железо  
Тихим зверем ложится у ног

\* \* \*

Лес полезных чудовищ  
научно хранимая глушь  
Войско огненных змей  
затаившихся в нише  
Экологической  
Храбрый Егорий не трожь  
Этих славных горынычей  
Змей — он хозяйственный муж  
Он — слуга биосферы  
Не брезгуй же им, Доброславна

\* \* \*

Видишь: Берёзовна пляшет,  
Ряби́нишна машет платочком  
Бьет в ладоши Ольховна  
глядит исподлобья Дубович  
Хмурится Ельнишна — темная злая старуха  
Лезет из мха Мухоморыш,  
прячется в топи болотной  
Клюквичей мелкий народ

\* \* \*

Желто-бог у Зелено-бога  
Выиграл в шашки шалаш орешник  
Пруд лягушкин и тайны детства  
Зелено-бог взял зеленый посох  
Шапку листвы  
и ушел чуть всхлипнув  
В джунгли львов многокрасочных,  
в Африку нашего детства.

И ему вослед потянулись птицы.

\* \* \*

Мне пыганка рябина  
Милей хоровода берез  
Их славянский наркоз  
Снимет боль, но не вылечит сплина

А рябина целит  
Зрелой яростью ягод кровавых  
И по селам царит  
И цыганит в дубравах

## Балалаечник

Еще мальчишкой выучился Марьин играть на балалайке. Но в руки давно уж не брал: своей не было, а просить у кого-то совестился. И вот — купил. Долго на нее по полушке да по копеечке откладывал. И в лавке долго трогал струны у разных балалаек, выбирал такую, чтоб не бреччала — пела.

Но жена, увидев приобретение, всполошилась:

— Да есть у тебя ум в голове — цапки покупать?! У старшенькой рукава по локоть и валенки лишь на босу ногу лезут...

— Купится.

— Надо ж, богатея какой выискался! На что купишь?

— Будем живы, найдем на что.

— Ты найдешь! Найдешь опять на забаву потратить.

— Ну, хватит, раскудахталась. На стол лучше собери.

Пообедал Иван. И хотя кожа зудела от нетерпения, сходил в хлев, посмотрел корову с ителью и борову. Если бог даст, корова отелится благополучно, то за телка и итель жеребеночка взять можно. А коня заведет да новый дом отстроит — будет Иван не какой-то Ванька-Безлошадный, а Иван Иванович, человек солидный и уважаемый.

Вернулся в избу. Жена посуду моет. Обхватил ее теплый стан, прижал на секундочку к себе.

— Надо ж, разнежился, транжира, — проворчала жена. Но проворчала не по сердцу, а для порядка.

Однако Иван уже оставил ее.

Торжественно распаковал он балалайку. Огёр инструмент полотенцем, сел на лавку возле окна, устроился поудобнее. Попробовал наиграть:

На зеленом на лугу...

Не то. А если так:

Стоят девушки в кругу...

Лучше!

У них ленты широки,  
Все девчата хороши!

И не мог уже остановиться. Вспомнил песни и мелодии, которые умел играть некогда, подбирал новые.

Стемнело. А Иван все играл да играл. Играл да дивился: вот ведь чудо какое! Три проволочки да ящик, а через них всю душу человеческую высказать можно — и радость в горе, и печаль и удаля. А всего-то всего — три проволочки да ящик, из дощечек склеенный. Где ж тут не чудо? Все чудо!

Детишки сладко сопят. Ворочается и, будто во сне, кряхтит и вздыхает жена. И Иван притомился. С сожалением оторвался от балалайки. Вышел на крыльцо, постоял, растирая заболевшие с непривычки к долгой игре пальцы. Улыбнулся месяцу, алмазившему иней на пожухлой осенней траве, — теперь у него своя балалайка. Хорош!

Проснулся Иван чуть свет — и за балалайку.

— Воды б сперва наносил, — укорила жена.

— Наносится.

— Само не наносится. Да сена корове дай.

— Успеется.

Склонился к балалайке и ко всему остальному на свете глухим и слепым сделался. Лишь балалайку слышал. И видел только то, о чем она рассказывала.

— Иван, да есть у тебя совесть или нет? Скотина голодная, непоенная, на всю деревню орет, а он знай себе забавляется.

Вздыхнул Иван, повесил на гвоздь балалайку и пошел за водой. Воды наносил — дров принести нужно. И сена корове дать. Там и другие неотложные дела сыскались. Пока управился с ними, уж вечер поздний и устал крепко — не до балалайки.

«Ничего, — успокоил себя Иван, — завтра».

Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, ни через месяц не удалось Ивану взять балалайку в руки.

«Беда, однако ж! Да ладно, зимой работы не так много, довольн натешусь».

Зима наступила.

— Иван, дров только-только на эту зиму. А на будущую ни полена не останется. Съездил бы.

— Съездится, — поморщился Иван, жаль ему отрываться от балалайки.

— А летом избу перестраивать собирались, лес надо.

— Успеется.

— Да что ты, попугай треклятый, заладил одно и то же: успеется да делается! А делать когда будешь?

— Не мешай.

— Не мешай?! — Жена, разводившая огонь в печи, винтом

взвилась к Ивану: — Я те помешаю! Я эту дрыгалку сей же час в щепки изломаю и печь растоплю.

— Посмей только, — пригрозил Иван.

— Да ты рехнулся никак? Где ж это видано — от балалайки отстать не может! Спятил, как бог свят — спятил!

И заплакала, причитала, прижав к себе четверых сопливых погодков:

— Ой, лихонько мне, люди добрые, христы-спасители! Да как нам дальше-то жить — крыша дырявая, углы обвалились и на зиму дров ни полена. . .

Прижал Иван струны ладонью. И впрямь, углы сгнили и крыша насквозь светится. Надо избу новую, надо в лес ехать.

А в лесу сейчас хорошо. Тихо. Далеко слышно, где какая птица пискнет, где дятел дробь выбьет. . .

Не заметил, как ладонь струны отпустила, пальцы их коснулись и балалайка про зимний лес заговорила:

«. . . Сорока, предупреждая лесных жителей о чужаке, застрекотала, снег заскрипел — лесоруб приехал. Звонко его топор в тихом морозном утре. А лиственница не шелохнется, уверена в своей мощи и непобедимости. Но вот дрогнула ее вершина, закачались ветви и — уах! — грохнулась могучим телом оземь. И следующая — уах! А за ней еще одна, и еще. . .»

Потом о стройительстве дома рассказала балалайка Ивану:

«. . . Дом рубят. Весело переговариваются топоры. Разноголосо, но старательно поют пилы. Увесисто ухает здоровенный деревянный молот, бревна осаживает, чтоб стены лучше тепло сберегали.

Вот и готов дом. Довольный хозяин и радостная хозяйка переступают порог нового жилища. Приятно ступать босыми ногами по прохладным, медового цвета доскам пола. Приятно щекочет ноздри запах смолы. Воробей чивкает, выставив нос из-за наличника, — и для него хоромы. . .»

— Иван, весна уж на дворе. Пахать, сеять надо!

Но Иван промолчал. А о весне повела разговор балалайка:

«. . . Солнышко еще нежаркое, ласковое, и возле него, не боясь обжечь крылышки, жаворонок порхает, песню свою поет. Пласты жирной сочной земли, похрустывая, отваливаются от лемеха. Ребятишки босиком по поздне бегают, вскрикивают и смеются: колко босиком, отвыкли ноги за зиму. . .»

— Иван, на сенокос собирайся. . .

— Иван, жать. . .

— Иван. . . Иван. . . Иван. . .

Пришла осень. А за ней и зима-прибируха.

Да много ль на зиму запасов наготовишь, если ртов в доме

шесть, а рук в хозяйстве пара, и те бабы. Поднять же на работу Ивана, оторвать его от балалайки — давно отчаялась. И чтоб как-то с голоду не помереть, уносила из дому все, за что хлеб давали. И осталось в избе — стол да скамья, икона в красном углу да одежонки, что на себе надето.

Весной снова взялась за Ивана — может, образумится, в развале хозяйство: нетель за долги отдана, корову прирезали — зимой от бескормицы погибала, изгородь дровами в печке сгорела, дом, того и гляди, по бревнышку раскатится, и дети в рванье ходят — и холодно, и людей стыдно. . .

— Образуется как-нибудь, — буркнул в ответ Иван.

Прокляла жена свою долю, собрала в узелок, какие уцелели, пожитки, завернула икону в платок.

— Ухожу я, Иван.

— Ага.

— Совсем ухожу. И детей с собой забираю.

— Куда? Зачем? Что ты еще надумала?

— Ребят кормить, одевать надо. Надо их на ноги поднимать. А как? На то, что люди из жалости дают, детей не вырастишь, спасибо им великое уже за то, что зимой с голоду помереть не дали. И стыдно при живом, здоровом мужике милостыней жить. Вот и пойду, пока руки работу дюжат.

— Ну, это ты совсем не дело затеяла! — в сердцах засуетился Иван. — Что я, и в самом деле, калека немощный? Рук у меня нет, что ли?

— Есть руки, кто спорит. Да что с них проку, если от балалайки оторвать да к делу приложить не хочешь!

— Отчего не хочу? Просто не получается, некогда.

— Вот и я про то.

— Придумаем что-нибудь. Как-нибудь образуются, наладится.

— Не наладишь, так не наладится. А чтоб за дело взяться, тебе балалайку оставить нужно. Да разве ты согласишься. . .

— Зачем оставлять? Хозяйство подзапустил. . . Конечно. . . Но не так все страшно. Найду время, подправлю. . .

— Ох, Иван, Иван. . . И рада бы поверить, да сердце не велит. Не велит верить, пока балалайку не бросишь.

— Да как я могу бросить ее, подума! Чем жить тогда буду?

— Раньше-то не умирал! — загорячилась жена. Но осеклась тут же и грустно и спокойно добавила: — Что тебя уговаривать. Надоело. Все надоело. И уговаривать тебя надоело, и ругаться с тобой надоело. Бесполезно. Вот тебе последнее мое слово: хочешь, чтоб остались, — уноси со двора эту заразу,

эту чуму погибельную. А нет — тогда живи как знаешь и нас не поминай лихом.

Иван шевелил губами: надо что-то сказать, а слов не отыскивалось. Боялся он — уйдет жена, с ней дети. Уйдут родные, любимые люди, и он в том виноват. . .

И с надеждой думал: может, к лучшему? Что он для них? Рот лишний да бельмо на глазах.

А пойдут куда? Идти-то куда им от своего дома?!

Глянул Иван на детей, и под ложечкой заохлодело: ножки лучинками, глаза в темные круги провалились, а носики между ними остренькие, будто клювики торчат. И жена не краше, как лист осенний высохла.

Отложил балалайку: погоди, не до тебя пока.

Пересел Иван в новый дом. Теперь не грех и балалайку в руки взять. На дворе живность разная. В хлеву корова сеном сладко хрумкает, молоко нагуливает. Недешево стоила, зато хороша кормилица: ведро за раз дает, и молоко густое, что твои сливки.

Нет, что ни говори, а руки у Ивана есть и к делу приложить их умеет. Хозяйской сноровки тоже не занимать. Наметил прошлой зимой корову купить — купил. Наметил к этой в новый дом перебраться — вот он дом, живите, пожалуйста.

Конечно, не без людей все делалось. И денег займы дали, и советом, и делом помогли. Но за спасибо Иван ничего, считай, не принял — все отработал. Ни зимой, ни летом отдыха не знал, зато теперь у него и дом и двор. Хотя с домом «гоп» говорить рановато — стены с крышей еще не дом. Вот обставит его Иван подобающей мебелью, даст надлежащий вид внутри и снаружи, тогда можно сказать: дом. Но за это зимой возьмется. А сейчас надо в город везти то, что в хлеву и на огороде для продажи выращено. На хозяйство копейка нужна. Сын подрастает, и три дочки за ним тянутся. Не заметишь, как пора настанет из родительского гнезда упорхнуть. А свадьбы пойдут — кошелек держи нараспашку и только поворачивайся с ним, чтоб перед людьми в грязь лицом не ударить. . .

Очнулся Иван и не вдруг сообразил, что с ним. За окном темно, звезды по небу роятся. А играть садился, когда солнце едва к закату поклонилось. Да играл ли? Может, только поддерживал балалайку в руках? Ан нет, в пальцах под кожей будто мураши скребутся, значит играл. Но что, убей его на месте, и то, наверное, не вспомнит. Руки играли. А голова о хозяйстве пеклась.

От такой игры ни отдыха душе, ни сердцу отрады. Одна трата времени.

Выбрал Иван гвоздь поматерее, вбил в стену и повесил на него балалайку: подожди еще малость. . .

Славно все вышло у Ивана.

Дом, что внутри, что снаружи, — загляденье. Не дом, а терем из сказки. Сына женил — свадьбу не стыдно вспомнить. И за дочерьми приданое дал — не стыдно людям в глаза посмотреть.

Хлопот меньше стало. И день свободный выдался. Снял со стены балалайку:

— Дождалась, голубушка!

Сел Иван на скамью к окну и. . . нет музыки — пальцы не слушаются. И так садился, и этак пробовал. Не слушаются, и все тут.

— Экое горе!

Повесил обратно на гвоздь балалайку и от досады и огорчения заходил по избе. Походил, походил и успокоился — жизнь свою он все-таки не даром прожил. Ведь как старики говорили: если сына вырастил, дом построил да дерево посадил, так и жизнь не напрасно прожил. А Иван не только сына, но и трех дочек вырастил, дом поставил — всей деревне на зависть, а деревьев его руками без счета сажено. Так что долг свой перед людьми и богом с лихвой исполнил. И отдых заслужил.

Отдохнул Иван дома, на двор вышел, Двор обошел и на крыльце посидел, от безделья отдохнул.

Скучно. . .

По хозяйству чем-нибудь заняться? Нужды особой нет, а пуще желанья. Хватит, наработался за свою жизнь. Что надлежит, по совести сделал. Дети устроены, своим хозяйством живут и в достатке. Есть Ивану чем гордиться, есть чему радоваться.

Скучно только.

Вот бы на балалайке сейчас поиграть! Да руки. . . Эх, руки, руки!

Тоскливо. . .

И пошел Иван туда, где лекарство от тоски продают навывнос и распивочно. И тропинку протоптал. А умерла жена — и заросла тропинка: не выходил уж Иван оттуда.

— Иван Иваныч, с чего ты к горькой-то пристрастился? — удивляются односельчане.

— В доме недостаток, от людей уважение — чего тебе горевать? — недоумевают они.

Молчит Марынь. Сначала объяснял, мол, на балалайке не сыграть, руки не слушаются. Всю жизнь душой к ней тя-

нулся, минуты дожидался. А подошла минута — и руки не слушаются. Обидно...

— Из-за балалайки? — пожимают те плечами. — Разве можно? Дом чаша полная, сына в люди вывел, у дочек мужья — хозяева крепкие и люди почтенные. Дай бог каждому так жизнь завершить. Блажишь ты, Иван.

А Иван только голову ниже опускает да стакан с сивухой крепче стискивает.

Как им ответить, как объяснить, что ему еще одно, и, видно, главное, назначение в жизни выходило: на балалайке играть. И раз не исполнил того назначения — должник он перед людьми, преступник перед собой и грешник перед богом. И не найти ему покоя, не получить прощения.

Ушел Иван от этих расспросов, в которых видел больше укор, а подчас и насмешку. Пробился кое-как к дому сквозь заросший крапивой да кипреем двор. Сыро и жутко в некогда уютном теплом доме, сделался он прибежищем пауков, летучих мышей и прочей нечисти.

Тошно здесь одному...

Сына или дочек навещать? Зачем? У них все хорошо, не нужен он им. Никому он теперь не нужен, ни людям, ни себе.

Снял балалайку со стены, ухватился за гвоздь, на котором висела, потянул. Крепкий еще, пожалуй выдержит.

Прошел в чулан. Среди изветшавшего хлама отыскал веревку. Дернул раз, другой, посильнее. Нет, только с виду добра — истлела. Взял другую.

В полутемном закутке чулана послышались возня и сопение.

Пригляделся. Там, завернувшись в тряпье, спал мальчонка лет десяти.

— Ты чей будешь? — разбудил его Иван.

— Ничей. Сирота я.

— Взялся-то откуда?

— У бабки Дикунихи жил, да она померла.

— А к Дикунихе как попал? — И, не дожидаясь ответа, спросил: — Руки у тебя целы?

Мальчонка осмотрел свои руки. И с недоумением глянул на Ивана:

— Целы.

— Поднимайся, пойдем, — распорядился Марьян.

В избе указал на балалайку:

— Играть на ней умеешь?

— Не знаю. Не пробовал еще.

— Бери, пробуй. Я подсказывать буду.

## Белла Улановская

### Альбиносы

Еще не сняты сетки от комаров в форточках, еще висят последние яблоки, еще не вскопан огород, а мы достаем лыжи и смело едем в лес.

Не видно дроздарей, запорошило рябину, затягивается серым льдом озеро. Свеженький белячок проковылял по первопутку. На просеке встретилась захудалая гончарка, приняла сахар, чуть прикусила в шутку рукав и пошла и пошла снова искать потерявшийся у канавы с водой след.

По болотам еще не пройти — под снегом и тонким льдом вода.

Гончарка, дроздарь — из разговоров вслух сама с собой. Дроздари — это из прошлых охот — висели на рябине — часами выцеливала — этого, нет, вон того, или подождать, когда вместе сойдутся, тогда сразу двух, медленно поднимаю ствол — все улетели, последние испуганно проносятся над прудом, и нет стаи.

Еще вчера здесь верещали дрозды, остервенело набрасывались на пышные гроздья. Раскачивались под жирными тушками тонкие стволы, ломались ветки, сыпались ягоды; сейчас здесь пусто и тихо, на земле беспомощно торчат припорошенные снегом черные птичьи лапки обглоданных кистей рябины, кое-где уцелели на них сморщенные ягоды.

Березы еще не облетели — что за яркое и редкое время.

Хорошо выйти утром с ружьем на плече — слышишь не только все вокруг, но и видишь себя со стороны: кажется, неплохо, все ладно пригнуто, все справно и тепло.

Проза должна притворяться интересом к действительности, обрастать событийностью, часто будто бы и ничтожной, слишком конкретной, в прозе есть кладовые, лестницы, сарай, погреб, задвижки, замки, печки, поленицы, топоры, скворечники, заборы, мышеловки, коты, собачьи будки, возможно, даже коровы; парадные комнаты, где зимой не топят, и душевные спальни, где запираются хозяева в холодное время.

Что тут самое главное — сени, где стоит кадушка мерзлой капусты, или вид из окошка в сад, на речку, плотину и зареч-

ные дали; может, приход соседки с утренней болтовней или субботняя баня, куда привели мыть девяностолетнюю старуху на третьем полу, после всех, когда на запотевшем окошке уже тускло горит керосиновая лампа, и шестидесятилетняя дочь моет свою маму и даже надаёт парку.

— Доча, — стонет старуха, — хватит.

Известно сравнение стихов со скульптурой, а прозы с архитектурой. Возможно, это так, если иметь в виду многочисленность построек и обилие подсобных помещений, где утрачивается представление об артистизме автора (так себе мастер, не гнушается баней), — да и стоит ли заниматься всем этим, где главные, где второстепенные главы, не слишком ли много коридоров и проходных комнат — когда же начнется главное — уж не выпивка ли после бани.

Если правда насчет архитектуры — то сколько равномерно распределенных усилий нужно, это не то что слепить зайчика из пластилина.

Илья-пророк льду натолок — похолодела вода в озерах, задули осенние ветры, залаяли в ночной темноте собаки. Давно вылетели из скворечников скворцы, собрались в большие стаи, кочуют по полям и садам, то рассядутся на проводах умоглядными прямыми, то закипят невиданными объемами в воздухе, — каждый мечется в беспорядке, и стая движется в неизменном направлении. Безумство охватывает молодую собаку — она летит по полям, зарывается в овсы, выпрыгивает, чтобы оглядеться, и в бессилии лает. Уже совсем по-осеннему стрекочут дрозды-рябинники, скоро уберут хлеба, вырастут в непривычных местах скирды, образуя новые пейзажи на многие, многие месяцы, и залетают стаи дроздов, заманивая ленивого малоудачливого охотника, пригревшегося в желтых, последнего солнышка ометах.

После ясных звездных ночей выпадают заморозки. Если выйти за ворота на рассвете — можно увидеть, как сияет на солнце поседевшая трава на огромных пространствах полей, плавно, как заводи огромного озера, обтекающих леса.

Если пойти по крайкам этих полей, то за новым мысом лесного массива открываются новые заливы, а перелески и отдельные особенно разросшиеся на просторе деревья (четы белеющих берез) можно сравнить с полуостровами и островами все того же огромного озера.

Уже давно-давно, еще почти с крыльца слышно токованье тетеревов. Это известные среди охотников ложные осенние тока — птицы, обманутые утренними морозами, напоминающи-

ми весну, начинают бормотать в сжатых полях. Льется, журчит бесконечная песня.

Изморозь распространяется по полям полосами, вдруг начинаешь замечать, что кое-где ее уже нет — трава высохла на солнце, а сияющая седина причудливо расплзлась по низинам.

Затарахтел вдали мотор — теперь это уже на весь день — начинается работа ровно с того места, где вчера прервана, — растет распаханная чернота, сужаются тетеревиные хлебные кормежки.

На одинокой березе сидит тетерев и глядит на апельсиновый трактор, равномерно разворачивающийся на новую и новую полосу.

Утро кончается. Пора возвращаться.

— Ну что, убила какую-нибудь птюшку? Ставь сапоги на печку да садись чай пить. Самовар готов.

Осенний паучок. Однако главное вычленилось — вот оно вытягивалось из жирного паучьего брюшка, вот выкатывалось прозрачной невятицей, и она застывала, продолжаясь, а, как известно, то, что превращается из мягкого само из себя в определенное, быстро густеющее, — потом застывает, делается, несмотря на тонкость, жестким, вычлениется в свою форму — и вот оно нечто, определенность, данность. Пробежим снова по всем этим тонким ходам и жемчужным переходам, перечитаем путаную прочность.

Теперь можно и назад — быстро-быстро всеми ножками, вот это место, где мы закрепились — к дереву, к веточке, к сушочку, к корешкам — и теперь: шварк к чертям хитиновой челюстью — и вот мы летим, нас поднимает все выше и выше, юго-восточный ветер течет над лесом, над полем, над рекой, переливается на солнце жемчужная нить, качается на ее конце невесомый паучок.

К середине октября у нас установилась сибирская бесснежная зима. На давно замерзший пруд вышел сосед учить детей кататься на коньках. Целый день кормится в убранном овсяном поле огромная стая голубей, плеснет сизым, разом взлетев в синеву, и снова успокоенно опускается на прежнее место.

По утрам я выхожу из дому, чтобы успеть на электричку 8.56, спускаюсь с Румболовской горы и не узнаю нашей пасмурной чухонской местности.

Сухая безоблачность установилась давно в этом теперь

незнакомом поселке, где все сыты, богаты, живут хорошо, носят соболиные шапки, а вот и автобусная остановка. Ледяной ветер несет сухой колючий песок по посветлевшей от мороза обнаженной земле, «хакасский дождичек», как говорят на Туранском плоскогорье; немного снега сохранилось в бороздах по полям и в тракторных колесах на дорогах, яркая неосыпавшаяся листва примерзла к веткам — прочность, добротность и стабильность.

Могильные комья насквозь промерзшей земли посветлели от холода, звякают листья на дубах.

Затянувшееся предзимье. Завтра выпадет снег, а я так и не спустилась на лед, не пригляделась вниз, в глубину, не разогналась на коньках или финских санях.

Черный щенок пугается, скользит, запинается на гладких поверхностях.

Замолкает пластинка, вступает ветер. Трогается, постепенно раскатывается тяжелая немазаная телега от воскресенья к воскресенью.

Утром ходила за хлебом, оставив открытой балконную дверь. Вернувшись, нашла свежий помет синицы прямо на столе. Появились первые лыжники. Идет снег. Конец октября.

Ездил лунной ночью по полю. Пес лаял в сторону леса. Сначала думала — белка, потом поняла — соседи бродят по лесу, выбирая елки. Посидела у омета, подремала на морозе. Хорошо заснуть до утра — не страшно и не холодно. Пес вылизывает лапу с хрупаньем — как будто ест сахар.

Двадцатиградусные морозы. Равномерно ясные ночи. Страшно засыпать в этой холодной комнате на краю ледяных простанств. За окном поля, потом лес, и так до Ладожского озера, а вверху тоже холод. Остро горят холодным светом звезды. И вот шевелится под грудой согревающего тряпья живой комок, сворачивается плотнее, поджимает ноги, занимая все меньше места, греет руки между колен.

Откуда в нем тепло. Что-то есть противоестественное в том, что он противостоит всему окружающему своей температурой, ведь простыня, и подушка, и уют, и тарелка, и стул, и клетчатая тетрадь, и поле, и дерево, и цветок в горшке — все холодное. И только ты один не остываешь. Придет время, и ты сравняешься со всем остывшим.

Жду ли я гостей. Вот окно с многократно описанным видом, вот собака, вот грибки и жареная свинина с мороза под водочку, вот тетеревиная лунка с желтым пометом — как финишная косточка, вот лохматая черная дворняга, справно бегущая за лыжами.

Вот что я пишу, что ем, где и с кем катаюсь, — вот письма, которые получаю. Как хорошо. Изучайте на здоровье. Если вы не приехали — вы думаете, мне скучно. Просто жалко, что вы там пропадаете. Даже, может, и к лучшему, что вы все не приехали.

Вчера днем шла мимо скотного. В ушанке, штанах, валенках. Увязались собаки: Мухтар, Муха с двумя щенками, да Зорьку спустила впервые с поводка. Проходившие мимо доярки шарахнулись от этой своры: «Мальчик, убери своих собак».

Чистейший голос из прозрачных ручьев и запасенного на лето озерного рубленого льда. Перестает играть пластинка — тогда вступает северо-восточный ветер, поднявшийся к ночи.

Что мне сказать об этом лучшем на свете вечере. Посреди комнаты неподвижно стоит Зорька. В углах уже неразборчивые сумерки. За окнами усиливающийся к ночи мороз. Елки за полем, покрытые выпавшим с утра снегом, как-то особенно окрашенные на закате; через четверть часа пришлось зажечь лампу, уже все из розового стало синим. Еще не совсем темно, еще белеют поля, но огни дальних деревень — Романовки, Угловки, Корнево — уже утратили свою таинственность.

Как хороши старые деревья в парке на зеленом еще небе. Кипят картошка, греются щи, Зорька то и дело подбегает к двери.

Февральские ясные ночи, пустая голова, дворняжка потягивается, вылезая из будки.

Неужели жадность, боязнь пропустить? Вот что меня иссушило и погубит.

Надо дойти до того поворота и постоять вон там — когда еще выпадет такая многозвездная ночь. Пес то там, то здесь образует подозрительные сгустки неправдоподобной темноты. Вспокоил целных псов, забежал в открытую дверь чужого дома, выскочил, сбегал в лес, свернул к свиарнику, пропал в поле.

Привокзальное здание из темно-красного кирпича. Сетки, кошелки опрокидываются в алюминиевые миски, но фрукты на

столах не являют собой картины изобилия. Вот три груши, ветка винограда, батон.

Вхожу вовнутрь.

Натертый красной мастикой паркет, сводчатые потолки, стандартные общенинговские стулья, четыре картины на стенах — одного формата в одинаковых рамах — времена года. Для чего эти безжизненные пейзажи, глядя на которые все равно нельзя представить ни зимы, ни осени, — того, что где-то есть настоящая жизнь с ветром, холодом, свободой.

Скорее всего, эти картины, повешенные сюда с воспитательными целями, дают понять, что то, что происходит здесь, не ограничено этим сводчатым залом с узкими, круглыми в верхней части окнами, а стремится распространиться и вовне, потому что эта хрестоматийная зима на тусклой картине дышит такой же безжизненностью, пространство ее так же замкнуто, как и здесь. И, хотя баба с коромыслом, спускающаяся к реке, должна олицетворять собой здоровую картину сельской жизни на бодрящем воздухе, холмы за рекой должны звать в поля, — ясно понимаешь, что то, что происходит в этом вокзальном здании, соотносится с изображаемым, родственно ему.

Как умеет эта баба спускаться под гору со своими ведрами, раскрасневшись на морозе, наклоняться к проруби, разбивать затянущуюся за ночь лунку, отодвигая шугу, черпать ведром дымящуюся воду; потом, слегка надсаживаясь, привычно поддевать плечом коромысло и плавно, стараясь не расплескать полные ведра, но все же чуть брызгая тяжелой водой на валенки, ситцевую юбку и полу старой плюшевой жакетки, тяжело подниматься в гору по скользкой тропинке, в особенно опасных местах сворачивая в глубокий свежий снег, ошупывая ногой свои вчерашние следы, уже почти занесенные снегом.

Как поверить во все это здесь, в этом пустом вокзальном зале?

Самая жалобная книга. Тихие жалобы о пронизывающем ветре, сырых башмаках, пасмурном пейзаже обязательных прогулок.

Перечитала свою паутину. Зацепилась и остановилась. Прекратилось мельканье. Образ эскалатора с сидящей внизу дежурной — сквозь нее течет изменчивая, но и одинаковая гуща. Жадно, не отрываясь девушка глядит; проводит кого-то взглядом, и снова перед ее горизонтом выплывают и исчезают все новые фигуры.

Вот я выплыла на ее горизонте, шагнула на неподвижное,

шмыгнула в захлопывающуюся дверь и укатила. Задумывается ли она над существованием себе подобных или только отмечает бросающееся в глаза платье, шляпу, чрезмерно длинное пальто, длинноволосых, чернокожих, пьяных, влюбленных.

Изредка на противоположно текущих лестницах замрает возглас узнавания: «Эй!»

Вот оно, наше имя, мы всегда готовы сделать шаг вперед, вот почему иногда нам слышится какой-то зов, но это лишь перерасход, избыток ожидания.

Пока тот, кого окликнули, оглядывается, тоже узнает, его выносит из поля зрения — улыбка, взмах руки — разъехались, негу, исчез, снова каменеют лица. Изъят и узнан, помнит ли он о себе. Кажется, он только что женился. Он любит сладкое. Как он отыскивает свое пальто. Только по номерку. Он занимается чем-то. Бывают очень илльные озера — в них мрет рыба — этим он и занимается. Где-то около озера он нашел себе жену. Она изучает дыхание рыб. Про свой предмет занятий они, конечно, помнят. Каждый знает, куда едет, к какому часу нужно успеть и где лежит его подушка. Счастливы ли они.

Выспались, сыты, не замерзли, хотят ли заниматься отведенным им явлением действительности. Несутся километры кабеля в тоннеле за окном, мелькают номера тюбинговых колец, окна, за которыми кембрийские толщи и немые лица, не дай бог натолкнуться на чьи-нибудь глаза — жадное, но боязливое рассматриванье себе подобных. Как мы все еще не растерялись. (Я и себя-то забыла, а вы говорите — вас.)

Самое дурацкое заключается в том, что, когда я вырастаю перед неподвижной девой (подземные и сврхурочные), я чувствую превосходство как представитель если не живой жизни, то хотя бы движения. Она же, если стала немного философом, — недаром проводит она свои дни в роще у прохладного ручья — видит всех нас, спешащих муравьев.

Она достает бархатный шнур, накидывает его на медные подставки, и поток перекрыт. Некоторое время дно бежит пустое, потом его останавливают и запускают в другую сторону. Почти не сгибая колен вниз бегут первые подростки.

Не мешайте сосредоточиться. В час, когда вечерело и снег за окнами посинел, резко выпятив склоны сугробов, которые вместе с проложенными лыжнями и узкими тропинками вдруг побелели по сравнению с густеющими сумерками снежной плоскости, подойди к окну.

Крики детей по-весеннему доносятся из открытой форточки,

фонари еще не зажглись, и тем ярче и необыденней загорается свет в домах.

Был один из тех дней середины февраля, когда до весны еще далеко, еще должно продолжиться февральское безвременье, метели, глухие рассветы, волчи свадьбы, заячий приплод.

— Мое время кончилось.

Мое время кончилось, если действительно справедливо то, что для каждого человека есть время года, особенно важное и значительное для него, когда то, что происходит в природе в это время, наиболее полно соответствует его сущности и невнятно указывает на его тайное предназначение. Эти значительные в жизни каждого человека дни наступают примерно в месяц его рождения.

Когда начались большие морозы и задули сильные северо-восточные ветры (вот наконец началось), — казалось, что это еще только начало, что главное еще впереди.

Но не разгулялось, впереди проглянула весна и вывела из ожидания небывалых выюг и волчьего воя в непроходимых чашах.

Переломила весна, облегчила упорную напряженность ожидания следующего, более крепкого, чем предыдущий, порыва ветра, сняла угрюмую сосредоточенность (погодите, сейчас настанет) — и своей легкомысленной синевой заронила заземленность, непристойную по откровенности, потому что всем известно, как увеличение солнечного света благотворно сказывается на всем живом — и вот уже начинается: в открытую форточку по-весеннему доносились голоса детей — и начнется, потечет все это счастье: мартовский наст и зачерствевшие снега, та-та-та и та-та-та.

А потом: все эти весенние Страстные бульвары и соответственные воробьи, весенние наряды женщин и вытаявший навоз — и пойдут все эти тонкости наблюдений света и цвета, воды и льда, оттаивающей днем и замерзающей к вечеру дороги, эта игра, это упоение зоркостью затянет, отвлечет от главного, отодвинет еще на год упорный, медвежий — лбом в темный угол — вопрос.

В дверь позвонили. На пороге стоял горбун с саквояжем.

— У вас есть крысы и мыши? — спросил он входя. — Если нет, то распишитесь вот здесь, — и он протянул разлинованный от руки лист.

Второй день метель. Снег несет параллельно земле и крышам. Когда налетает ветер — направление ломается. Над крышами тоже свое движение — скорее паробразное, — снег

с крыши клубится волнами. У самого стекла — когда смотришь на улицу, — можно различить отдельные снежинки.

Все это уже не страшно. Слой туч неплотен, почти проглядывает солнце. Далеко в поле можно различить светлеющие вершинки сугробов — чего не бывает глубокой зимой. Прибавилось птиц. Поредели стога у леса. Когда стемнело, снег был еще синий, потом задул такой ветер, что забылись весенние приметы. У соседей заиграла музыка.

Третий день метель. Ветер не меньше, чем вчера, и метель настоящая февральская, беспросветная. Тучи тяжелые, плотные, низкие. Воем — лучше не надо.

Легкая весенняя депрессия — от недостатка витаминов? От невозможности найти выражение утреннему разгону, пустынным утренним улицам и переполненным лесам — готовым принять — только соответствуй, как, чем? Пока ты томишься у окна, утро набирает силу, грубеет и ничем особенным не кончается: улицы наполняются невыспавшимися людьми, солнце перемещается вокруг теплых стогов; тетерева расселись на березе, замерзшая с вечера лыжня расплзлась мокрой солью; скучный бесконечный день, скоро пойдут с работы вставшие раньше всех, тетерева улягутся в зернистый снег; к ночи, когда края лунок начнут обмерзать, по своему вчерашнему следу на заледеневшей снова лыжне побежит лиса. Ее след тянется вдоль просеки, пересекает озеро и спешит в поле, к стогам, где бегают мыши, оставляя извилистые, как будто накапанные двойными каплями, следы.

Между тем во втором часу дня успели выгрузить всю мебель. Решили сначала носить небольшие вещи: корзинки, картонные ящики, узелки с посудой. Потом принялись за белоглазую пенал, сервант, шифоньер.

Соседская девочка в малиновой кофте, поправляя грязный платок, жадно глядела на дороге вещи.

Коротконогий неповоротливый детина в распахнутом полушубке качался вместе с деревом на лестнице, прислоненной к березе. Озираясь, он остервенело рубил короткой пилой ветки и ствол по аршину, который подставляли ему снизу.

В окнах склонялись грустные детские челки, кричала на балконе полуодетая женщина в накинутом на рубаху пальто, летели ветки, застревая в соседних деревьях.

Третий раз вывели на прогулку эрдельтерьера. Прошел поезд с глвной.

Вычеркиваем бестолково и опрометчиво начатый день. Был ли он с его дремотой, скукой очереди за молоком, с пасмурным неуклонным потеплением и горячими скамейками перегретой электрички.

Как быстро можно омедвететь. Тяжело переваливаться в своем углу, тяжело поднимаясь, волоча ноги в валенках, неделями не поднимать закатившуюся под стол нужную вещь, быстро оглядываться (взглядывать) в угол, по десять раз в день пить пустой чай и подходить к окну вечером, погасив в комнате свет, чтобы лучше было видно пустую улицу и ближний лес.

Брошенные нераскушенные орехи с острыми следами зубов потом когда-нибудь — разом всё.

Скворцы у своих скворечников на жердочке — сами как черные дырки. Да-да, именно как черные дырки.

Блестящий, как каштан, конек, куда-то мы с ним скачем. Какое-то низкое место, надо пригнуться, шея, ушки, натянутые поводья.

— Какая это порода?

— Азбекская, — отвечает отец, подаривший верховую лошадь.

Земля носит — носит легко, потом вдруг опадаешь, легкость оказывается иллюзорной.

У каждой единицы времени есть свой полновесный, в себе завершённый смысл. Можно заупрямиться, отказаться от продолжения, сосредоточиться на постижении именно этой минуты. Однако чаще всего все заедается, заговаривается, забалтывается, разбавляется, и мы существуем, растрачивая никому не ведомые смыслы.

А между тем сколько здесь сейчас счастья и значения. Оставьте меня все. Я остаюсь здесь и буду плакать об этом всю ночь. Пусть выпадет снег и занесет все следы. Утром вода замерзнет в ведре, и, еле волоча ноги, я побреду к колодцу, не поднимая своего опухшего лица. Неизвестно, удастся ли мне разжечь сырые дрова.

Открытие охоты второго мая. Холодная тяга. По почтовой дороге и по просеке еще снег. С утра народ хлопочет в огородах, не слышно тракторов, после праздничных обедов гуляют, где просохло, принаряженные соседи (то есть без телогреек и резиновых сапог).

Ах, на какую тягу я сегодня не пошла. Ветер неожиданно стих, взошла луна.

Он сказал: «Ставь чайник, я только схожу на реку, и будем есть». Больше героиня его никогда не видела. Он тут же утонул, до завтрака. Это с детства вдолбленный страх «Иркутской истории», знаменитого спектакля, затверженная паника ожидания.

(Однако потушим лампу и взглянем на дорогу — нет, никого нет.)

Хлопают входные двери, стучат лифты, качаются под фонарями тени чужих мужей, лают собаки на краю улицы, и что-то случилось прикладывается к стеклам и бежит к противоположному окну на шум подъезжающей машины. Вот в ней загорается свет, пассажир с заднего сиденья тянется вперед, хлопает дверца, но зеленый значок не виден, ах да, там есть еще люди. Скорее к выключателю — плетется кто-то без шапки, достает что-то из кармана, снова прячет, подходит не к нашему, соседнему дому и останавливается, отвернувшись к стене. Не станем же мы подглядывать.

Снова зажигаем свет и видим в окнах только себя и свой шкаф.

Глупые няньки, как тогда говорили — домработницы, только что прошедшие санобработку — без этого в городе не прописывали, — шарахаясь от машин, ходили к Инженерному замку болтать с солдатами. «Как зовут тебя, как зовут твою маму?» — спрашивали они шестилетнюю хозяйскую дочь и ее глупую шестнадцатилетнюю няньку.

Эти дурищи больше всего боялись перехода на углу Белинской и Литейного, помня, как на этом самом месте грузовик въехал на тротуар, но именно там надо было идти, чтобы попасть в садик за цирком. Они ввали, что направляются именно туда, хотя сами так и кружили у главных ворот Инженерного замка, где помещалось военное училище.

Что ж, значит, во всем ругать глупых няnek и «Иркутскую историю»? Кстати, вся наша квартира, вернее ее детская часть, долго вспоминала Надю и одно ее доброе дело.

На воскресенье Надя уходила от нас гостить к тетке и однажды попросила не для себя, ей тоже было рано, роман «Жизнь». Это было послевоенное издание, печать в два столб-

ца и растекающаяся бумага. Что бумага была именно такая, мы поняли, когда книга снова водворилась на шкаф.

Теперь даже не нужно было ждать, чтобы родители ушли из дома, достаточно было матери уйти на кухню, как я подставляла стул, моя соседка Аня, она старше, но ей тоже нельзя, доставала книгу, и мы быстро находили наши любимые места, построчно подчеркнутые чернилами. Кто для нас постарался, Надя или ее тетка, мы не знали, скорее всего солдатик из Инженерного замка с навыком проработки устава.

Услышав шаги на кухне, мы забрасываем ужасную книгу на шкаф, распахиваем дверь, помогаем вносить кипящую кастрюлю и потом долго находимся во власти странного «как ни в чем не бывало».

Как ни в чем не бывало мы ставим кастрюлю на стол, достаем ложки, — это называется помогать накрывать на стол, — а перед глазами омерзительные фиолетовые водянистые линейки, по которым было написано, как нам казалось, уже после.

«Жанна стояла у окна» — так начинался роман. Эта хитрая Жанна, и имя-то какое противное, как ни в чем не бывало стояла у окна, — нет, с нами такого никогда не произойдет.

Иногда нам не хотелось взрослеть. Вообще, надо сказать, что, как я заметила уже позднее, мы в своей женской начальной школе брезгливо относились к второгодникам, которые уже тронулись в рост. Такое чувство возникало у меня даже к моей подруге, обогнавшей всех по части «формирования» — как тогда говорили, вообще слово «форма», «сформироваться» мы слышали все время. Мы все должны были ходить в форме, с вечера мы должны были приготавливать выглаженную форму, на праздники мы должны были являться в форме, девочку Цветкову, которая умерла в первом классе, похоронили в форме, за отличную четверть многим обещали шерстяную форму, Гале Цветковой купили такую форму уже после смерти, она была двоечница. Кто-то тогда брякнул, не все ли ей равно, но все замахали руками, а Валя Овчинникова, дочка повара, сказала что-то вроде «ее мечта», «последняя воля».

И вот эта моя подруга стала все заметнее вылезать из формы, пока не сформировалась. По воскресеньям мы с ней гуляли по Невскому. Она рассказывала о своем дяде, он пиликает на скрипке перед вечерними сеансами, а последнее время, если дома никого нет, стал усаживать ее себе на колени, во дурак-то.

Болтовню она прерывала шепотом: смотри, какие ножки, — и когда я призналась, что не понимаю, какая разница, она от-

ветила, что бывают очень красивые, вот, например, у нее, ей это ее скрипач сказал, а как узнать, она сейчас меня научит.

Мы с ней как раз выходили из кинотеатра и продвигались в тесном дворе под дождем.

— Вот впереди, видишь какие.

— Чулки забрызганы?

— Да нет, чулки можно отмыть, а ноги-то толстые. А эти, смотри, и не такие толстые, а все равно как у слона, щиколотки могли бы быть потоньше.

Так она водила меня по Невскому, так мне и запомнилось — чисто выметенный широкий тротуар от угла Маяковской до Восстания, и идем мы, тонкие ценители.

— Ой, смотри, куда ты наступила!

— Куда?

— Идешь как маленькая, кто-то плюнул, а ты не видишь.

Ее новая странная разборчивость почему-то соединялась мною с ее преждевременным ростом, мне еще рано, думала я, обращать на это внимание.

«Обращать внимание» — тоже было школьное слово. Обращать внимание на себя — было нехорошо, иногда про кого-нибудь из нас говорили: «она старается обратить на себя внимание».

Тарашиться вокруг тоже было не принято.

Вон пьяный валяется, вон матом ругаются, а ты не видишь, не слышишь, ни бровью ни ухом, идет себе, построившись парами, 193-я женская школа, бывшая гимназия, а идем мы в кукольный театр за квартал от школы.

Отпустили на каникулы одну гимназистку раньше по слабости здоровья, и непривычно провела она всю весну дома.

Сидит в начале мая гимназисточка на бревне у заброшенной фермы, встают дыбом от ветра дранки на крыше, давно растаскан на дрова коровник. Гимназисточка разогрелась на припеке, соскользнула с бревна и разлеглась на сырой еще, теплой земле, скосив глаза на трясогузку, которая прыгала возле нее, подбираясь все ближе. Что такое развалилось?

У трясогузки черные крылья, светло-серое брюхо, белая головка; на шее что? черный галстук? повязанная салфетка? передничек? Крутилась, крутилась трясогузка, пока гимназисточка не переменяла затекшую руку и не села.

Трясогузка отбежала, но недалеко. Начала подходить снова. Ничего не ела, а все гуляла.

Если бы молодая корова тут развалилась: вот ты кто — корова. Смотри, трясогузка: я молодая корова. Я, знаешь ли,

первый раз здесь после зимы в темном стойле, я неопытная корова, нас только что выпустили.

— Да ты просто корова, много хребтов, шерсти, неопрятная грудь, вон ты опять развалилась.

Трясогузка вспорхнула и нагло пролетела прямо над гимназисткой: вон ты кто, и скрылась с этого луга. Кого тронула неопытность коровы.

Еще холодны были лужи, не зароялась в них жизнь, но уже пожелтели цыплячи пуховки на ракетах, стали высыпать подснежники и желтые мать-и-мачеха. Каждая водомоина, лужа — пока еще чистоты холодной горной речки. Даже пруд у свиарника — леживали боровы, ворочались на середине — сияет, как горное озеро.

Встретился Ольге в парке сын управляющего, студент, и сказал:

— Вчера мне сказали про вас гадость.

— Меня это не интересует, — ответила гимназисточка.

— Вы все же послушайте. Будто вы в пять утра ходите смотреть тетеревиное спаривание.

— Да я... Да только как поют, издали, — смутилась она.

— Слушаете, как поют, — не унимался студент, — и мечтаете о любви. (Будто это какие-то курицы.)

Это легкое бульканье из глубин их гортаней, непрерывное, за несколько верст слышное; шумит лес, плюхают волны на озере, тает снег, и высыхают лужи, а они: на рассвете и на закате, из года в год — токуют, бормочут, чуфыкают. Какое это легчайшее песнопение. Если не остановишься, не попридержишь дыхания, не отвернешь края платка — то не услышишь. Дальний собачий лай? Звон в ушах? Журчание ручейка? Если не то и не то, и не кажется, то они.

А студент: спаривание.

Бекас — небесный барашек — дребезжит в небе, утки снялись и перелетели на другой конец озера, вальдшнеп прохрюкал над вершинами берез на лесной дороге, а они всё плещут свое влажное бормотание. Они везде и нигде. Туда пойдешь и сюда пойдешь — слышно не громче и не тише.

Какие-то другие время от времени вскрикивают — кто такие? — вон две сели, а сзади встает солнце — простой красный круг — встает в неожиданном месте, совсем не в том, откуда ждали. Какие-то сели мягких очертаний, что делать Ольге. Как стояла, так и не шевелится — может, это такой сучок, крючок в лесу, но они посидели, осмотрелись и улетели.

Дома: Брем, отцовские журналы. Кто это были? Кто скажет. Как тогда — с барашком. То по одну сторону болота, то по другую — не на земле, а в небе — над всей ясной луговиной —

вот он взлетает и падает. Кроншнеп — как будто дребезжанье деревянного колеса у телеги; бекас — бляеные барашка.

Вот, оказывается, кто, выбирай сравнение, конечно, барашек, а Ольге там у ручья и сравнения-то было не подобрать — странная птица.

Так же и с жерлянками.

Барский пруд. Муравлянская плотина. Темный пруд. А в пруду поет многочисленными голосами все одновременно. Уйдешь бродить далеко по полям после захода солнца, выберешься оврагом мимо одного места «Овечий верх» и пойдешь мимо старых скирд соломы — огромных, степных; пригнанная скотина мычит в ближней деревне, долетают отдельные бряки, дергач кричит; перепел: спать — пора, спать — пора, а из пруда орет, орет, и парка-то почти не видно, на краю которого этот пруд, а гремит он, звенит.

Лягушки? Да кто же лягушек не знает. Жабы? «В саду раздавались томные крики жаб?» Позвольте-ка... тритоны? Кто их знает. Это и вовсе занятие для Базарова.

А ночью! В полночь на Муравлянской плотине. Бывали? (Стояли темных линий аллеи) — вдруг обрываясь, крича, цепляясь, обламываясь, что-то страшное перед тобой шархается, ты обмираешь, а это птенец грача во сне сорвался из гнезда — вот это что, светишь фонариком, по морщинистому стволу убегает луч, задирается в звезды, бессильный; звезд много, возможна и луна, но в аллеях темно, светлее над прудом — какие мертвые, морщинистые стволы, одеревеневшие складки, мертвая кора. А эти в пруду — кричат, кричат — все разом, да кто они такие — никто не знает.

Вот и полночь. Муравлянская плотина.

Старый барин Лыковинов здесь похаживал. А баранчик: бьяша, бьяша.

Что же полночь? Перешла, сдвинулась. А соловьи? Соловьи заливались. Особенно одно колено: та-та, та-та.

А Сережа Прочасов? Посвечивал фонариком, шел рядом, потом спустился к плотине. А сейчас мы лягушек вызовем. Заквакал Сережа Прочасов. Заквакал. Обо всем забыл. Не надо, Сережа, уж очень получается. Страшно. Куда там. Квакает Сережа. То самцом, то самкой. Выпрямился над прудом, слился темной фигурой с чем-то. Светло над прудом. Самая лучшая звезда дрожит в воде. Спуститься, что ли, к нему?

— Отвечает! — закричал Сережа. — Слышишь, отвечает.

Вот он — второй голос. Приближается, дрожит: уа-а-а-а.

Склоняется Сережа все ниже, вглядывается в прудовые мути, выплывает оттуда, выплывает больше: уа-а-

а-а. Раскричались они, глядясь друг в друга. Пропавший человек Сережа. Не упади, Сережа, в омут.

— Вон как я умею, — оторвался, выпрямился, — пой теперь одна, дура.

Отошли, а там надрывалось.

А соловей? (И соловей катил свои колеса.) Что же со всем этим делать? Обнять Сережу Прочасова?

А Прочасов щелкает фонариком, тычет своим слабым светом в звезды — теряются его лучи, Прочасов передергивает луч под ноги — мостик, бревнышки, перильца. Белеет Ольгино платье, холодно тебе — вот плащ, ах бедные, бедные, нечего нам делать со всем этим.

Конец мая. Скоро кончатся соловьи и жерлянки. Еще раз обойти весь парк — теперь снаружи, вдоль ограды — лугами — ну и что?

Снова у пруда. А если выдернуть одну из них — как она кричит, ну хотя бы с чем сравнить?

Из глубины вытягивается печальный звук, бежит вверх и лопается на поверхности. Здесь и там, и по всему пруду тоненьким жалобным голоском — унк... унк...

Почему их не слышно в соседнем, деревенском пруду, за усадебной оградой? Скотину туда гоняют на водопой — вот почему,

После того как доели глухаря — перестали гореть щеки, появилась мнительность — представился черед дней — и остывание, остывание. Появилась торопливость — обогнать события, подтвердить подозрения.

Все сразу прошло — как подошла к окну — здесь моя крепость, кроме того во всех моих окрестностях распространилось столько меня, что запас этот тотчас мне был возвращен и мне снова есть что распространять. Как он верно здесь сохранялся.

Сообщение наше здесь безотказно — если у меня плохо, пусто, ничего нет — мне нечего послать; но если мне есть что сказать, как благодарно они возвращают мне себя, как внятно говорят о себе.

Как верны мне моя дали!

А я-то обижалась, плакала — как будто их не было. Главное — никогда их не забывать, ведь они, милые, меня помнят.

Часто я делаю вид, что их забыла, — тогда начинается подделка под обиженные чужие судьбы. Разве может их что-нибудь оскорбить.

Что может их оскорбить?

У них своя жизнь — каждое мгновение они уже другие.

Попробуй-ка отвлекись от своего хозяйства, когда снова повернешься к нему или хотя искоса глянешь — все переменялось. Вот сейчас: стало темнее, размылись границы светлого и темного неба, зажглись новые огни деревень, но светлы поля, видны крыши парников, звезд еще нет, а если посмотреть на север — сказано там небо совсем светлое. «Я буду смотреть на север! — сказала мне дочка лесника васильевского помещика, которая помнит Бунина. — А что, появишься здесь Иван Лексеич, я бы его сразу узнала. Прощай, прощай, приезжай к нам, а я буду смотреть на север, небо там светлое, видны ваши белые ленинградские ночи».

Что может оскорбить самодовлеющую жизнь — то, что течет по своим законам, менее всего зависит от чужого и преходящего.

Однако как легко оскорбить, нарушить. Прежде всего заклонить небо, можно даже совсем небольшим. Поля застроить, ближние ели срубить, озеро окружить дачами, а перед домом — тьфу, тьфу — как бы и вправду не накликать великих преобразований природы.

Значит, просто. Ты меняя свое освещение и зеленей в положенные сроки, неважно, что запасы розового бессмысленно истратились на эту бело-серую стену. В положенный срок и ее чужая плоскость окрасится без толку растраченным на эти убогие поверхности закатом.

Пока мои дали живы и не обезображены, буду и я как они.

Однако буду помнить, что вторжение возможно, угроза существует. Что мне за дело до чужой жизни. Это все равно что обижаться на дальнюю электричку или свинооткормочную фабрику на 250 тысяч голов, которая строится по ту сторону от Романовки.

Я перешла на чужую территорию, где чувствую себя не в своей тарелке. Пора мне убираться восвояси. Навязанные мне способы существования, которые я пыталась терпеливо сносить, подорвали мою веру в то, что у меня вообще есть своя земля.

Сегодня вечером я прошла по своему обычному кольцу и удостоверилась — по-прежнему светлеет. Длинное озеро, холодная заря с севера постепенно тускнеет, и легкая луна отражается в каждой луже. Прислонившись к стволу, посидела над озером. Интересно, когда три наших озера — Бездонное, Длинное и Круглое, — вытянутые в один ряд, были одной большой водой.

В чем моя вина. Нельзя прибавлять фамильярные суффиксы к тому, у чего нет имени. Метафизическая вина.

Соседи поставили чучело гороховое в красной шапке, оно еще не выгорело на солнце, не вымокло под дождями — кафтан на нем еще черный.

Весь день идет весенний мокрый снег. Тускнеет гороховое чучело. Гудит электродойка. Замерзают цветы ягодников. Запойное чтение приличествует более подростку. Липкие от сгущенного какао губы, сонливость, нет сил встать и оторваться.

Побег в чужом платье, ночное озеро, скачка на коне двадцатипятилетней королевы, старомодное красноречие австрийского фрейдиста. Завоевание или провал, успех или поражение?

Окрестности посветлели в преддверии ночных заморозков. Смирный вечер. Сороки разгуливают по дороге. Безлюдье. Закуковала кукушка. Какой покой.

Тысячу раз благословенно высказывание перед молчанием, пусть оно косноязычно и выдает себя, но оно выпущено в мир, оно существует — только что его не было, а вот уже оно есть — оно беззащитно — каждый из молчащих может осмеять — однако оно существует и чьи-то души вздохнут вместе — им даны слова, их скрытое названо, они могут входить в незамкнутое пространство вещи, хотя на самом деле вещь замкнута, ограничена и едина.

Действительность испытывает зависть к романной наполненности неважно какими событиями. Главное, чтобы происходило что-то, а время было насыщено. Я поняла, что действительность радуется тогда, когда дарит насыщенными днями. Соответствия, совпадения, случайности, да и просто как можно больше переплетений. Если перебрать эти события, проверяя их значительность, наступает сомнение, однако кто посмеет осудить мнимую деятельность минувшего дня. Ты причастен к жизни, ты даже сам заплетаешь и там и тут и готов расхлебывать тобою созданные коллизии. (Тут налетели и зазвенели комары, над лугом опустился? поднялся? лег? туман, телят угнали, а на их место выпустили лошадей, с криком носятся ласточки? стрижи? одиннадцать часов вечера.)

В «Униженных и оскорбленных» — прелестное начало — город — таинственная событийность, одинокий мечтатель — что

скрыто за стенами капитальных домов. Потом нарастание событий, беготня. Злодей радуется, так же, как и автор, что закручивает, заводит, провоцирует действительность, угадывает ее возможности и играет последствиями, но в то же время злодей — поэт, его увлекает сам процесс — он рад тому, что что-то происходит и он виновник происходящего, провокатор события. Его увлекает сама игра, а не только цель. Еще и неизвестно, что больше.

Жизнь мечтателя — короткая буйная событийность и дальнейшее восстановление час за часом случившегося.

Как Тобольская невеста (спрыгивая с широкого провинциального подоконника и напевая): «Я его снова увидела — вот я его и увидела, теперь мне хватит: май-июнь-июль-август-сентябрь». (Моей героине 17 лет, и она подарила мне свой дневник.)

Писала-писала Тобольскую невесту, застряла намертво, пошла на кухню, ткнула вилкой в капусту, пожевала и сказала вслух: ничего у меня не выйдет, да вдруг так прикусила язык, что взвыла, — оказалось, в кровь. Значит, не наводи на себя напраслину, или наоборот: истинная правда.

Что делать с чужим сознанием. Или томасманновская многозначительность, или командировочная очерковая скороговорка.

Если первое, то высокомерное удивление чужому сознанию; если второе, то журналистское похлопывание по плечу, мол, знаем, и сами вели дневник, молодо-зелено и т. д., прыщи на лбу.

Благословенно место первой встречи, вот план, видишь крестик, где он тогда стоял.

С появлением листвы дали призакрылись. Давно замолчали тетерева. Высохли последние талые ручьи. По-летнему запылили дороги. Чибисовые поля вспаханы и засеяны. Стало скучно. Но поднялся и завыл холодный ветер, и пространство снова расширилось.

После дождя лиловые тяжелые слизняки качаются на молодом пушистом укропе.

Час ночи. Пишу без света, сижу перед окном. За такую ночь — сколько сил накапливается, сколько уверенности. Глаз вмещает мерцающий между деревьями пруд, поля, лес, огни дальних деревень, мягкие синие холмы на горизонте, зеленеющее небо с розовым севером, жемчужные облачка.

От долгого взглядывания дали впитываются, я насыщена, но оторваться не могу.

Огни деревень жирные — можно сосчитать — по одну сторону дороги шесть, по другую шесть, а в Романовке только один. Воет ветер, перебирает паучьи лапы ближних елей.

В клубе праздник. Расходятся пары. Холодно.

Белые ночи кончаются — пора осмыслять.

Высшая повествовательная правда (а она выше жизни) — в краткосрочности и значительности. Чахлые девицы умирают от оскорблений, любовники находят смерть в гибельной любви, подлости делают свою главную подлость.

Что же получается в нашем случае? Жизнь продолжается, хотя по всем законам сюжетосложения и смысла ей давно следовало пресечься. Но мы наращиваем этот здоровенный ледник, каждую зиму прибавляя новые толщи, за лето слегка подтаиваем и сползаем в каком-то направлении. Однако самодовольству накопления нет пределов. Теперь я знаю то и это, мне полезно разбираться в вашем деле, теперь у меня будет опыт... А для чего?

О тряпочке на проезжей части, взлетающей навстречу каждому автобусу, а больше ни о чем.

Зависть молодого Достоевского — одинокого мечтателя — к событийности, к жизни, которая развивается помимо него — отсюда нагромождение событий в его романах, мечта об участии в них.

Если вы гуляете в хорошую погоду по городу — заглядывайте в подвалы. Теперь они чаще всего нежилые, зато там тоже идет своя жизнь.

Не имея возможности уехать из города и оказываясь среди бела дня на улице в это жаркое время, я стала особенно остро замечать приметы разнообразных трудов.

Вот на солнечную сторону высыпали легко одетые люди, некоторые из них что-то кричат в раскрытые окна дома напро-

тив, другие отвернулись к воде, склонились над перилами набережной. Это последние минуты обеденного перерыва в конструкторском бюро.

Дневные прогулки обнажают многообразие форм парадоксальной деятельности. Вот пример всеобщего разделения труда, доведенного до абсурда: род деятельности, пристроившийся к одной маленькой частице человека, даже не к частице, а так, к коже. Эта кожа имеет способность расти тем быстрее, чем ее чаще срезают. И вот десяток сытых женщин, довольных своей судьбой, весело болтая, делают свое дело, изредка сетуя на качество кожи в особенных случаях и рассчитывая, через сколько минут они побегут есть. Отлучившись, они возвращаются, садятся, придвигаются поближе, встряхивают салфеткой, бросают быстрый взгляд на клиентку и весело принимаются за дело, втягивая и ее в ощущения зрелой женщины, только что поевшей сливок с булочкой. Вот к своему рабочему месту, взглядывая на себя в каждое зеркало, бредет молодая девушка в коротком халате и шлепанцах без задников. Вдруг она как будто что-то замечает, не отрываясь приближает лицо вплотную к зеркалу, косит глазом к носу, отстраняется, берет расческу, поправляет локон у уха и, не поворачиваясь, говорит: «Что бы такое съесть?»

Выйдем оттуда из раскрытых прямо на улицу дверей и не будем их жалеть, они счастливы и не нуждаются в сожалении, и вернемся отсюда на Разъезжую.

В эти жаркие часы здесь безлюдно, все окна открыты, и жизнь, протекающая за толстыми стенами старых капитальных домов, чуть приоткрылась, слегка вывернулась наружу.

Окно первого этажа. Отдернутые занавески открывают сокровенные задние планы бедной комнаты, из прохладной темноты к цветочным горшкам тянется рука хозяйки с банкой воды, за рукой выдвигается и фигура, но мы уже прошли, явление застыло в своей определенности и законченности.

Жарко. Из подворотен и окон вровень с землей обдаёт холодной гнилью. Вот окно какой-то конторы. Глубоко внизу различаются плотно друг к другу поставленные столы, из полуоткрытой в коридор двери мерцает стекло доски Почета, доносятся треск машинок.

Блеснуло ли сразу из темного конторского коридора или сложилось так в напеченной солнцем голове, не могу сказать, но горечь протянутой к этим горшкам руки, блеск почетной доски (вероятно, так ярко ударила в глаза серебряная фольга, подложенная под стекло) уже давно не дают мне покоя.

Ах, история ворона.

— Ну, Федька, скажи что-нибудь. Откроем мы музей к сроку?

— Кар-р-р!

Его карканье неслось из-под земли, будто из самой преисподней. Прохожие останавливались, прислушивались, оглядывались.

Пыльная дорога, по которой только что прошло стадо. Еще рано, но уже жарко. Такие дороги бывают только в середине лета. Я бы сказала, стояло зрелое жаркое июльское лето. Пустынное в эту пору озеро. Стайка рыб у купальни. Днем я узнала, что поражающая утренняя полновесность, наводящая на мысль о переломе, — и есть перелом (Петр и Павел дней убавил...) — и считается серединой лета.

Жалко и больно. Решительно все происходит без меня. Мне удастся урвать лишь намек разгара...

Жалобы турка. Оставшись в подвале одна, закрыв дверь на ключ, я уселась лицом к окну. Голова, не получая необходимого количества свежего воздуха, тяжелеет, ноги стынут от нижнего холода, перетекающего и гуляющего по всем закоулкам обширного подвала. За окном грохочут трамваи и грузовики, сообщая письменному столу, который находится много ниже мостовой, вибрацию.

Жалоба «среда заела» приобретает в данном случае банальный смысл в виде пробегающих по голым ногам особых жуков, имеющих крылья и название «нарывников».

Сидение за письменным столом перед окном, забранном решеткой, и взгляд на улицу лишают многих иллюзий.

Видимое многообразие сводится к простейшим вещам. Вездельное топтанье поношенных башмаков с железными набойками говорит о близости рынка, хозяйки идут мимо: по одной — шаги устремленные, озабоченные, и попарно — тогда подвал обдается обрывком их разговора — всегда только одной фразой, но непременно поражающей своей жалкой многозначительностью и удивительной характерностью.

Вслушайтесь: приближающееся хлопанье разношенных туфель, — пританчившийся прямо под тротуаром охотник, навострим форточку — сачок, сейчас мы прихлопнем впрохнувшее слово.

Выудим из потока речи ничего не подозревающий лепет, он врежется в сознание, он будет словом не сознающей себя

действительности, разбрасывающей свои восхитительные явления щедро и как будто без смысла.

Выделим из потока последнее слово, оно будет любимым, только бы оно залетело в нашу единственную ловушку. Можно раскрыть и другие окна, но я привыкла ловить только на одну удочку.

Грохочут трамваи, мертво чернеют кажущиеся только что вымытыми окна напротив, несется жизнь, вытянутая в линейку, в глубине сидит собиратель бабочек. Он не ждет диковиной, он ждет залетевшей.

Вывеска «Молоко» белеет напротив — символ текучей густой жизни. Если там ее целиком, всю механически разливают по посуде и живо растаскивают, то мы также втягиваем, всасываем происходящее перед нами прямолинейное движение, терпеливо ожидая, когда оно назовет себя само, своими силами, из своих, так сказать, линейных недр.

— А я люблю вареную картошку...

Дурацкий коллекционер, твое сердце зашло, чего же ты ждал от косного потока, который любит сам себя, гордится собой; он вам сразу укажет, где продается самый лучший молодой картофель; он любит быструю езду, радуется летнему дню в своем вымытом окне и молочному магазину в этом же доме.

Восьмого августа брела по краю леса вдоль овсяного поля и вдруг слышу, как говорю: «Подойдите сюда все». Это был образ смерти.

Меня тянет за ноги груз всего прежде написанного, всех неоконченных Тобольских невест, Путешествий в Кашгар и прозрачных глав, текучих обращений; как бы все разом закончить, потому что и здесь тянет, и здесь поднимаются пузыри на поверхность, и тут что-то затонуло и дает о себе знать. Здесь торчит бревно, глубоко в иле есть снаряды с войны, а посередине затонула целая солдатская купальня. Расчистить бы все наше Бездонное озеро, положить перед собой чистый лист, перевернуться на спину и покачиваться на поверхности, радуясь своему умению лежать на воде. Пускай нас сносит куда угодно, из-под воды нам больше ничего не грозит.

А скрюченная утопленница того несчастного лета? Вон там она, на той стороне узкого залива, которым кончается озеро, — и мы переворачиваемся на живот и круто гребем прочь с того места. Пора и вылезать, холодно, да и на работу скоро.

Слишком взбаламучена вода в этом обжитом водоеме.

Как я заметила, говорят и пишут о том несчастливом состоянии, которое тебе еще только грозит, еще только наступает, говорят вслух об этом, ожидая, что тебя прервут: «Да что вы, это совсем не так», «да вам ли думать об этом».

Вот повесть о старости, старички на даче, здоровые европейские завтраки — что можно и чего нельзя, еще мы любили поджаренные хлебцы с абрикосовым джемом, крепкий китайский жасминовый чай, правильный режим. Старик, сидя в шезлонге, разглядывает непристойные пчелиные глубины цветов, услужливо выющихся у подлужников. Его только что усадили, поправили подушку, укрыли пледом, разговор шел о литературе; и вот уже он дремлет, раскрыв рот. Московские гости смущенно поднимаются, но от движения старичок вздрагивает, заглатывает легкие слюнки и поражает гостей верностью суждений.

Прибегает деятельная пожилая жена (новая элегантность, присущая даме ее возраста) и приглашает всех в дом.

После этой повести наш писатель старится на двадцать лет, становится несомненным глубоким старцем, за это время выходит не один его роман, но больше мы уже не встретим кокетливых сетований по поводу нового образа жизни. Останется и превратится в единственную ноту — удивление, я-то жив, а они давно умерли, мои герои, но это будут знаки заматерелости нашего старца, переступившего некий порог и окрепшего, научившегося собирать урожай, разогнавшегося, если можно так сказать, в своей старости.

Как Блок — поэт юности, и даже его юноша стареющий — все же юноша, не муж, так и Катаев — прозаик старости, выгоняющий из нее все, что она может дать. (Как отец у нас гонит ягодное вино из всего, что растет в огороде, и когда не хватает крыжовника, смородины, черной рябины, дома вдруг начинают исчезать банки с залежалым вареньем — они тоже пригодны к перегонке.)

В прозе писателей возрастной литературы иногда вскользь блеснут несколько седых волосин на голове молодого героя и вздохнут три женщины: мать, жена и девушка в красной юбке.

Итак, о седой голове молчат, интересны только первые проблески. Так же и с одиночеством. Воеет и жалуется оно только вначале, но, значит, оно еще не настоящее. Оно еще только определило себя: «один я остался на свете», возможно оно уже подыскало замену. Полное и давнее одиночество заматерело, оно обросло повадками, попробуй-ка поставь туда свой чемодан, вы заметили, что для него никогда нет места, ты-то еще

надеешься, что спасаешь и утепляешь, разворачиваешься пуше, хлопчешь и улучшаешь, но вдруг посреди своей деятельной запальчивости встречаешь нежелание перемен, ты уже начинаешь оправдываться, но ведь так лучше, разумнее, но нет, оказывается, давно следовало выметаться со своим хозяйством.

У В—ной. Что это был за открытый урок. Вот вам мой полдня. Проходите пожалуйста, да-да, ко мне семь звонков, садитесь, чтобы всем было видно, вот пятая тарелка, я как раз писала слово (какой длины?). Вот так и живу, пока дом не сломали.

Вы говорите, разложить по конвертикам — конечно, так просто: почему не попробовать — разложили, отправили и забыли. Занялись другим, прозой например, и вдруг из «Работницы», «Крестьянки», «Сельской молодежи», «Человека и закона» и Доброго утречка — замечательные гонорары и нежные ответы.

Сначала мы мягко отказываемся от больших фирменных конвертов, но уговоры крепнут — вот мы уже все вместе за столом с ножницами, клеем, сантиметром; облизываем марки, ласкаем желтые уголки, кипит веселая работа, и самый преданный бежит на почту, рассчитывая на обратном пути успеть в гастроном.

И когда всем казалось, что так и будет, а как же иначе, пришлось оборвать и даже кое-что объяснить. Сначала объяснила вам, потом сказала себе, потом еще сказала себе и незаметно оторвалась, уже давно плыву, выговаривая свою единственную правду, слушая свою подъемную силу — вот он, главный урок — еще со всеми, но уже одна, в своей холодной? горячей? высоте.

Поздний час, пора уходить, гости отодвигают стулья, но ты не снижаешься, не снисходишь — ровно и правильно режут двигатели — уже ушли, и хорошо, ты продолжаешь прерванное (какой длины?) слово.

Альбиносы. Снова перетаскивали из одного подвала в другой музейное старье, как семь лет назад. Крысиный помет в креслах (любят мягкое), изнанка жизни, задние дворы, брошенные помещения. Стоит только покинуть жилье, как быстро придет оно в запустение — плесень, сухие пауки, сырость, вонь. Две кошки, утерявшие цвет грязные альбиносы, ждали в стороне, пока мы перестанем ходить взад-вперед, перенося с места на место потревоженный скарб с вылезшим волосом, хло-

пающими дверцами, с пустыми ящиками письменных столов, в которых перекачивались ключи и засунутые наспех куски деревянной резьбы. Жизнь вывернулась изнанкой.

А эти кухни за занавесками! Старые дома такие же, как эти кресла, куда шлепнулась усталая старая карга в рабочем халате хранителя фондов.

Здесь только зады, кладовые, лестницы, кухни, но где же живут эти старухи, которые иногда показываются в своем окне? Ведь у каждой только одно окно, и смотрит она из него всю жизнь, вряд ли ей успеют дать другое. Сколько сил надо тратить, чтобы запустенные отогнать хотя бы в угол, расчистить хоть середину.

А шкафы, а углы, а корзины, а коридоры — как страшно туда углубляться! Нет ничего страшнее нежилых помещений: эти покинутые перед ремонтом дома, вытасченная мебель — мне противно подойти к задней стенке телевизора или будильника (непонятная изнанка), а здесь километры хаоса.

Есть старушечьи сферы — специально из их мира, то, что их волнует и задевает. Стоял грузовик, из которого мы разгружали рухлядь, прохожие терпеливо ждали, пока освободится дорога, и только старух задевал этот жалкий скарб.

Так в разное время своей жизни мы замечаем разное. То собак, когда сами вывели щенков, то нарядных счастливых женщин, когда сами подавлены и разбиты.

Старухи протирают свои окна, бесстрашно взлезают на подоконники, смело тянутся вверх, еще не пора.

— Ну навезли! Давно пора этой рухляди на свалку, — ворча рифмуют они свою жизнь с увиденным.

Неужели мы видим только то, что видим, и не видим того, что видеть еще рано?

Еще рано: трамвай без пересадок, достоинства черноплодной рябины, порошок «Лотос».

— Тебе рано читать роман «Жизнь», — было сказано нашей шестнадцатилетней Наде, домработнице.

Собаки видят на улице только кошек и других собак; обратите внимание, как беспокоен и непрост бывает маленький ребенок, когда рядом с ним где-нибудь в метро оказывается его ровесник; красавица мгновенно разглядит и оценит другую в противоположном конце вагона, взволнуется, если найдет, что та лучше, или успокоится, если первенство останется при ней.

Неужели мы так и толчемся в пустых дребезжащих рифмах своей жизни?

Но так обстоит дело только в искусственной среде.

Заброшенное негородское жилье нам не страшно.

Бывшие фундаменты мы быстро определим по густым безрезнякам, мать-и-мачехе, которые скрывают из глаз груды щебня; бывшие куртины нет-нет да и проглянут одичавшей белесой маргариткой; стоят фрагменты липовых аллей, укороченных, ведущих из никуда в никуда, перегороденных часто какой-нибудь свежей спортивной трибуной, а вот и часовня, в которую прямо из господского дома был зачем-то прорыт подземный ход. (Эх, разминулись мы с тобой однажды в этом парке, я прибежала, а ты не подождала.)

Но почему нам так приятны хилые маргаритки и неприятны эти грязные альбиносы?

Вот я в который раз волокусь мимо этих стен, мне из них не выбраться, как и этим соседям, иногда забрезжит на солнце чистое окно, ну и что, прошло семь лет, и пройдет еще семь и семь, а «приметы жалких каждодневных трудов» (цитата) всё те же и рифмуются всё так же.

Иногда выпадали ясные дни, да сколько их, да все они наперечет, вот и нам улыбнулась жизнь, вот и у нас высветлились дали, но отдрезжало радостное возбуждение, и снова покрыты копотью наши поверхности, снова покраснел нос от холода, сырости и малокровия.

Каждая стенка с Кузнечного лезет в товарищи, по я не хочу, не хочу я с вами знаться. Я теперь не ваша.

А милый братик с деревянной змеей у Кузнечного — ты его не забыла, этого старика-торговца, — мимо которого я опаздываю каждый день. Он рифмуется с тобой, каждый день я бегу мимо твоей рифмы, твоего покинутого сизомордого приятеля. Каждое утро посылает он тебе привет своей кистью, усердно разрабатывая ее от отложения солей.

Бегу мимо твердой ногой — сменяются цветы вдоль рядов — только что была сирень, а теперь уже, смотришь, и хризантемы появились, не успели мы нажарить корюшки, а уже и грибы отошли, остались одни разложенные кучками вдоль ограды Владимирской церкви подмерзшие солоники — все это мои утренние разговоры с тобой вдоль затянувшейся метафоры.

Одинаковыми байковыми одеялами снабжены мы были в самостоятельную жизнь. (Тайпи давно уже глядит на меня со своего места, теперь она угрожающе встряхнула ушами и встала за спиной. Надо идти, а холодно, темно, заморозки.)

Начало октября, а пруд замерз. (Холодина зверючий, — как любил говорить Ремизов.) Пока гуляли, представилось, что все мои дальнейшие письма, сколько бы их ни было, будут

повторением одной и той же цепи: стены, фонды, старец со змеей, Тайпи, Марди, Дик — сколько их потом ни будет — собаки сменяются быстро — их век короткий. Нельзя безнаказанно бегать туда и обратно вдоль метафоры длиной в жизнь.

Когда теплоход встал в Сердоликовой бухте, кто-то вдруг полез на нависающую над пляжем скалу — все замерли. С ума сошел, остановите его, да что он делает! Но как легки были его движения, как нежно прикинул он к скале; вот, достигнув вершины, он уже спускается. Спокойно. Его левая нога что-то уж очень пружинисто раскачивается, пока отыскивает опору, — от такой чрезмерности можно и поморщиться, но вот мягкий прыжок, и он, слава богу, на земле.

Однако артистизма и изящества тут не отнимешь.

Неплохо добиться такой красоты и легкости в своих упражнениях.

Вот он тренировался в странных, никому не нужных занятиях — одолевать скалы. Да к чему вообще эти скалы, вон большинство человечества живет себе и не подозревает, что есть такие уродливые нагромождения (а у нас тут хорошо, ничего такого — землетрясения, наводнения — не бывает, у нас, слава богу, от гор и моря далеко, земля ровная, — сказала мне старуха, дочь лесника, — центральные губернии России, «Жизнь Арсеньева»).

И вот около этих гротескных образований формируется редкое искусство на них взлезать. На потухшем вулкане поселяются колонии этих стажеров и совершенствуются вдали от посторонних глаз.

Но для чего расцветает это странное искусство — наверху пусто и нет ничего интересного.

И вот один из них, не стерпев герметичности своих занятий, спускается в пустынную бухту, куда раз в день приходит пароход с репродукторами, буфетом, экскурсией по радио, и, дождавшись, когда туристы, искупавшись, набрав кучи камней, переодевшись в сухое, соберутся снова на палубе и будут ждать отправки, начинает демонстрировать свой смертельный трюк.

Итак, вначале захвати дух своей губительной решимостью (да куда он, да с ума сошел), а потом заставь любоваться своим рискованным искусством на большой высоте.

Интересно бы только узнать, новичок он, недавно научившийся кое-чему, или опытный альпинист-скалолаз.

Отчего так волнует всякое проявление легкости, свежести, искренности, но не там, в прежние времена, а здесь, рядом; как благотворны эти свидетельства среди цветущей жизни, значит еще что-то может случиться, значит не исчерпаны вытопанные, засыпанные битым стеклом пустыри. И наоборот, обычно сверстники и современники тоже небезучастно вмешиваются своими неудачными худ. текстами в мою жизнь. Да мне-то какое дело, да я-то при чем, а при том, что вот тут похоже, и я могла бы написать такое, неужели могла бы? И уже начинает казаться, что могла; и вот уже не подняться с дивана, отсыпаясь целый день около кулька обгрызенных сухофруктов, а завтра на работу, вот и прошли благословенные долгожданные выходные.

Теперь не так, давно не так. Мои ранние утра теперь никому не отдам.

Да что же я сижу, когда такая музыка по части сорваться с места да задать жару всем на удивление (чья это такая выискалась, раздайся народ, меня пляска берет).

Тут можно быть поосмотрительнее, эка невидаль — сорваться с места.

Не велика заслуга потреблять черные консервы воспламенения. Что завести от поп-музыки, что от поп-книжки.

Конечно, следует шагать под музыку собственного оркестра (Торо), и что уж тут хорошего — воспламениться от чужих ударников или пустых дачных бочек нового любимого писателя.

Однако ничего не поделаешь; независимость и самостоятельность — твердим мы. Но что бы мы делали без этих счастливых опор, вовремя случившихся предзнаменований; однако не похоже ли это на горох без прутьев; как он, бедный, начинает раскачиваться даже в безветрие, как шевелит он своими усиками, а то вдруг ухватится за сочную травку мокрицу, поползет за ней по земле и пропадет, если не натолкнется на что-нибудь более подходящее.

Жизнь разложилась на аргументы — все плохо — все пропало, или: не так уж и плохо — еще можно что-то сделать, еще может появиться нечто живое и новое, а значит, и я не пропала.

Но нельзя же так поддаваться внешним событиям, скажете вы. К черту среду, доказано, что среда ничего не значит, но если речь идет всего лишь о заглохшем одеревеневшем овоще, а не о знаменитом дубе. Ладно. И не такое бывало. Мы встаем, утираем полотенцем лицо и выходим на улицу. Пора закрывать на ночь огурцы. Пока обрабатывался поучительный гороховый пример, цыганская корова вломила в огород (наш

с краю) и объела весь цветущий горох на грядке. Уцелело немного.

Зато рядом пышно разрослась кудрявая трава кинза (кориандр).

Я как будто приходила в себя после тяжелой болезни, по нескольку раз на дню спала, потом, укутанная в зимнее, вылезала из дома, плелась в сторону леса, садилась на первом же пне или поваленном дереве и часами грелась на апрельском солнце, с сочувствием смотрела на синиц (теперь я знаю, что синицы для санаторных окошек и аллей), потом вздыхая поднималась и тащилась домой — какое счастье, неужели все позади — так идут домой довольные своей жизнью одинокие старухи, вспомнив, что в подарочной коробке еще кое-что осталось, и потом долго и с удовольствием пьют хорошо заваренный чай, всегда из одной и той же чашки.

Однако пора вылезать из укрытия.

В деревне Румболово, на Нагорной улице, поднимаем капюшон и глядим на все четыре стороны.

Вчера был выметен мусор из служебного стола и было покончено с позорной арифметикой «семь и еще раз семь», и пускай эта еще одна школа остается и производит новые наборы. Когда-нибудь мы туда забредем, в этот переулок.

Интересно, что теперь там. А неинтересно.

Расчищаем письменный стол, убираем лишние книги, стираем пыль с бумаги, локтем отодвигаем прочие предметки. Расчищаем время, подготавливаем поляну, вырубам подрост.

Готово. Ничего не мешает.

Широкий прокос в судьбе.

Голая хозяйка хутора входит по колена в воду и выкашивает узкую дорожку в прибрежном густом тростнике, вот она уже по пояс в воде, можно выплывать на середину озера,

\* \* \*

Что горлом вынести?

Сиреневую гроздь,  
что влажная наполнила ладонь?  
Или февральская подснежная мгла,  
кочующая льдами, диким садом,  
где яблоком ему не угодить?  
Мороженые зерна пересыпать  
землей, храпимой комнатным цветком,  
что суженый твой пестует, лелеет,  
твой береженный.

Вышли караси  
из мыльной пены Солнце наблюдать,  
дубовых листьев шорох посмотреть  
и просто так:  
узнать, что происходит  
в заоблачном апрельском лесопарке.

Происходило:

Я иду аллеей  
и тихим прутиком считаю повороты.  
И говорю:

Загадывай погоду  
и место пребывания на Земле.  
Сегодня ясный день,  
бери его, как соду,  
и горло полощи,  
придется ли еще.

Карасики — игривые ребята  
за чепушилкой бросились,  
качают  
подводное зеленое растение.  
Но мне хватает выдержать его.

Но мне хватает жизни однозначной,  
простой, как перекресток листопада.  
Где неминуче близится засада  
двух говорливых стаяк воробьев.

\* \* \*

Выходит полнолуние на поля,  
и бег травы соперничает с бегом  
моей любви. В основе октября —  
обычный план с побегом и ночлегом.

В холодном доме скажет поцелуй,  
что не успела рифма, и ответом  
на множество других одноименным светом  
пройдет Луна. Не жди, свечу задуй.

Смотри, как просится, знакомый по приметам,  
к нам голос клена — «О, не прогони. . .»  
Мы, если сможем, к Вам приедем летом,  
Когда стемнеет, будете одни?

*18 февр.*

\* \* \*

Благополучие ручья.  
Кленовый эпилог заката.  
Чем одиночество богато?  
Звериной цепкостью слепня.

Чем вызреет ночной приют?  
Гримасой глины, слабым ямбом?  
Ночной хмелеющей ямой?  
Но, как не вырваться, заранее  
на кашель строчки упадут.

На пустошь выступит гроза,  
заколыхается, задует.  
Хлопком свеченье завершит.

И однодневные полеты  
в природе серого сукна  
размножатся на крылья в глине.

\* \* \*

Зернистый снег весеннего предлесья,  
озябший ворон крыльями спешит,  
и вереска зеленоватый крестик,  
оттаявший, в ладони задрожит.

Знакомые черты желанного покоя,  
когда рассыпчато трещат поленья в доме,  
не по моей, не по твоей вине.

Отделены двойной оконной рамой  
от мякоти вечерней, боже правый,  
как сладко думать, что конец зиме.

\* \* \*

Когда бы телом дорости  
до первовиденья поляны  
весенней, где черны изъяны  
твоих разборчивых шагов.  
Когда бы выкрикнул чирок:  
о чем стремится побег мгновенный?  
Когда бы объясниться мог  
с кольцом, проталиной, Вселенной.  
Когда бы хоть одна душа  
мне описала жизнь иную,  
правдивее, чем я хотел. . .

Но глушит голос вымпел ветра.

Прошлогодний снег

I

Решено было ехать на ночной новогодний бал в Павловск. Хотя времена ночных балов и маскарадов в Павловске давно миновали, в сочетании этих слов оставалось много магнетизма. Поэтому все, кто стоял перед загибающейся снизу афишей, написанной одним из факультетских художников, были полны самых праздничных ожиданий.

Наступило худшее время в Ленинграде: ночи, казалось, установились над городом окончательно, и достаточно было выйти на улицу, залитую выпуклым светом фонарей, которые не изгоняли ночную темноту, а лишь создавали островки холодного света, тут же переходящего в сумрачную тень, чтобы сразу же получить веские доказательства своего одиночества.

Но когда будильник истерически подпрыгивает, чтобы сообщить свою ошеломляющую новость, и это не пожар, а всего лишь зыбкое утро, только проснись в окне, вы не чувствуете еще пока одиночества, а только хотите поскорей разогнать сонную слабость, обладающую такой могучей силой, что она неудержимо влечет поскорее присесть и задремать где придется, поливаете холодной водой сомкнутые ладони и отправляетесь на кухню, чтобы получить холодную котлету к чаю и манную кашу с расплавленным куском масла — знаки женского внимания, газету, где можно прочитать о многом...

Не замечая друг друга, замкнувшись в своем стремлении добраться вовремя до теплого, людного и освещенного места работы, прохожие проскальзывают по заметным набережным каналам и речкам, по улицам окраин и новостроек, мимо Кузнечного рынка так же отрешенно, как мимо темных окон Зимнего дворца, и кажется, что каждый сосредоточенно несет в себе свою собственную, единственную ночь и не желает ни с кем ею делиться.

Если же даже и захочет он ею поделиться, не побежит же он за проходящим каракулевым воротником, не станет на ходу

рассказывать о своих печалях, да и не выслушает его каракулевый воротник, он и сам открылся бы, да некому.

В переполненном автобусе вы теряете уверенность в ценности собственной персоны, сдавленной с трех сторон и занимающей, по сути дела, такое маленькое место в пространстве. После недавно еще прерванного сна вам кажется, что завершится это пасмурное утро падением автобуса с моста.

Не замеченные окружающими, в вас борются раздражение и замкнутость.

Светает поздно и так же неощутимо, как темнеет.

По коридору медленно плыли облака дыма, в нем было неуютно от множества людей, озабоченных или рассеянно-спокойных, промелькнувших за день под его сводами, и казалось, что находиться здесь просто так, без прямой необходимости, тягостно и почти бессмысленно. Но если вы понимаете толк в университетской жизни, то именно теперь-то здесь и останетесь и оцените ее истинный азарт.

\* \* \*

Расставшись на несколько часов в ожидании вечернего веселья, к которому еще надо было подготовиться, они распрощались и разошлись в разные стороны.

От Невы несло такой темной стужей и нелюдимостью, что даже свет ослепительно холодных фонарей не мог превратить заполненный человеческими фигурами тротуар в обжитое пространство. Лишь на долю секунды прохожие встречались взглядами и, не найдя для себя в них ничего утешительного, только поворачивались к пурге вполборота и наклонялись навстречу ветру.

Завихренные хвостами метелей, мостовые были черными и скользкими. Не поддаваясь порывам ветра, продвигались по ним осторожные вдумчивые троллейбусы.

У гранитной набережной возле дощечки автобусной остановки, ничем не защищенной от снега и ветра, толпились темные фигуры, объединенные желанием втиснуться в щель между спинами и замереть, ожидая своей остановки.

Лишь на секунду Борис Окоемов допустил возможность такого испытания и, хмуро замкнувшись в сознании того, что надо еще мерзнуть и шагать, мерзнуть и шагать не менее получаса, двинулся в сторону Дворцового моста.

Пока ветер жег лицо и тени от фонарей накладывались одна на другую, множились и дробились, можно было подвести некоторые итоги и услышать от себя самого неутешительную правду.

Правда состояла в том, что жизнь шла томительно, болезненно, без чувства полноты и самодостаточности.

Он давно уже жил с мыслью, которая ждала его в изголовье постели, когда он просыпался, и всегда воодушевлялся, когда, казалось, находил на нее ответ, отчаивался и страдал, если не мог этого сделать. Мысль, вернее, вопрос состоял в том, почему разные люди по-разному чувствуют себя в жизни, почему одни, их он знал и тайно завидовал им, живут уверенно и наполненно, а другие этого не умеют или не могут, почему между чувствами двух разных людей существует такая разница, почему им счастья и радости отпущено не поровну?

Но дело тут шло не о рассуждениях, дело тут шло о самой жизни. Потому что он никогда не сможет согласиться жить скуднее и безрадостней, чем некто рядом, это удивляло его, озадачивало, обижало, вызывало чувство зависти, конечно тщательно скрываемой. Но быть может, речь шла не о зависти и не о каких-то мифических счастливицах, а просто-напросто о собственной его душевной боли, от которой он не мог освободиться.

И как раз сейчас на этих скользких, тяжелых плитах гранита, окруженный колючими крупинками снега, вновь и вновь попадая ногами в сугробы, он преодолевал свою удрученность, внутреннюю пустоту, стремился обрести спокойствие и силы. И, как всегда, утешение приносила мысль, что все радости, все счастье жизни еще впереди, и надо только разобраться, как их достигнуть.

Борис перегнулся через перила и заглянул прямо вниз, под опоры моста, где рядом с белой равниной льда, загроможденной торосами, рядом с извивающимися хвостами метелей чернела маслянистая полынья. Было жутко оттого, что ты словно бы висишь над этой бездной и перила вот-вот не выдержат.

Набережные по обе стороны моста были почти не видны, только мерцал пунктир белесых фонарей, да окна Зимнего дворца желто и тепло светились. Легко было вообразить за ними музыку, кружева, улыбки. Светились несколько окон и в других домах вдоль набережной, но редко и тускло. Направо, вниз по течению, на краю горизонта, среди наклоненных вперед портовых кранов угасал малиново-тусклый, сплюснутый тучами декабрьский вакат.

Забывшись на мгновение, как забываешься только во сне, Окоемов пережил минуту острой радости, вспомнив что-то нежное и родное, и тотчас же забыл его причину. Он испугался, что радость не вернется, и стал вспоминать, в чем было дело,

Вначале он вспомнил, что ему доставил радость смех слушателей в дымном коридоре, когда они обменивались анекдотами, и он тоже не отставал от других — все тогда долго хохотали. Другую счастливую секунду он пережил накануне, когда вспоминал летний лагерь на берегу моря, переполненного после каждого шторма матовыми медузами, которые не сопротивлялись, если их взять в ладонь. Тогда жизнь тоже шла не совсем гладко, но вспоминать об этих днях, особенно в нынешнюю темень и метель было интересно и хорошо. Потом он вспомнил свои обычные мысли о счастливых и безрадостных людях, и в это мгновение ему почему-то вдруг показалось ужасно лестно, что он мучается такими важными проблемами. На этом наступило примирение с самим собой.

Но было еще и нечто другое, именно то, что принесло ему только что такую острую и внезапную радость. Это был один взгляд, с которым он встретился в упор на самых ступенях гардероба, от этого взгляда у него закружилась голова и он неловко отступил назад, пропуская его обладательницу. Всего долю секунды они смотрели друг другу в глаза, а сейчас, если вспомнить, получается, что они уже были почти что знакомы. Бывают такие взгляды, но Борис ни за что не согласился бы думать, что так же точно эти глаза смотрят на каждого встречного.

Он понял об этой девушке многое за эти секунды. Она смотрела с любопытством, смягчаемым здравым смыслом и женским достоинством, смотрела так прямо, как могут смотреть только очень самостоятельные люди, и еще что-то в этом взгляде говорило об одиночестве и поиске поддержки.

Тогда же, в вестибюле, она подошла к Сергею Меньшину, остановилась и о чем-то заговорила, ежеминутно готовая рассмеяться, Сергею потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы ей подыграть, и скоро оба они уже хохотали.

Борис только теперь понял, что видел эту девушку уже не раз, но тогда она почему-то выглядела совершенно иначе, была совсем не такой красивой и неожиданной, как сегодня, а звали ее Ася Узнаева.

Борис подошел к ней, и они поздоровались. На этом знакомство и закончилось, потому что Сергей говорил не останавливаясь, стоять же рядом и молчать показалось Борису глупым, и он ушел из вестибюля, встряхнулся под тяжелым и слегка сыроватым с утра пальто, хлопнул сначала одной дверью, потом второй и остался один на один с резким и колючим ветром.

Теперь он подумал, что эти несколько минут были самыми важными для него за последние полгода.

У него были реальные шансы увидеть Асю Узнаеву в Павловске, куда она, вероятно, тоже поедет, и эта мысль неожиданно сильно взволновала его и озадачила. Он вошел в ворота своего дома и направился к двери парадной.

2

Незаметно спустившиеся сумерки означали, что пора было торопиться. Сергей Меньшин, усмехнувшись, посмотрел себе в глаза через квадратное зеркало, сделал понимающую гримасу, неумело поправил галстук, который все время приходил в противоречие с воротником рубашки, растрепал волосы и тщательно причесался.

Часов на руке не оказалось, и, чтобы их обнаружить, пришлось перерыть весь рабочий стол, а перерыв, оставив неубранным образовавшийся хаос, — немудрено было опоздать.

Уже одетый, он вернулся на кухню, ухватил двумя пальцами с боков и отправил себе в рот холодную котлету. Тихо улыбаясь, он репетировал сегодняшнюю роль, слегка грубоватый, обаятельно неуклюжий мужчина с платком, явственно выглядывающим из бокового кармана.

А пока что важно было не опоздать.

Из открытого кем-то окна парадной на него дохнуло метелью.

Воздух на улице был колюч и темен, и если бы не окна первых этажей, которые теплились то розовым, то вдруг синим светом, не увидеть было бы собственной руки.

Он миновал переулочек и оказался на проспекте, где бродили тысячи теней, бликов света от фонарей, фар автомобилей, витрин магазинов, мимо которых сновали темные фигуры, завихря за собой клубы пара.

Вечерняя суета не поколебала его бодрости и ровного настроения. Впереди его ждали, пусть незначительные, но успехи, а от них легко перейти к более крупным, не выдыхаясь и не удовлетворяясь достигнутым. Жизнь набирала ход, а то, что многие завоевания все еще впереди, только не давало скучать и ныть. Его битва за самоутверждение продолжалась уже не первый год, и в воображаемых состязаниях он уже не раз оказывался победителем. Это касалось и сегодняшнего «ночного бала», где, он знал, на него исподволь будут смотреть десятки глаз.

От ходьбы он согрелся, и снег, попадавший на щеки и лоб, освежал лицо. Он миновал витрины гастронома и старух в его дверях, деловитых старух зимней улицы. Быть может, они и не были еще старухами, а во всем виноваты были серые теплые

платки, но в их скучной торопливости и безразличии к окружающему было много старушечьего. Они спешили, обгоняли друг друга, чтобы купить двести граммов масла, кулек сахара или крендель к чаю и исчезнуть в низкой подворотне.

Кроме большей торопливости прохожих, ничто не говорило о близости праздника, и Сергей начинал с грустью думать, что встречи Нового года что-то зачастили, стали незаметными в суете, а это было предупреждением о возрасте. Эта мысль, впрочем, несколько его не угнетала, а вызывала только веселую злость и уверенность в своей неуязвимости.

Все яснее и яснее он рисовал в воображении свою новую любовь — Асю Узнаеву, ее лицо с трогательно сложенными губами, когда она оглядывалась, всю ее разом, с ног до головы. Эти воспоминания были столь достоверны, что вскоре Сергей уже мысленно разговаривал с ней, тихо похихатывая себе под нос.

Раза два он обнаруживал ее фигуру на противоположной стороне улицы, с удивлением замечал, что сам заметно волнуется, откашливался и сразу же вслед за этим понимал, что ошибся. Они твердо договаривались, что едут поездом 20.18, и еще неизвестно, как они найдут своих, если поедут следующим поездом.

Ася не шла, и он про себя начал тихо ее поругивать словами, которых никогда бы не произнес вслух. В шутку, конечно. И это его немного согрело.

Автобус, желанный, как обитаемый остров посреди океана, светился голубым свечением и дребезжал всеми своими деталями, грозя немедленно развалиться.

Тем не менее там было тепло, и если сесть к окну и постараться согреться, то путешествию оказывалось увлекательным и совсем не хотелось, чтобы оно быстро закончилось.

Странная, в сущности, это вещь — вечерний зимний автобус, собравший под своими светильниками одиннадцать незнакомых путешественников и мчащий их с одного ледяного ухаба на другой! Но кто не пересекал в декабрьские сумерки город из одного конца в другой, не вдаваясь в детали этого путешествия?

А приходилось ли вам внимательно присмотреться к своему соседу напротив или справа? Взгляните, как неуверенно он смотрит по сторонам! Какой груз влачит на себе каждый из них, каждый единственный и одинокий свидетель этой поездки? Но кто же станет этим заниматься в автобусе, если только

сосед — не нарядная девушка с заманчивыми и смелыми глазами?

Да и не вам, сказать по совести, этим заниматься! Подумайте лучше о себе, о том, что впереди — домашние неприятности, необходимый звонок по телефону, когда вам ответят: «Как, как? Повторите вашу фамилию!» — и с возмущением скажут: «Не знаю такого!», или пустая комната и открытая баночка бычков в томате на столе. Это не располагает к любопытству.

Поэтому каждый пассажир положительно решает собственные проблемы, думает о прошедшем дне и встает, боясь пропустить свою остановку.

В автобусе никто не обратил особого внимания на Окоемова и не знал, что он, подперев лицо, мучительно им всем завидует.

Лязгнули двери, и знакомая, как навязчивая мысль о ней самой, в автобус вошла Ася Узнаева, скользнула взглядом по рядам кресел и уселась спиной к Борису. В ту секунду, когда он видел ее лицо, оно поразило его своей серьезностью и сосредоточенностью.

Бориса охватила легкая лихорадка. Если сейчас не подойти к Асе, то это будет означать, что они незнакомы, хотя только час назад видели друг друга. В этом случае знакомство надо начинать сначала, и кто скажет, каких еще новых неловкостей оно будет стоить? Если вообще состоится.

Этого допускать было невозможно, и Борис чуть не прикусил язык от решительности.

Он поднялся со своего места и, балансируя в проходе, направился к переднему сиденью.

— Вам выходить на следующей... — тоном заговорщика произнес он и уселся рядом с Асей.

Она молча на него посмотрела и слегка приподняла брови.

— Следующая остановка — Витебский вокзал... — откашлявшись, добавил Борис.

Тут Ася вспомнила, что они знакомы, и должного отпора давать не потребуется. Тотчас же она приняла его условия игры.

— Надо полагать, телепатия? — сказала она и повертела пальцем у виска.

— С уклоном в психопатию, — ответил Борис.

Они соскочили на скользкий тротуар и, спеша, зашагали к пригородным кассам.

Там их ждал Сергей, ни одним движением лица не выдавший своего удивления или недовольства, и они побежали на платформу все вместе и все порознь, Сергей внимательно

присматривался к Борису, не понимая, как ему удалось его опередить, и спокойно говоря себе, что Борис — несерьезный соперник. Говоря себе это, он тихо и удовлетворенно улыбался.

В вагоне они нашли общих знакомых.

### 3

В его восемнадцать с половиной лет Бориса Окоемова только условно можно было назвать взрослым. Как мучительный недостаток он ощущал свою юность и неопытность в мужских делах.

Все чаще это ему казалось главным изъяном, не преодолев который, ему становилось все тяжелее и мучительней жить.

А между тем как соблазн и искушение эта проблема стояла перед ним с неполных четырнадцати лет, то вызывая невероятные предчувствия и ослепительные грезы, то мучая неуверенностью и страхами.

Первый зрительный соблазн перевернул все в его жизни.

Скромные девочки в трусиках в сборочку во время занятий физкультурой так потрясали его, что он не в состоянии был проглотить комок в горле, руки его начинали дрожать и коленки подгибались.

Только страх стать отцом в четырнадцать лет оказался силой, которая остановила его бешеные грезы, не дав им осуществиться.

Вместо того чтобы почувствовать уверенность в себе для более тесных отношений со своими юными сверстниками, он, наоборот, замкнулся в себе и как-то особенно резко пресекал всякие попытки даже простого и дружеского сближения.

Минуты и дни возделений сменялись месяцами утрюмства и отчужденности.

Постепенно эта естественная, неизбежная проблема стала главной проблемой его жизни, проблемой, с которой он постоянно пребывал наедине, без любых посредников или свидетелей, и наконец первый любовный опыт начал рисоваться ему проблемой, сходной по сложности с посадкой космического корабля на поверхность Луны.

Позже чередой возникали влюбленности, чаще всего не сопровождавшиеся чувственными устремлениями, с громадным душевным подъемом, пересмотром всей своей жизни, начиная с чистки обуви и перемены убранства комнаты и кончая отношениями со всеми близкими, с безграничной радостью от каждой минуты существования, любви короткие и опустошающие.

Но позже, уже к восемнадцати, и это превратилось для него в проблему. Ему казалось, что те бурные и восторженные чувства, которые он пережил в отрочестве, ушли бесследно, и он ежеминутно мог тосковать по безграничному душевному подъему, которого, как ему казалось, теперь уже не вернуть.

От этого жизнь становилась все сложнее и сложнее.

А тут подкатили новогодние праздники, начавшиеся с поездки на ночной новогодний бал в Павловск.

И вот уже поезд набирал ход.

Какже-то химеры витали в клубах снега над платформой Павловска, и, несмотря на смутное свечение станционных фонарей, не видать было собственной руки.

Поезд миновал Пушкин и, набирая скорость, мчался среди полей и занесенных снегом оврагов с обнаженными черными прутьями кустарников. Все трое стояли в тамбуре, в котором казалось особенно пустынно из-за мороза, который украсил окна и даже стены толстым слоем мохнатого инея. Дуло из окна и через притворенные двери между вагонами. Все лязгало и ходило ходуном. Приблизив лицо к черному окну без стекла, Борис на секунду погрузился в снежную глубину ночи, где среди белых пустот рвал пространство на клочья встречный ветер. Мир был окрашен черным и фиолетовым.

Перекрикивая лязганье колес, они попытались продолжить разговор и веселье, но это оказалось слишком сложно, и все замолчали, глядя то себе под ноги, то в глаза друг другу. И Ася, и Сергей не понесли ущерба от этого молчания, а для Бориса оно, неведомо почему, стало мучительным. Каждая секунда безмолвия его тяготила. Вечер еще только начинался, и он уже казался ему испорченным. Испорченным не для себя, конечно, а для окружающих.

Два раза дернув, поезд остановился, упругие полосы пурги за окном стали бессильными клочками снега. Медленно кружась, они падали на рельсы. Ноги, привыкшие к вибрации, тихонько заняли.

Вереница темных фигур потянулась на мягкий белый перрон, стала образовывать кружки, группы, поток, который струился с перрона под тени деревьев, где вилась протоптанная дорожка. Освещенные синим светом изнутри, автобусы обгоняли потоки, тяжело приседая на задние колеса, уносились за поворот, подмигивая красными огоньками и оставляя позади себя темные облачка газа.

Именно с этой минуты Бориса охватила нежность ко всем, кто был рядом, радость, сменявшая угрюмство, начала звучать

осторожно, шепяще и взволнованно. Хрупкая, такая, что ее надо было каждую секунду оберегать от боли, отчаянная, как вызов судьбе, знакомая, как вернувшееся детство, она уже не оставляла его всю ночь.

Он оглянулся по сторонам: воздух был здесь не в пример свежее, и даже тускло мерцающий снег казался приветливей. Можно было не думать и не смотреть по сторонам, и смотреть-то было не на что, во всяком случае, у Бориса впечатление о Павловске состояло из воспоминаний о черной, полуоттаявшей дороге, о дуплистой иве над мостом, смеющихся рослых женщинах впереди и падающих с деревьев легких сцеплениях снега.

Потом спереди встали железные ворота, толпа в дверях. Войти в них и согреться удастся еще не скоро.

Давно уже у Бориса не возникало такого ясного ощущения, что он на месте, и нигде он не чувствовал себя так хорошо и спокойно, как у этих железных ворот, запруженных человеческими фигурами. Все, что говорилось рядом, казалось ему сейчас особенно метким и сдержанно-остроумным, и он со стороны поглядывал на себя в окружении приятелей и, словно впервые их увидев, радовался их простоте и достоинству.

В сутолоке гардероба все скоро нашли друг друга и, постепенно согреваясь, поджидали отставших, чтобы двинуться вместе в зал, где уже грохотал кустарный диксиленд и возбужденно обсуждали проблему покупки спиртного совсем еще молодые люди.

Шло распределение столиков в зале,плыли над головами стулья, сдвигались столы, возникали неизбежные конфликты, которые тут же улаживались. Соседи Бориса терпеливо вертели в руках бокалы, пока стекло не затуманивалось, в ожидании бутылок и закуски, за которыми ушли в буфет их друзья. Оставалось осматривать зал, отыскивать тех, кого знаешь в лицо, и заставить их врасплох за суетой или безнадежными поисками стула. Суету и неустроенность постепенно успокаивала водка и «гамза», раздобытые на общие паи, и вот уже некто в сверкающе-красном пиджаке уводит девушку из-за вашего стола танцевать. Кровь бурно и размеренно бьется в виске, все происходящее становится напряженным и волнующим действием, стоит немного наклонить голову, и зал уже валится в непонятном, грохочущем в такт биению крови в голове танце под уклон, и в то же время стоит на месте, и вот наконец перед Борисом только глаза — женственно блестящие, глубокне и темные, смотреть в них — напряженное и долгожданное наслаждение.

И уже не надо поддерживать разговор, слушать соседа, а достаточно медленно повернуться и увидеть в неровном свете подслеповатых люстр галдящие столики, приземистые колонны, одно или два осмысленных лица, женские ноги, закинутые одна на другую, руки, поправляющие прическу специально для вас, — и все преобразится.

Неловко поднявшись, все трое, Ася, Сергей и Борис выбрались из-за стола. Сергей критически поглядывал на Бориса, а тому казалось вполне естественным сопровождать Асю. В вестибюле гулял холод, и это действовало отрезвляюще. Со всем не дворцовая лестница вела наверх. К ней надо было идти мимо низких зеркал. Человек со старчески съжившимся лицом в малиновом гусарском мундире, с кисточками и на ватине, с остатками белых перьев от подушек на спине прошел мимо них по лестнице.

— Это Иван Васильевич, — прокомментировал Сергей, — он замечательный человек. Он приехал из Тувы. На лекциях он переписывает заново «Анну Каренину», у него большие претензии к этому роману. Еще он пишет либретто оперы. Или балета, точно не знаю.

4

Десять минут они сидели тесным кружком. Окоемов исподволь смотрел, как она поправляет волосы, прислушивается к разговору, колеблется, стоит ли принимать всерьез своих новых знакомых. Ей все-таки было довольно интересно, и она не подозревала, что едва заметная улыбка, выплывающая на ее губах, делает ее новой и недоступной. Ей было легко и весело, и она не знала, что почти уничтожила Бориса своей прелестью. А ему только хотелось подольше быть возле, сжаться и уменьшиться в размерах, затаить дыхание. Он не смог бы сейчас сказать, что его так привязывало к Асе Узнаевой: утренняя решимость идти до конца или искренний порыв. Для увлечения это было слишком жутко и рискованно. Его поражала ее полная самостоятельность: ничто не омрачало и не сковывало ее спокойствия, она смеялась и сверкала тут же, рядом, но совсем не для Бориса и помимо него. Она ни к чему не хотела принуждать его. Это показалось ему таким ценным, что он взволновался, точно стоял на краю обрыва или бездны. Так ему стоялось у откоса, на стене генуэзской крепости в Крыму прошлым летом, в августе. Его сердце так же трепетало, когда, поднимаясь по тропинке между сухими стеблями травы и ко-

лючек, он все шире различал края залива, полосатую глубину воды, горизонт, слегка наклоненный вправо, поселок в низине в тени разомлевших деревьев, пыльную по краям дорогу и снова море, лежащее в мутных и чистых, зеленых и синих пластах воды. Посередине залива колебалась красная заржавленная цистерна, и к ней плыл одинокий пловец. Тогда Борису было так же хорошо и страшно в шаге от пустоты.

— А того человека в странном галстуке я, кажется, не знаю...

— Не кажется ли вам, Ася, что уже достаточно знакомств для одного вечера? — критически спросил Сергей.

— Похоже на то, что даже слишком много.

— Разбаловали вас, Ася, вот что я вам скажу. Вам бы с вашими данными надо заниматься физическим трудом.

Борис посмотрел на Асю, на ее спокойно отдыхающее в недрах дивана тело и тихо сказал:

— А что, Ася бы с этим отлично справилась. Бегала бы с ведрами за водой...

Ася понимающе посмотрела на Бориса и сказала:

— Спасибо.

За последнее время жизнь редко казалась легкой и победительной в глазах Бориса, гораздо чаще ему приходилось на словах доказывать себе, что будущее стоит еще одной попытки. Сейчас он едва слышно сказал: «Пожалуйста», — потому что это «спасибо» вызвало в нем острую, как укол иглы, радость. Эта радость освежила и мгновенно примирила его с окружающим миром, и полутемный тупик коридора с белым окном, с ненатертым матовым паркетом, с клеевым запахом новой мебели открыл ему свою добрую, благодатную сущность, а будущее стало удивительно легким.

Но так было только одно мгновение, потом радость покинула его, ее оказалось невозможно задержать и превратить в поступки, и внезапно он почувствовал, что находится рядом с Асей — дело, ему почти непосильное. И это опять погрузило его в отчаяние.

Он подумал, как далеко его дом, постель, обивка дивана перед глазами, единственное желанное место для него в эту минуту, от которого его отделяли долгая ночь, путь в электричке с воспаленными от недосыпа веками, необходимость быть свободным, уверенным...

Неожиданно Сергей поднялся со своего места рядом с Асей. Он выглядел почему-то раздраженным и озабоченным. Пробормотав что-то себе под нос, он большими шагами уда-

лился по коридору, оставляя Бориса с Асей сидеть вдвоем, рядом на скомканном чехле дивана.

Казалось, Ася поняла смятение Бориса и постаралась его успокоить.

— Я посплю, — сказала она кротко и, свернувшись калачиком, улеглась на краю дивана.

Борис остался сидеть, подперев подбородок руками, бережно глядя, как вздрагивали ресницы и тихо шевелились губы на ее мирном безмятежном лице.

Она чему-то тихо улыбалась, чего-то словно бы ждала...

Не в силах преодолеть оцепенение, Борис сидел и думал. Полное молчание продолжалось минут десять.

Ресницы вздрогнули, и она проснулась.

— Куда это пропал наш новый знакомый? Пойдемте его поищем.

Она ушла по коридору так стремительно, что Борис чуть не отстал от нее.

Пора уже было расходиться, и непроизвольно все потянулись в каком-то общем порыве в вестибюль, к гардеробу.

Втроем они стояли в сторонке, выжидая, когда самые шумные и нетерпеливые их коллеги поделят свои пальто и номерки, когда растащат по углам шубы и платки.

Ничто не дрогнуло в лице Аси, то же безмятежное ожидание светилось на нем, а для Бориса она вдруг стала бесконечно далекой и недоступной. Что в ней изменилось, сказать было невозможно, но она была совсем другой, чужой и устрашающе равнодушной.

— Я, кажется, оставил свой номерок в коридоре... — рассеянно шаря по карманам, пробормотал Борис. — Подождите меня, я мигом...

Через три ступеньки он перелетел наверх по лестнице, повернул за угол, ощутил памятный теперь ему на всю жизнь запах свежеклееной мебели, увидел вновь ту же знакомую декорацию: окно с белым подоконником, диван, на котором сбился в угол полотняная ткань чехла...

Номерок нашелся в самом углу, он чуть не провалился в щель.

Когда Борис вернулся в гардероб, на него подул морозным ветром и безлюдьем. Сергей и Ася исчезли.

В руках сам собой вертелся номерок.

Он посмотрел на него: 487.

«Надо будет запомнить», — почему-то сказал себе Окоемов,

С утра к перронам ленинградских вокзалов, пробираясь между каракулями пригородных сараев, заборов и домишек, исчезая в зимнем тумане, оглашая окрестности долгими криками, движутся осторожные зеленые электрички. В одном вагоне, окруженные современниками-попутчиками, сидите вы, и голову вашу качают из стороны в сторону вдоль рамы окна тормоза и моторы этих утренних поездов. Но быть может, меня обманула внешность, и я ошибся, приняв вас издали за знакомого, и совсем другой человек, иных убеждений, сидит у окна, и, значит, на станциях «Скачки», «Аэропорт» или «Дачное» мне не вырваться из своего одиночества. И лучше вспомнить о том, куда я еду, об улице, где воздух пропитан кислым и угарным туманом, и не шевельнется ни одно лепное украшение на здании вокзала, как не взлетит, взмахнувши крыльями, ни один архангел с карниза Исаакиевского собора, не ужаснется возможности убитья, упав с высоты, ни один мудрец на стенах Эрмитажа, их не удивит твое неожиданное появление, твоя радость от встречи с округлой гранитной плитой набережной, на вершине этого единственного в твоей жизни мостика.

Каким я вижу этот город в своем воображении? Сегодня это осенняя мокрая улица, обдуваемая ветром, с расплывшимися в лужах светящимися блюдцами отраженных фонарей, с дощечкой автобусной остановки на отсыревшей штукатурке рядом с толстой мемориальной доской, пустынная автобусная остановка и необыкновенная, печальная радость от предстоящей встречи, от чувства, что здесь тебя знают и ждут. В другой раз город явится воспоминанием о высокой моей комнате, о морозе, молчаливо и серьезно надвинувшемся на темное окно, за которым снежная пустыня, и виден среди красных пятен и колец в глазах от только что погашенной лампочки лепной карниз потолка в малиновых отсветах уличного зарева, и опять то же чувство участия в общем, глухом и высоком размышлении о жизни. Или освещенный подвал гастронома, пол в котором заляпан грязью, яркий свет делает лица неправдоподобно бледными, а ноги уходящей в рыбный отдел женщины напоминают о возможности счастья; или необыкновенно чистое сентябрьское утро над Михайловским садом, не желающим желтеть раньше времени, с золотым и тяжелым крестом на шпиле Павловского замка, и высокие белесые небеса — память о прошедшем лете. Так город бесконечно меняет свой облик.

Каждое утро на его лице лишь сдвигаются скулы, а выражение надменного лица остается серьезным и безразличным. И не надо так уж часто оставаться один на один с Александрийской колонной, маяками Ростральных колонн, охраняемыми изъеденными временем каменными богами, не надо так уж часто проходить под аркой Святейшего Синода, чтобы знать, где ты живешь. И можно лишь на секунду увидеть через запотевшие стекла, как мелькнет купол Адмиралтейства, в который упирается Гороховая улица, и унести на автобусных колесах в совсем другие, скучные кварталы, все равно ты останешься гражданином оставленной столицы, таким же сосредоточенным, как этот город.

Борис возвращался шестичасовым поездом в компании усталых и, к счастью, сонных приятелей. О Сергее и Асе никто не вспоминал, считая тем самым их отсутствие вполне законным и естественным, и, сколько мог видеть Борис, никто за ним тайно не наблюдал и тихо не издевался.

Уже открылись двери метро и, шагнув с эскалатора, можно было не обращать внимания на имитацию царскосельского пейзажа станции «Пушкинская», а вместо этого отдыхать на мягкой скамье поезда, где вполне достаточно места для всех, кто войдет на станции «Площадь Мира», после пересадки на Технологическом, по перрону которого двигает свою широкую швабру с кучей опилок уборщица в синем халате.

Борис поднялся по узким и высоким ступеням на асфальт Невского проспекта, когда на Думе что-то перезванивало и светилось. Было сыро и давно уже не холодно. Начиналось 31 декабря нынешнего года. Пора было идти домой, в знакомые ворота, лязгать ключом в дверях, спотыкаться в коридоре и спать, спать без памяти, без движений.

6

Ася Узнаева любила сама находить себе знакомых. Их было много, они либо держались с неестественной веселостью, изображая непринужденность или претендуя на панибратство, либо были откровенно влюблены. И она не уставала раздобывать знакомых повсюду, где бы ни оказывалась, в самых неожиданных местах, хотя само по себе знакомство еще ничего не обозначало. Ее испытующий и любопытный взгляд бродил по чужим лицам, и в этой любознательности не было ни блажи, ни легкомыслия. После еще недавних первых влюбленностей, когда вдруг становилось совершенно очевидным, что не найти человека ни умнее, ни ближе, а потом приходило столь же убедительное разочарование и отчужденность, пришла пора

разумного и самостоятельного выбора. Она не могла больше ждать и сама отправилась на поиски тех единственных и необходимых черт, найти которые она готовилась с самого детства.

Она сделалась опытнее и разборчивее.

Привлекательных и мужественных лиц встречалось довольно много, но уже не новостью было то, что удивительное на первый взгляд лицо может вызывать непреодолимую скуку.

Лишь смутно Ася намечала себе более точные способы определения человеческих ценностей, и по-прежнему за складом губ и выражением глаз ей виделась какая-то особая, неведомая и необыкновенная жизнь, а это было уже похоже на влюбленность.

Вскоре она приобрела необходимую твердость и способность маневрировать, а спокойствие и равномерная приветливость сделали ее действительно приятной собеседницей. Наверное, не было возле нее человека, к которому она отнеслась бы подозрительно или враждебно. Случались, конечно, обиды и неприязни, но они не задевали ее безмятежной сути.

Мельком она видела, встречая собственный взгляд в зеркальном отражении, неожиданную свою прелесть, какое-то матовое сверкание, и еще чаще встречала вокруг такие же искательные взгляды со стороны. Она не отводила глаз, заглядывать в чужие глаза было легко и неопасно, а если переkreщивание взглядов затягивалось, то она с мягкой улыбкой опускала глаза, и нельзя было найти в ее лице отчужденности или неприязни. А чья-то враждебность ее огорчала и удивляла. Она старалась найти в себе основания для дурного к себе отношения, но не находила, и эта необъяснимая чужая злоба иногда заставляла ее плакать, чаще всего в постели перед сном. Но обычно слезы приносили сладкое успокоение, с которым она забывалась и расставалась лишь за несколько мгновений до того внутреннего толчка, который возвращал ее к реальности смятой постели, цветов на черной ширме, отблесков стекла на стене. Она вздыхала, проводила рукой по жестким волосам и бодро накидывала халат.

Она искала опору, которая дала бы ей уверенность в себе и возможность бессознательно кому-то подражать, человека, который сумел бы определить ее самостоятельное и достойное место в мире, и, видит бог, для нее не существовало канонів и принятых репутаций — в выборе она доверяла не чужим словам, а только своему чувству.

Меньше всего она могла бы рассказать что-нибудь о своих переживаниях и порывах. Она видела саму себя лишь через отношения с другими людьми и, потеряв из виду человека,

вскоре переставала думать и вспоминать о том, что ее с ним связывало. Так жизнь несла ее мимо лиц, фраз, дней, зданий, фигур на маленьких островах, небритых и отчаянно размахивающих белой тряпкой, и все время ее не покидало чувство, что все это еще только начало, вступление, а самое главное еще едва виднеется.

Так она добралась до знакомства с Сергеем, потом Борисом, которые на первых порах не слишком выделялись среди ее многочисленных друзей, однако что-то назрело в ней такое, что кому-то из них она должна поручить свое доверие и легкий соблазн сближения.

Тяжелый сумрак смотрел в окно на следующий день. Борису больше никуда не хотелось идти, да и приглашений заманчивых не было, и он встречал Новый год дома.

В крахмальной рубашке, хранящей на рукавах складки от глаженья, он сидел за столом маленькой столовой, нога закинута за ногу, локоть упирается в колено, ладонь подпирает подбородок. За столом сидели гости родителей, и его занимало довольство и легкое лукавство этих пожилых уже людей, устоявших в бурях жизни, ставших к своим шестидесяти годам теми, кто они есть, и решивших сейчас, вдали от бурь, создать видимость полной безмятежности. Для домашних встреч у них были припасены особые гримасы, шутки, лица, и казалось, не было ничего в мире, что могло бы вывести их из благодушного спокойствия и лишить возможности весело и умно посмеяться. Борис воображал Асю сидящей здесь, розовую от свежего воздуха, расправляющую платье на коленях и поглядывающую на него, как он чокается, удачно шутит, берет лосося из жестяной банки, тербит угол скатерти, откашливается. Но у нее все было иначе, и, кто знает, что делает она сейчас в своей дали, и, хотя Борису казалось, что ей в эту минуту так же одиноко и торжественно, как и ему, вернее не казалось, а верилось, потому что он был убежден, что хорошо, лучше других понимает Асю, тем не менее его не оставляло чувство покинутости. Оно как бы знаменовало собой последние часы уходящего года. Пусть же они будут еще стесненнее и горше. А Новый год впереди еще такой безгранично большой и полный неожиданных радостей, что в нем все получится иначе.

После тостов, смеха, передачи по рядам дымящегося пирога, отодвигания стульев, рюмки водки, помидоров без кожуры, падения вилки, речи по радио, боя курантов, пузырьков газа на замутиненных хрустальных бокалах, успокоения, когда все сели, празднично зазвонил телефон. Вздвинувшись пред-

чувствуя что-то, Борис выбрался из-за стола. В передней праздничное оживление слышалось слабее и глуше, чем отчетливый звонок. Борис осторожно протянул руку к телефонной трубке и заговорил, стараясь, чтобы голос его хорошо слушался.

— Да.

— Кто это?

— Это... я. А вы кто?

— Пятый контрольный?

— Нет совсем не пятый, далеко не пятый.

— Это Козлов говорит. Мне пятаю подстанцию.

Вот и поговорили. Вешая трубку, Борис слегка прикусил язык. Потом он вернулся на свое место в углу столовой. Здесь что-то говорили интересное.

7

Куда девались недавние морозы? Толстые стены, еще хранящие в себе холод прошедших ночей, заросли инеем, белые разводы которого делали дома словно бы недостроенными, дворничихи метали привычными деревянными лопатами грязные глыбы слежавшегося снега под колеса автомобилей, которые тяжело и жирно разбрызгивали желтое месиво снега, воды и песка.

В какое-то мгновение Окоемову весь его день с ходьбой, открыванием дверей, ездой в автобусе, сидением перед зеленой лампой в библиотеке, терпеливым ожиданием в очереди с номерком в руке, показался черновиком, густо перечеркнутым и лишь кое-где украшенным посторонним орнаментом. Он сосредоточенно шагал по узкой, возвышающейся над лужами, почерневшей тропинке посреди двора, и эта суета и скрытое раздражение вот-вот должны были успокоиться дома, словно они к этому и стремились. Он долго вытирал ноги в дверях об кусок еще недавно зеленой дорожки.

Было бы любопытно понаблюдать посторонним взглядом за человеком, пришедшим домой, когда там никого нет, пребывающим в тяжелой задумчивости и к тому же не знающим, чем себя занять в ближайшее время. Он останавливается у стула, на котором лежит скомканная газета, и читает: «У нас в Ерепеньевке более двадцати девчат спортсменок, и это немало, особенно...», потом снимает правый туфель, подпирает голову рукой и замирает на стуле, не в силах решить, хотел ли оскорбить его приятель, сказав, что у него не было настроения звонить вчера вечером, потом подходит к окну и наблюдает жизнь водосточной трубы. Потом решительно садится за стол

и обхватывает голову руками. В этот момент он может размышлять о тайнах Вселенной с таким же успехом, как и думать, чего ему больше хочется — поесть или поспать. Борис открыл учебник по диалектологии и стал читать, уже получая удовольствие от сравнения формулировок и только что появившихся собственных мыслей, когда ему пришлось подойти к телефону. Это был Сергей.

— Ну, и как же ты думаешь провести сегодняшний вечер?

— Мне казалось, что он уже наступил. . .

— И тебе не надоело еще корпеть над книжкой? Не лучше ли предаться разгулу, развеяться, а уж с завтрашнего утра начать заниматься по-настоящему?

— Чтобы предаться разгулу, мало одного желания. . .

— Самое главное — чтобы было желание. . . Мы тут с Асей уже успели надоесть друг другу.

Борис представил себе Асю стоящей рядом с Сергеем, касающейся рукой его плеча, он даже уловил ее дыхание.

— И что же? Ты хочешь, чтобы я уладил ваши взаимоотношения?

— Не знаю, она попросила меня позвонить тебе. . . Сейчас она сама тебе скажет.

— Здравствуйте, Борис. Это Ася.

Это было сказано с сумраком в голосе.

— Я это понял. Что слышно?

Сколько фальши может быть в одной фразе!

— Вы не хотите с нами встретиться?

Во-первых, она сказала «с нами», во-вторых, прошло два дня, в-третьих. . . «со мной» было бы неуместно.

— Могу ли я не хотеть с вами встретиться? Но что мы будем делать втроем, не пойму.

— Не знаю.

В этих словах звучала усталость. Борис постарался поскорей что-нибудь придумать.

— Ну, давайте пойдем в кино, например. Если посмотреть в газете, то может быть, что-нибудь и отыщем.

Они договорились встретиться в полдевятого на углу Невского и Литейного.

Бориса охватила жажда деятельности и сменившее усталость чувство примиренности, которое наполнило его жизнь какой-то горькой сладостью, и в этом, казалось, был заложен глубокий смысл.

Сергей Меньшин не предполагал, что можно так усложнять интимные отношения. Он любил людей, которые знают, чего они сами хотят. Этого, казалось, нельзя было сказать об Асе Узнаевой. Она сидела на тахте, подобрав под себя ноги, потупив глаза, прикрытые прядью волос, была холодна, молчалива и спокойна. Удивительным в ней было это ее спокойствие, которое она выдерживала гораздо дольше, чем способны были выдерживать ее противники, и там, где они уже не могли скрыть раздражение или нетерпение, она хранила бесконечно-безмятежные паузы, которые была свободна оборвать в любую секунду. Последнее слово, таким образом, всегда оставалось за ней. Но ей не нравилось только торжествовать и господствовать над другими, и она не была слишком уж чужой Сергею, она умела и любила уступать и подчиняться, но это неизменное угрюмство, приходившее на смену нежности и послушной мягкости, заставляло просто жалеть ее как существо, замкнувшееся в своей недоступности. Но и тут спокойствие ее выручало: отрешенность переходила в ровное, с весельем в щурящихся глазах, благодушие и безмятежность. Тогда он чувствовал, что возле него не было лучше подруги, какие бывают у двенадцатилетних мальчиков: преданные, всепонимающие существа в носках-гольф, в голубой юбочке, вышитой красными и желтыми цветами.

Когда они поднялись с дивана и вышли в прихожую, Ася стала такой девочкой, милой и послушной. И в то же время она сосредоточенно думала о чем-то своем. Раскачивая сомкнутыми руками, они сбежали вниз по лестнице. У дверей парадной светился зеленый фонарик свободного такси, водитель что-то записывал в свой путевой лист, и спидометр тускло подсвечивал на мятую бумагу.

На условленном углу их ждал Окоемов со сползающей набок непрощеной улыбкой. Еще за двадцать шагов он увидел, что они не просто идут вместе, что они идут согласованной и дружной парой. Такие вещи невозможно скрыть, они видны в легкости и слаженности движений двух людей, невидимо связанных друг с другом. Чувствуя это и не желая этого показать, Ася Узнаева немного отошла от Сергея, но это ничего не изменило, и она смущенно и вопросительно улыбнулась Окоемову. А для него этого оказалось достаточно, и он понимающе улыбнулся. Эта улыбка помогла ему нести душевный хаос, который навалился на него, лишь только они пошли вместе. Ася держалась с обоими своими знакомыми одинаково отчужденно и сурово, но это не мешало Борису чувствовать все

время, что он забегает с правого боку и вынужден вертеть головой. Сергей же лишь тихо посмеивался уголком рта, наклонился к Асе, бережно поправлял ей шарф, убирал соринку возле глаза. Так они и шли, пока не оказались на людной лестнице кинотеатра, уже нельзя двигаться самим по себе, маленькими шагами добрались до своих мест, сели и через минуту исчезли в темноте.

Спустя два часа, еще не отрешившись от громкой и ослепительной жизни под ярким небом на морских берегах, выжженных солнцем, в которые ударяют волны цвета индиго, от загорелых лиц и ловких движений, они вышли на посыпанный снежной крупой Невский и еще долго приходили в себя. Сначала вернулся и стал своим Невский с фонарями, потом недавнее прошлое, потом обычные обязанности и заботы.

— Надеюсь, мы расстанемся не навсегда? — сказала Ася Окоемову у автобусной остановки.

— Да, если повезет.

Ему не надолго хватило трезвой расчетливости.

— Конечно. Можно вам позвонить как-нибудь?

— Запишите телефон.

9

На другой день Окоемов не позвонил Асе, хотя что-то подталкивало его к этому. Он решил идти в Филармонию, потому что был назначен концерт его абонемента, книжка которого, использованная до четвертого талона, валялась в боковом ящике стола отца. Кроме Бориса, идти было некому.

В полседьмого он лежал на диване, закинув руку за голову, устремив глаза куда-то вперед, и в его сознании отражалось, казалось, все сразу: и прошедшая новогодняя неделя, от которой оставался пронзительно-горький, но почему-то радующий осадок, и комната с высокими сводами, лежать под которыми изо дня в день было неуютительно, хотя он точно так же лежал под ними много лет, начиная с самого детства, но, конечно, в детстве это была совсем другая комната, как была она другой и пять лет назад, и позавчера, и сегодня утром; в его сознании звучал голос Аси, происходил разговор, который пока еще не состоялся, но он и сейчас ликовал, думая о нем, — легкомысленно-веселый, но очень серьезный разговор, важность которого она поймет по первой же фразе; прозвучавшей в трубке; и черные стены его двора, и звонок разворачивающегося трамвая; и то, что он сегодня прочитал в газете; и множество мелочей, которые он мог в любой момент вспомнить и обдумать; и сама Филармония, в которую он через

пять минут пойдет, ее зал, белый, золотой и красный, с солнечным слепящим светом люстр, белыми в прожилках колоннами и темно-красными бархатными портьерами, кажущимися пыльными, с энергично кипящей темной толпой в партере и на балконе.

Он поборол дремоту, встал, ощущая, как в левую ногу тысячи молоточков заколачивали микроскопические гвоздики, и стал собираться, уже боясь опоздать. Сегодня будет Шестая симфония Чайковского.

Окоемов ходил в Филармонию довольно редко, даже скучал там, но всегда после этого оставались у него полные и важные воспоминания, которые придавали ценность прожитому дню. Когда он был младше, приход туда казался торжественней и незыблемей, а со временем он привык относиться к таким зрелищам равнодушно, и вечер, проведенный в Филармонии, лишь ненамного отличался от обыденности. Но сегодня каждая минута жизни приобрела новый смысл, все наполнилось значением, и если бы сейчас Бориса оставить лицом у глухой стены заднего двора, он и там наслаждался бы ее прохладой и сложным узором трещин и пятен плесени на бледной штукатурке. И хотя сегодня он наверняка не встретит Асю Узнаеву, он будет идти как бы ей навстречу, и его радость от этой возможной встречи найдет тысячи новых форм и воплощений.

Пощелкивая и гремя проводами, разворачиваясь, проплыл освещенный троллейбус — еще одно обитаемое место в тесно заселенном квартале, где люди жгли свет, ели, отдыхали, закрыв глаза или глядя в невысокий потолок. Последние недели Борис смотрел на свое городское окружение, на людей, толпящихся рядом, совсем иначе: раньше он недолюбливал и завидовал многим, теперь стал равнодушнее и доброжелательней. Что он знал о каждом из них? По молодости лет он жизнь каждого незнакомого человека представлял себе как совершенно особую, неведомую область. Он не сознавал того, что жизнь имеет одинаковые и очень прозаические основы: работа, семья, отдых, еда, супружеская жизнь, кровать и коврик над кроватью, отсутствие денег, ожидание на сиденье троллейбуса или автобуса и, как привилегия, место в купированном вагоне, занесенные снегом поля и узкая полоска леса на горизонте за окном поезда. Больше всего его доброжелательность относилась к женщинам, которые жили совсем уже незнакомой, малящей и непохожей на его жизнью. Теперь все переменялось: его собственная жизнь стала недоступной для всей этой толпы, и только жизнь Аси Узнаевой должна была стать понятной, не утратив при этом прелести своей недоступности.

Окоемову предстояло идти по прямой от поворота улицы, на которой не было ни одного витринного стекла, где прохожие разбегались по тротуару, чуть не задевая друг друга, и которая вела в оживление Невского проспекта мимо оплывших колонн Казанского собора. Не жалея обуви, навстречу текли и текли по широкому тротуару проспекта люди. Улица вербует себе добровольцев, и напор ее не ослабевает до поздней ночи. В ней люди живут вне должностей и профессий, и самый важный работник не найдет, чем доказать свое превосходство над остальными; он всегда лишь прохожий, и нарядные женщины, прячущие хрупкость и белизну ног в высокие сапоги, не остаются на нем взгляда дольше чем на одно мгновение.

На улице Бродского уже можно было отличить медленный темный поток, стремящийся к Филармонии мимо служебных дверей, в которые втискивается виолончелист, боящийся опоздать к выходу оркестра.

Теперь надо было миновать три тяжелые двери, к которым маленькими шагами двигалась интеллигентная толпа. Напуганные старушки уже здесь встречали знакомых и заводили любезную и приятную беседу, до тех пор пока не выяснялось, что они не знают, как зовут друг друга, а точнее говоря, видятся впервые.

Старушки вынимали из ридикюлей билеты, а студент в распахнутом пальто пробивался обратно, потому что забыл свой билет дома, благо что живет тут недалеко. Борис разделся и, приглаживая хохол на затылке, вышел на главную лестницу. Он вздрогнул, узнав в девушке, выходящей из боковых дверей, Асю Узнаеву, приветственно поклонился, ошеломленный, но увидел, что это совершенно незнакомая и даже некрасивая девушка. Лицо Аси преследовало его, выплывая снова и снова в чужих женских чертах, кружилось вокруг него, исчезало, замирало и улыбалось.

Между тем переходы, лестницы и залы начинали свою зыбкую, но торжественную жизнь. Покинув тесные жилища, потратив полтора часа на дорогу с проспекта Космонавтов или из отдаленного угла Васильевского острова, привеза выходные туфли в авоське или незаконченную диссертацию в портфеле, припудрив лихорадку над губой или причесав себе лысину, все вместе они составляли, талантливые и посредственные, это торжественное вечернее представление.

— И вы здесь, Даша? Это моя жена. А это Даша — моя сослуживица. Помнишь, я рассказывал? Ну-ка вспомни хорошенько. Не рассказывал? Ну, тогда пойдёмте купим программ. Ах, и вы не одна? Ну, тогда всего доброго.

Вспыхивали три антиулыбки, и снова на лицах безмятежный покой и штиль.

Здесь были пожилые пары; преподаватели в черных костюмах — жена с гладкой прической и слегка надушенным платком в руке, муж хромает на правую ногу — специалисты по латыни; профессор хирургии, привыкший к классической музыке за долгие годы уступок светским наклонностям жены; другие, вспоминающие свое ушедшее, сидя в кресле, слышащие, как разговаривает их молодость во вздохах оркестра, сидящие в такие минуты напряженно, отрешившись, создавая вокруг себя облачко электричества; были молодые любовники, у которых одна судьба — пожениться, хотя оба были друг другом недовольны; одинокие пожилые женщины с тонкими нервными губами и вздрагивающими от музыки коленями; студент Консерватории, призванный в армию, и еще другие, всех не упомянуть.

Окоемов шел по краю ковровой дорожки, не роняя собственного достоинства под перекрестными взглядами. (Где-то смеялась, забыв о нем, подавала кому-то руку, смотрела в глаза, сверкала улыбкой.) В кресле он устроил локти на ручках, скрестил вымытые, в голубых жилах, кисти рук и положил на них подбородок. Кто в целом мире знает, что он сидит здесь, в этом кресле среди наполняющегося зала, где никто не замечает его в толпе, когда даже дома не ответят, где он сейчас, и ничего не переменялось бы, если бы он ушел на улицу, все равно было бы так же светло илюдно, и дирижер за кулисами так же тер бы пальцами веки. Все здесь было закономерно, только он был здесь случайно. По усилившемуся перед началом гулу разговоров он заключил, что сейчас начнут.

Вот распахнулись створы бархатного занавеса сбоку сцены и, занятый своей скрипкой, из них появился прозаически полный человек в черном фрачном костюме. Это появление вызвало за собой целую вереницу фраков и черных платьев, которая с двух сторон затопила сцену, и вскоре оно повлекло за собой энергичное передвиганье стульев. Музыканты рассаживались точно так же, как занимают утром свои места за столами бухгалтеры и экономисты, и только нежная улыбка, скользкая в углах их губ, говорила, что они музыканты. Они рассаживались, долго не находя удобного положения, ставили поближе или отодвигали пюпитры. Флейтист что-то сказал арфистке, та улыбнулась, первая скрипка попросил соседа подвинуться, коснулся смычком струн, опустил смычок на свободно вытянутой руке и стал, откинувшись, глядеть в потолок, словно интересуясь его лепкой, на самом деле — стремясь снять напряжение и сосредоточиться.

«Пусть еще будет пусто какое-то время, но потом начнется новая, невероятная жизнь». Почему-то Борис думал так почти уверенно, почти без опасений, почти торжествующе. Он не знал, как случится эта перемена в его жизни, но должна была она случиться легко и безмятежно. Он хорошо помнил тот момент в углу коридора павловского дворца с запахом паркета и свежелееной мебели, с которого началась его радость, на котором прекратились поиски в потемках одиночества, когда пришли бодрящие силы и уверенность в удаче. Ему было жаль себя в прошлом, но с прошлым теперь было покончено.

Дирижер уже кланялся, когда Окоемов поднял глаза. Он снова опустил их вниз, дожидаясь начала музыки. Наступила напряженная пауза, и она никак не могла прекратиться.

Часть первая.

Так устало. Так печально. Так устало, так печально послышалось сначала почти неуловимое дыхание оркестра. Разрастаясь, вибрируя от сдержанной скорби, все шире и шире раздвигались эти вздохи, и каждая неровность этого дыхания говорила о глубоком убеждении в безнадежности борьбы и доказанной уже единожды обреченности.

И сразу же, словно они стояли все время за спиной, вернулись к Борису дни напрасных ожиданий и сомнений. Это было так знакомо. Борис подумал, что он словно забыл что-то такое, что следовало помнить, что было сильнее его, чье существование он пытался опровергнуть. Да, это ему так дышалось недавно, тяжело и сосредоточенно, словно это он изнемогал, точно не знал, хватит ли сил для новой попытки.

Так поднимается над низким городским горизонтом белое декабрьское солнце, повисает круглым сияющим прямоугольником над деревьями и крышами, не в силах пробиться через мутную завесу. Так же начинался и день после новогодних праздников. Уже во сне, лишь смутно ощущая реальность подушки под виском, холодного никеля прутьев кровати, высокого потолка и пустоты под ним, доверху наполненной какими-то хлопьями, он чувствовал, что света за окном почти нет и, следовательно, утро откладывается на неопределенное, возможно долгое время. «Я проснулся на мрачном рассвете неизвестно которого дня», — усмехнулся в подушку Борис и стал слушать свое сердце. И хотя он знал, что время сна давно прошло, облако, нависшее над окном, было таким плотным и сумрачным, что он только прижимался лицом к подушке и с головокружением возвращался в забытие. Вечерний сумрак не сменился ни ночью, ни рассветом в этот день.

Это был явно лишний день в календаре, и хотелось прожить его поскорее. Если бы знать заранее, сколько таких

скудных дней будет в твоём распоряжении, к ним, может быть, относился бы терпимее.

Ведь поет же в груди и в такие дни тонкая струнка радости, а если прислушаться к своему сердцу, каждый трепещущий миг, который мы живем, исполнен вдохновения и особого опьянения, которого мы склонны не замечать. Из этого стиснутого, радостного мгновения вырастает напев, исполненный беззаботности, грации и полета.

Жизнь в такие дни преподносит нам неожиданные подарки — внезапную нежность к виденному вчера человеку, сознание трогательности бегущего по снежному полю щенка, который вдруг заражает нас своей детской радостью вдыхать сырой, с запахом гари, воздух, проваливаться по щиколотку в мокрый, отвердевающий под ногой снег, слышать неожиданный гудок далекого автомобиля. Вдруг приходит светлое успокоение за рабочим столом, за книгой, в воротах домах. Все это подарки неопределенного дня.

С удовольствием можно распределить время до трех часов, когда надо поехать в Университет на консультацию, можно думать о том, кого хочется встретить сегодня и кому необходимо позвонить. И сама жизнь, такая медленная, почти неподвижная на взгляд, позволяющая привыкнуть к горестям и неудачам и сделать вид, что ты их не замечаешь, представляется в минуты такого успокоения легкой и почти неощутимой, и кажется, что она полностью находится в твоей власти. И только сбоку, в стороне темнеет неразрешенная мысль и непреодоленная неудача.

Но напев, заревившийся в этой свободе, обязан быть тихим и протяжным. И сила напора, возникающая в нем ежеминутно, пусть поостережется идти напролом. Иначе, восторженно завихрившись, набрав силу и громкость, она только вызовет далекий раскат грома, как в детстве самовольное бегство в лес неизбежно вызывает неожиданно близкие громовые раскаты.

Так случилось и на этот раз. Разгулявшийся напев осекся на секунду, убавил пафоса и стал жить тише и размеренней.

Борис думал в эти минуты на свою обычную тему. Вернее, не думал, а чувствовал, чувствовал ее как несправедливость, несообразность законов жизни, которые для большинства других людей были просто очевидной реальностью. Он отказывался допустить, что здоровый, сильный мужчина, получающий от жизни множество удовольствия, имеет большие права на счастье и более живет, чем пожилая девственница; если бы было так, то в мире нужно было исчислить громадное количество правд, причем все они были несовместимы друг с другом. Единственная возможность одного общего исчисления чело-

веческого счастья — признание того, что людям счастья, радости, вообще чувства должно быть отпущено поровну. Это было не утверждение факта, это была лишь отвлеченная мысль, подтверждение которой Борис хотел бы увидеть когда-нибудь в своей жизни. Попытками поисков сокровенной жизненной общности в том, как переживают каждое мгновение Бытия разные люди, и были устремления и страхи Бориса. При этом они оставались его личными устремлениями.

Предвкушение истины освежило и просветлило его душу, в эти минуты он особенно искренне отдавался своим раздумьям, оно посылало ему чувство уверенности в будущем и готовность к преодолению препятствий, что приведет к неминуемому триумфу, который будет состоять в чем-то пока непонятном, но наполняющем благодарностью к Борису множество незнакомых ему людей, быть может, даже тех, которые будут жить, когда его уже не будет на этом свете.

Борис поднял глаза от спины своего соседа, через сдержанно двигающий смычками оркестр в черных фраках, скользнул взглядом по бело-желтым, полным блеска колоннам, прическам и плечам балкона к сверкающей глыбе прозрачной, тяжелой и невесомой люстры. Целая стена разноцветных отблесков, знойных и настойчивых, была приготовлена для глаз Бориса, и он даже раскаялся, что не смотрел на люстру раньше — столь тщательно приготовленное великолепие ждало его там.

Наполненный движением и потаенной жизнью смычков, оркестр набирал силу и надорванный пафос страдания. Расчерченный на квадраты подъемов и спусков, мотив напрягался, силился, стремился вверх, и в его бескровной и ненастоящей борьбе было свое упоение, и не оставалось ничего такого. В ней было все, но была и предопределенность.

Музыка начинала стихать, когда позабытое, но ни на секунду не переставшее звучать в его душе, близкое, как начало жизни, неосязаемое, как прикосновение теплого ветра, к нему вернулось чувство полного и благодатного существования, словно примешанного к каждому мигу, из которых состоит жизнь, засквозила в душу нежность, которая прозвучала возле него наравне с материнской, независимо и свободно, но с такой проникновенностью, что невозможно было на нее не ответить, не броситься ей навстречу. В этой любви была томительность воспоминания; уже единожды забытая, может быть, похороненная, о которой ты сам сказал: несостоявшаяся, она только крепла от твоей грусти, а сила искренности была верней пули, выпущенной в упор. Можно было бросить ее на произвол

судьбы, не шевельнуться ей вслед, но нельзя было не погибнуть вместе с ней, если она погибнет.

Так в детстве он смотрел на широкое, темнеющее вдали море, на которое незаметно ложилась вечерняя тень, потому что солнце уже скрылось за ребристым от волн горизонтом и, надо думать, стремительно продолжало свой путь вниз, на другую сторону земного шара: только на извилистых склонах гор оставалось золото и тепло его лучей. В зеленом просторе неба, уже фиолетовом по краям, светлой каплей висела вечерняя звезда, а полоса расходящихся веером на восток облаков стремительно утрачивала свои краски. Борис стоял, поставив ногу на сыпучую кучу щебня, у самой тропинки, почти на вершине холма, откуда были видны вся бухта и поселок с железными крышами, телеграфными проводами, парком, казавшимся не зеленым, а глинисто-серым, с дорогой, по которой поворачивал почтовый «Москвич».

Борис смотрел туда, где было всего темнее, — в дальний угол бухты, где за морем, как ему казалось, лежал Ленинград его детства. Борис внезапно вспомнил о нем, как о забытой части самого себя, и ему ужасно жалко стало того, что он не вспоминал его так долго. И словно что-то открылось ему за этой синей бухтой, там, за округлым темным горизонтом, что-то откликнулось и позвало его. Позвало с той трогательной силой, которая в тиски сжимает сердце и выдавливает из него, стесненного, болезненного и сладкое блаженство, о котором, даже вспоминая, говорят: «Я живу!»

И сразу же во всей низине под ним по немому и дружному сговору вспыхнули все бледно-желтые, наполовину нереальные электрические лампочки. Его гора, сыпучая тропинка, груда камней сразу отодвинулись в тень небытия, прозябания, и Борису стало страшно оставаться здесь дольше. Здесь будет шириться, конечно, потайное шевеление теней, посвист летучей мыши, но будет и холод, и безлюдье.

И, наступая сандалиями на острые грани камней, спотыкаясь, чуть ли не падая, он бросился вниз, чувствуя, как со всех сторон и сверху темнеет. Он задышался, слезы лились у него из глаз, он захлебывался от слез одиночества и тоски. Кругом спокойно, но все более дружно и сумрачно темнело. Он был счастлив, когда добежал до первого электрического фонаря.

Разрастаясь, набирая громкость и сипловатую звонкость перенесенного страдания, эта простая, откровенная и чуть отдаленная, как воспоминание, любовная фраза достигала высот

накала и патетики, но не в них была ее сущность. Она призвана была понимать и утешать, лечить раны и помогать уснуть, когда кажется, что уснуть невозможно. И вот она становится тише, всё умиротвореннее. Сейчас она затихнет со всем...

Мгновенный, проникающий насквозь удар настигает спящего. То, что оставалось, все время оставалось в его душе, с чем невозможно было сжиться, как с совершенным преступлением, но что можно было отодвинуть во времени, постараться забыть как несуществующее, потому что еще не пришло его время, — все это стояло теперь, склонившись, у его изголовья. В бешеном, почти бредовом темпе, который навязывала ему страшная, но несомненная реальность, он кинулся сначала в один угол, потом в другой. Но в этом метании не было здравого смысла — ему нечего было прятать, он просто хотел уйти, повернуться спиной и уйти, повернуться спиной и уйти от того места, где в эти мгновения готовилась расправа над его жизнью, надеждами, будущим, всем, что звучало в его груди и хотело жить, не переставая. Все попытки распрямиться и доказать свое бескорыстие и чистоту намерений предавались казни в самом зачатке с быстротой скачущей лошади и в ритме какого-то дьявольского танца. Беда обнаруживала поразительную жизнеспособность и хищную расторопность реального существа. Это был не просто голос рока, это было оглашение приговора, из которого следовало, что жизнь была дана вам по ошибке и подлежит насильственному изъятию. Это была живая черная стена, которая обволакивала так плотно, что не оставляла и тоненькой щелочки для света и надежды. У жизни и радости не было оружия против этой силы.

Никогда еще скорбь не царила так откровенно над людьми в этом зале, внешне так мало подходящими для отчаянья и беспомощности, но хранящими в своих душах тонкие и большие струны бессилия и страха, побеждая их наедине с собой и стараясь изгладить их из своей груди, словно их и не было. Но силы, парящие и расправляющие черные крылья над оркестром, имели свои права над каждым, кому они казались просто звуками и музыкой.

Наклоня голову вслед ее широким разворотам, Борис тревожно прислушивался, спрашивая себя, что означает эта сила и что он упустил и не учел в своем предвкушении радостной и прочной жизни. Память об Асе Узнаевой, ее открытой шее, воротнике ее платья вызывала у него радость, которая была сродни мечтам и ожиданиям этой настоящей жизни, но мысли эти были далеки от той томительной, щемящей и родной музыки, которая звучала любовью у этого оркестра. И в то же

время в ней вдруг проглядывала с достоверностью документа его настоящая, замирающая на секунду жизнь.

Уже примиренная, любовь словно стала забываться в своих безнадежных порывах, способных убедить и растрогать каждого, кроме своего врага, тихо затаившегося, отпраздновав свою мрачную победу. Он еще вернется, и следующий его приход будет последним. Снова легче звучать стало музыкальным инструментам, и в пробудившейся напевности стал отчетливый легкий ритм шагов. Легко, даже пританцовывая от безнадёжности, от внутренних опустошений, понесенных только что, он ушел и оставил нас одних.

Часть вторая.

Как робко пускалась она танцевать!

Со смятением в сердце оторвавшись от толпы, чинно стоящей у стен и подоконников, от двух рядов знакомых лиц, она сделала первые шаги, и волнение поднялось от ног к груди, забило в висках, заставило смотреть вокруг новыми, блестящими и отчаянными глазами. Уже не чувствуя тела, она с робкой грацией совершала первые движения, легкость и напряженная уверенность подхватывали ее и несли вперед, в центр зала. Какая незащищенность и очарование сквозили в каждом ее жесте! Еще шаг, и она не опустится уже на красный мастичный пол, со взмахом руки перестанет существовать во плоти и превратится в сознании Бориса в трепещущую на весеннем ветру занавеску у распахнутого окна, такую же легкую и не умеющую взлететь, или в весенний росток на засыпанном бурыми прошлогодними сосновыми иглами оттаявшем склоне в апреле, росток, который обречен подвергнуться заморозкам, стать вялым и почернелым.

И уже казалось, что девочка, танцующая на середине зала, вот-вот расплачется, потому что ее стережет страх того, что она оступится и подвернет ногу. Не будет добра из этого вдохновенного и тонкого танца, и это стало понятно задолго до того, как пришло время начинать.

Слушая, Борис, как ему казалось, прощался со своей недавней безысходностью, вкушал ее еще раз, позабыв свое настроение обновленной радости, и теперь следил, куда приведет его музыка, птицей поднимающаяся в высоту.

Быть может, это не был полет, хотя в музыке трепетало что-то, напоминающее стремление удержаться в воздухе, торопливые взмахи крыльев, страх перед колеблющейся внизу землей в круглых зеленых деревьях и кустарниках. Ни один из сидящих в зале не был чужд этим попыткам с замирающим сердцем взбираться в предвечернее небо и потом, рассекая воздух, со звонким криком бросаться вниз и наискосок к реке,

мимо крыши дома среди зарослей сирени, мимо пристройки, вниз, почти до самой земли.

А танец, растворившийся в воспоминании, опять жил и совершал свои плавные повороты и превращения. Отведя голову назад, чтобы лучше сохранять координацию в головокружительных вращениях, смело и широко взмахивала ногами, секунду семеня носками туфельек, взмах за взмахом воссоздавая свободный полет прямо тут на полу, справа от окна, где невозможно дать свободу крыльям.

Но усталость и дурные предчувствия настигают танцующую, словно ее танец так и не сможет закончиться. Уже не так легко вращается ее тело, уже болят и подгибаются ноги, да и музыка звучит иная, налившаяся свинцом и усталостью. Она напоминает о чем-то давно забытом ради этого танца, ради этого вечернего солнца за окном, но не переставшем от этого служить предостережением о неравенстве сил в борьбе, которая ведется не один год и исход которой, кажется, предрешен.

Пальцы музыкантов упали.

Танец кончился.

Часть третья.

Движение зародилось раньше утра, вольно взяв разгон, оно торопило и звало того, чья судьба решалась сегодня. На секунду могло показаться, что царит атмосфера беззаботности, только бегали наподобие челноков смычки и пальцы. Но если вслушаться, за всем этим дальше звучания оркестра стояла и кровоточила материально ощутимая тема, и с ней уже все было покончено. Но решимость от этого не ослабевала и приготовления продолжались. Вооружение было выбрано: легкие латы, уже надета была кольчуга, вот только коня не хватало. Да его и не надо было, на ногах стоишь крепче, а кроме того, вообще вы ведь знаете, чем кончатся поединки.

Между тем побудительная мелодия уверенно перешла в марш, который создавал шум в ушах и удачно вызывал ощущение действия, энергичного действия, почти что суеты и готовности.

Так он и пустился в путь: с развевающимся шарфом за спиной, приплясывающей походкой, не глядя на небо, откуда грозила ему истинная опасность.

И легкое, счастливое и обреченное воспоминание не покидало его в этом движении. Слабо улыбаясь самому себе, томительно защемив себе сердце, он слабо перебирал пальцами, отрешенно припоминая то, что должно было стать его настоя-

щей жизнью. То, чего он ждал с самого детства, в чем ни на секунду не сомневался.

И, тихо себе это напевая, он делал следующие шаги. Потом опять вернулось ощущение родины, его подхватила спасающая волна любви, понесла, как ветер занавеску на окне в мае, и, как ветер занавеску, не унесла прочь, а только заставила слабо трепетать, парить, колыхаться.

Но приплясывающие трубы между тем крепили. И уже не его это походка, не его марш, не его музыка. Зловещее удовлетворение засипело в их металле, озлобление и предчувствие его неминуемой гибели.

И верно, он так и знал, потому и шел легко и пританцовывая. Только любви уже больше с ним нет. Скорее предчувствия.

И вот уже в этом марше звучат не одни шаги — звучат нога в ногу шаги погубителя и его жертвы, они дружно, торопливо и напряженно маршируют.

Увлекающий вперед и вперед марш привел нашего героя в ту самую долину, где ему суждено было погибнуть. Завихрившаяся ободрительная музыка принесла на своем хвосте страшную птицу-ящера, который одним прикосновением сломал его копые и сразил его в самое сердце. Плавно взмахнув крыльями, дракон взмыл в воздух и скрылся за горой.

Еще оставалось умирать три-четыре минуты.

И он забылся в задумчивости.

Музыканты остановили свои равнодушные инструменты. Надо вытереть ладонь батистовым платочком. Кое-что осталось еще сказать.

Часть четвертая.

Опять, как в начале, тяжело и глухо задышал оркестр. Выступило вперед и зазвучало жалобное воспоминание, сожаление о том, что было и чего не вернуть. Высоко и торжественно оркестр жаловался на то, что все утрачено, и все, что осталось, — это доказать, что ты действительно был, и как хочется это доказать: я был, смотрите и слушайте, попробуйте, если хотите, меня опровергнуть.

Сильная, красивая, женственная душа просталась с жизнью. Она отдавала крупницу за крупницей свое тепло, свою нежность и любовь. С той жизнью, которая была уже не ее, но просто когда-то была ее, но, о, как хочется доказать, что она была когда-то ее.

Глубоким неудержимым вздохом вырвалось сожаление о том, что уже совершилось, задуло и засквозило ветром безнадежных и нераскаянных сожалений. Этим ветром подхватило записку и понесло вокруг комнаты, и охватившая плечи

свежесть заставила запахнуть плед и содрогнуться от холода.

Только на минуту вернулось уверенное чувство крыльев, полета, земли под ними в деревьях и кустарниках. Однако наступило уже время погребальных приготовлений, загудел и солидно стал шевелиться в углу тот, кому было это поручено, носилки подняли и понесли.

И вот уже оттуда, не принадлежа этой жизни и еще не вступив в другую, его душа продолжала рассказывать о том, как прекрасна, как божественно прекрасна она была при жизни. Это были вздохи любви, но уже иной.

Горюя, она становилась все более рассеянна и молчалива.

И вот не слова уже, а вздохи. Бу. Бу. Бу.

Оркестр умер, чтобы через минуту опять воскреснуть и принимать бешеные, хотя и несколько растерянные аплодисменты.

Высоко подняв голову, Окоемов промчался в гардероб. Он смотрел на окружающих немного свысока, так как был уверен, что все слышанное относилось именно к нему, и предстояло теперь выяснить отношения с музыкой дома. Борис решительно направился к желтым тяжелым дверям, которые оказались достаточно благосклонными, чтобы выпустить его на белую зернистую крупку, по которой разъезжали блестящие автомобили, и в их движении ощущалось и терпение, и скрытая угроза.

Окоемов пересек площадь, подумал, повернул к своей привычной многолюдной улице и быстро зашагал по ней не оглядываясь.

### Тревога

*Цикл монологов*

*Посвящается жертвам фашизма*

Воют в ночи бездонной  
Волки на стадионе.  
Вот почему порою,  
Только глаза закрою, —  
Прошлое с волчьей мордой  
Мне не дает покоя.  
Строить не надо толки:  
**ГЕНЫ ФАШИЗМА СТОЙКИ!**  
Есть у волков истоки,  
Это все те же волки!  
Немы надгробий плиты,  
Но человек услышит  
И голоса убитых,  
И голоса убивших.

### МОНОЛОГ ДЕВУШКИ В ЛАГЕРЕ СМЕРТИ БИРКЕНАУ

Бутафорский вокзал в Биркенау,  
Нарисовано все по лекалу —  
Баня... Касса... Дежурный буфет...  
Только жизни в ногах моих нет!  
Предлагают раздеться, помыться...  
Верю вывеске. Хочется выть...  
Но в пресыщенном взгляде убийцы:  
— Вам налево! — А значит, не жить!  
Вам НАЛЕВО! НАЛЕВО! НАЛЕВО!  
Слово длится в молекулах «я»!  
Но толпа — это голая дева  
В крематорий ползет, как змея.  
Тает Родина, кто я, не знаю, —  
Я безвременна, я замолчу.  
Бутафорский вокзал в Биркенау,  
Я уехать обратно хочу!..

Я хочу жить в иллюзии слова  
Европейских пяти языков, —  
Но горит под ногами основа,  
Бутафория мертвых шагов.  
Стану полькой, еврейкой и немкой  
В час конца со звездой и крестом  
И летящей крупинкою мелкой  
По перрону и вечным хвостом  
Голой очереди в крематорий.  
Бутафорский вокзал, я твоя,  
Самый лживый из всех территорий!  
Слово длится в молекулах «я»...  
Баня. Касса. Вокзал. Мы кричали,  
Пропадая в нацистском огне...  
Верно, было лишь слово в начале,  
И останется слово во мне!

МОНОЛОГ «ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДЫМ?»

Завтра я стану дымом  
И поползу в трубу  
Вместе с женой и сыном —  
Странный простор во лбу.  
Умер, наверно, мозг,  
Но не хватает воска,  
Чтобы заполнить ту  
Тяжкую пустоту...

Что же такое дым, если он едко жирный?  
Как растворится он в воздухе, а потом —  
Узок ли круг его, или объем всемирный?  
Будет ли дым глазами, будет ли дым умом?  
Может быть, только ртом, жрущим леса и пашни,  
Замки и города, свастику и людей, —  
Тех, что в нацистском марше...

Думаю я о дыме  
И не хочу о пепле.  
Можно висеть на дыбе, —  
Руки мои окрепли!  
Только не надо крови  
И вьющегося огня!  
Весь крематорий в слове!  
В дыме моя семья!

Кто-нибудь нас поднимет,  
Выбелит в злую небыль...  
Соединимся в дыме!  
Соединимся в небе!

МОНОЛОГ УЗНИКА, ОТДЕЛИВШЕГО ДУШУ ОТ НОГ

Какое счастье — нет души!  
Нет разума — есть только ноги.  
Весь мир в ногах. Они в тревоге  
Вдоль главной лагерной дороги  
Переползают, словно вши.  
Они спасают лишь себя  
На переключке у барака,  
Но в них порой рычит собака,  
По человечеству скорбя!  
Лишь ноги чувствуют побег  
И муки переносят стойко.  
Над ними мертвая надстройка —  
Уничженный человек!  
Нельзя мне думать о ногах.  
Быть может, этим их обижу.  
Они лишь думают, я — вижу,  
Они лишь чувствуют врага!  
Шаги и глухи, и тупы,  
И я страшусь — они в обиде,  
Я знаю: две мои стопы  
Мой торс убогий ненавидят!  
Я им молюсь, я им клянусь,  
Что силы все из сердца выжму,  
Как странно ног своих боюсь  
И лютой злобой ненавижу!  
Они страшны, когда стучат,  
Созвучьем повторяя стражу,  
Они бегут, когда кричат,  
Они танцуют, как прикажут!  
Ну вот и все! Я жил, как мог!  
Мне новый день навстречу вышел  
И крикнул с пулеметных вышек:  
Ты потому лишь только выжил,  
ЧТО ДУШУ ОТДЕЛИЛ ОТ НОГ!

МОНОЛОГ БЕЗЫМЯННОГО УБИЙЦЫ

Убийство неизвестных лиц —  
Не больше, чем убийство птиц!  
Стреляй, потом вези в жаровню.  
И среди этих верениц  
Я человека не запомню.  
Конкретность жертвы — это страх!  
В знакомого направив выстрел,  
Ты станешь винтиком в часах,  
Сломавшим механизм убийства!  
И я бегу от этих глаз,  
От этих лиц, и тем свирепей  
Их заволакивает газ  
И обезличивает пепел.  
Но кто-то все же крикнул: «Ганс!»  
И ты пришла, реальность злая.  
Пусть крик его в ночи угас,  
Он знал меня, и я узнаю  
Его, через него — себя,  
Себя, которого не вижу.  
Я этот голос ненавижу!  
Откуда он пришел, скорбя?!  
И кто же это крикнул: «Ганс!»?  
Мужчина, женщина, ребенок?  
Для миллиона перепонок  
Такая музыка — конец!  
Да, сотней золотых коронок  
Мне в уши впился тот подлец!  
Но кто же это крикнул: «Ганс!» —  
Перед уходом, перед смертью,  
Перед последней круговертью,  
Проглатывая серый газ?  
Он истину возмездья спас!  
И я себя увидел с плетью...  
А может, крикнул он не мне,  
А Гансу, что сгорел в огне?

МОНОЛОГ НЕМЕЦКОГО ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО 1933 ГОДА

Ломая ограды и своды тюрьмы,  
Аккорды Бетховена входят в умы!  
Играя лучами то света, то тьмы,  
То солнцем, то тенью становимся мы!  
То снами, то явью,  
То жизнью, то смертью,

То новью, то старью,  
То кругом, то вертью!  
Охранник воды набирает ведро,  
И в дверь каземата тревожно стучится,  
И нам предлагает бездонно напиться,  
И мы выпиваем и зло и добро!  
Но эта отравка не станет концом,  
То мир материален, то снова духовен.  
С лохматою гривой и львиным лицом  
Запутался в ржавых решетках Бетховен!

МОНОЛОГ СОВРЕМЕННОГО АНТИФАШИСТА

Время кожаных регланов  
Унесено рельсами  
В железнодорожный архив  
документально-желтых снимков.  
Время кожаных регланов  
Возвращается узкоколейками  
Лагерей Биркенау и Бжезинка.  
Тянутся длинные нити  
В черные глаза войны,  
Где холод и цинизм,  
Я не верю в прерываемость событий,  
Если в мире жив еще нацизм!  
На большой реке берлинская лазурь,  
Вся земля — смешение цветов и наций.  
Свет в глазах войны — печей кровавый след,  
Кровоизлияний и кремаций.  
Но опять весна, и я почти спасен.  
Вертится надежда в сини Рериха, —  
Если миром мир произнесен,  
Меркнут тени Гитлера и Гейдриха!

МОНОЛОГ НЕМЕЦКОГО ХУДОЖНИКА 1944 ГОДА

Берет берлинскую лазурь  
На белый лист железной кистью  
И экспрессионистской высью  
Грозу венчает Отто Дикс.  
Там Шпрее превратилась в Стикс,  
Наполнившись нацистской мыслью.  
В Берлин пришла пора любви —  
Пора дождей и затемнений,  
Горящих окон, — пет сомнений, —

Стал уже круг моих друзей.  
Реальность ставится в музей.  
Простые связи не зови,  
Ведь ты на море — не на суше.  
Коммуникации нарушив,  
В Берлин пришла пора любви!  
И надо многое забыть.  
Подобен мозг застывшей глине.  
Лишь только двое могут быть  
Соединенными в Берлине!  
И вот она опять пришла:  
Любовь, натурщица, скульптура...  
И заиграла, не спеша,  
Прекрасных мышц клавиатура.  
Я говорю ей: голой будь!  
Смеясь, открой свои колени!  
Ведь юная способна грудь  
Вскормить иное поколение!

МОНОЛОГ ГЕТЕ, гуляющего вблизи концлагеря БУХЕНВАЛЬД

Вот и готова элегия,  
Ульрика едет в Карлсбад...  
Верно, что карлики гения  
Остановили. Я рад!  
Вспомнить бы черствость любимой  
И утаенный расчет...  
Только опять ястребиный  
Сердце качает полет.  
Помнится все совершенное,  
Несовершенное — нет!  
Воздуха свежесть,  
Юный таинственный свет.  
Это равнина ли, небо ли?  
Буковый лес — мой предел!  
Помнится то, чего не было,  
То, что увидеть хотел!  
Люди, вы так рассудительны!  
Стар я, она — молода!  
Все же войти удивительно  
В буковый лес иногда...  
Мрачные слышу пророчества,  
Люди, я вас не спасу!  
От моего одиночества  
Холодно стало в лесу!

Славно болото осушено,  
Что им любовный недуг, —  
Грозно хранит равнодушие  
Ровно посаженный бук...  
Бьется мучительно колокол  
Станным звучаньем родным,  
Черным проносится облаком  
Едкий пронзительный дым...  
Что-то творится на свете,  
Рано жирнеет земля, —  
Не наливайтесь, не смейте,  
Кровью чужою, поля!  
Колокол бьет — и не спрячешься —  
Всюду деревья в крови,  
Видно, срубить надо начисто  
Буковый лес без любви!  
Странная это энергия —  
Душам готовит распад!  
Вот и готова элегия —  
Ульрика едет в Карлсбад!..

МОНОЛОГ ПРЕПАРИРОВАННОЙ ГОЛОВЫ В ОСВЕНЦИМЕ

Перроны ада принял рай...  
Пошли наверх горячим дымом  
Останки жен и матерей  
В тот синий край...  
От птичьих стай неотделимо  
Они проносятся теперь.  
Передо мной мундир зеленый  
И серо-синяя стена.  
И снова я живу, казенный,  
И держит на губах слова  
Отрубленная голова!  
Я — препарат, похож на птицу,  
Себе в мучениях приснясь,  
И каждый вечер врач-убийца  
Меня приветствует, смеясь.  
Был у любимой образ мой —  
И вот я только статуэтка,  
Подставка, чистая салфетка,  
Увенчанная головой!  
И странно, там живет она,  
Как полагается невесте,  
В голландском городе одна

И думает: кругом война,  
И нет его на свете...  
Здесь я!  
На полированном столе  
У лагерфюрера, а братья  
Уже давно лежат в золе  
В одном мучительном объятье!

## Елена Шварц

---

### *Зверь-цветок*

Предчувствие жизни до смерти живет.  
Холодный огонь вдоль костей обожжет —  
Когда светлый дождик пройдет,  
В день Петров, на изломе лета.  
Вот-вот цветы взойдут, алая,  
На ребрах, у ключиц, на голове...  
Напишут в травнике — елена арбореа,  
Во льдистой водится она Гиперборее,  
В садах кирпичных, в каменной траве.  
Из глаз полезли темные гвоздики,  
Я — куст из роз и незабудок сразу,  
Как будто мне привил садовник дикий  
Тяжелую цветочную проказу.  
Я буду фиолетовой и красной,  
Багровой, желтой, черной, золотой,  
Я буду в облаке жужжащем и опасном  
Шмелей и ос заветный водопой.  
Когда ж я отцвету, о боже, боже,  
Какой останется искусанный комок,  
Остывшая и с лопнувшею кожей —  
Отцветший полумертвый зверь-цветок.

### *Орфей*

На пути обратном  
Стало страшно —  
Сзади хрипело, свистело,  
Хрюкало, кашляло.  
Эвридика:  
«По сторонам не смотри, не смей,  
Край — дикий».  
Орфей:  
«Не узнаю в этом шипе голос своей  
Эвридики».

Эвридика:

«Знай, что пока я из тьмы не вышла —  
Хуже дракона.  
Прежней я стану, когда увижу  
Синь небосклона.  
Прежней я стану, когда задышит  
Грудь с непривычки больно.  
Кажется, близко, кажется, слышно —  
Ветер и море».

Голос был задышливый, дикий,  
Шелестела в воздухе борода.

Орфей:

«Жутко мне, вдруг не тебя, Эвридика,  
К звездам выведу, а...»

Он взял, обернулся, сомненьем томим, —  
Змеица, с мольбою в глазах,  
С бревно толщиной, спешила за ним,  
И он отскочил, объял его страх.  
Из мерзкого брюха  
Тянулись родимые тонкие руки,  
Со шрамом знакомым, — к нему.  
Он робко ногтей розоватых коснулся.  
«Нет, сердце твое не узнало,  
Меня ты не любишь, —  
С улыбкою горькой змея прошептала: —  
Не надо! Не надо!» —  
И дымом растаяла в сумерках ада.

### *Невидимый охотник*

Может быть — к счастью или позору —  
Вся моя ценность — только в узоре  
Родинок, кожу мою испещривших,  
В темных созвездьях, небо забывших.  
Вся она — карточка северной ночи —  
Лебедь, Орел, Андромеда, Возничий,  
Гвоздь, и гроздь, и многоточья...  
Ах, страшны мне эти отличья!  
Нет, ни дар, ни душа, ни голос, —  
Кожа — вот что во мне оказалось ценнее,  
И невидимый меткий охотник,  
Может, крадется уже за нею.

(Бывают такие черепахи,  
И киты такие бывают —  
Буквы у них на спине и знаки,  
Для курьезу их убивают.)  
Не на чем было, быть может, флейтисту,  
Духу горнему, записать музыку,  
Вот он проснулся среди вечной ночи,  
Первый схватил во тьме белый комочек  
И нацарапал ноты, натыкал  
На коже нерожденной, бумажно-снежной...  
Может, ищет, найдет и срежет.  
(Знают ли соболь, и норка, и белка,  
Сколько долларов стоит их шкурка?)  
Сгнет ли мозг и улетит душа,  
Но кожу — нет! — и червь не съест,  
И там — мою распластанную шкурку,  
Глядишь, и сберегут, как палимпсест  
Или как фото неба-младенца.  
Куда же мне спрятаться, смыться бы, деться?  
Чую дыхание, меткие взоры...  
Ах, эти проклятые на гибель узоры.



## Владимир Шенкман

---

\* \* \*

Пора двестишвей не пришла еще, но полно  
Морозом мартовским наполнен тонкий стих,  
Строка надломлена, как льдинка, произвольно  
Продольным придыханьем гласных прописных.

Наполнен день правописанием пологим,  
Червеет трещина, трещит глагольный лед,  
И рифма рушится, и в предпоследнем слоге  
Уже заключены Нева и ледоход.

День вслух читает, заикается, картавит,  
Строка затянута на звуках «а» и «о».  
Как грач над Купчино, как обещание октавы  
Полураскрытых губ — движенье, вдох, окно.

\* \* \*

Перейдя переулки вброд,  
Вдыхая простуженный вязкий воздух,  
Жить собираюсь наоборот—  
Не поздно.  
Углекисленький хорей продольно  
Выдохну — чуть живой,  
В белый лист альвеольный  
Всмотрюсь — город чужой.

Не увидеть сразу,  
Но постепенно за черточкой черточка —  
По громоздкой расплывчатой фразе,  
Как по Неве на катере, плаваю  
Неосознанно,  
Безотчетно.  
К Гавани,

К Петроградской. Охты озноб  
Пробирает, говорит.  
И узнаю, и читаю взахлеб,  
И по ночам не гашу фонари.

\* \* \*

Петрополь. Петроград. Все тот же Петро...  
Поэзия гексаметра и ветра,  
Дома и улицы все те же пой.  
Но полюбивший канувшие камни  
Не встретишься с бульжной мостовой,  
Лобастой, угловатой. А вчера  
Она была еще в Дегтярном переулке,  
Что для меня был шириной с проспект.  
Подумаешь. Каких-то двадцать лет...  
Лишь внутренность Апраксина двора  
Мне иногда Садовую напомнит.  
И Балтика дыханием наполнит  
Пустые недопрожитые дни,  
Что как бы географии сродни,  
Где переулок — контурная карта.  
Шевелится бульжник под асфальтом.

Счастливым век, как просто быть поэтом,  
Когда почти отменены запреты,  
Захочешь — и плыви в Геллеспонт!  
И дальше, там, где остров среди моря,  
В Гортину, где развалины и тьма  
Бульжного линейного письма,  
Где буквы выпуклы, где камни, отдавая стих,  
Напомнят страшно голоса бульжных мостовых.

\* \* \*

Из той земли, из той страны,  
Где кто-то горестный на скрипке  
Играл, и звук то пел, то ныл,  
Вплывал, причудливый и зыбкий,  
Рискуя, в полустарину,  
В полупространство дачной были,  
Рисую просто ту страну,  
Где мы как раз в то время жили.

Всю комнату: и печь, и стол,  
Он достигал, постигнув, падал  
И вновь через веранду шел,  
Вбегал из стынущего сада,  
Как мотылек, летел на свет,  
Вдруг, застывая на пороге,  
Шептал, что выше счастья нет,  
Чем дачный наш уют убогий.

## Виктор Ширали

---

### *Джазовая композиция*

I

Начнем мелодию в зевотной тишине  
Где зевы  
Сквозь ладонь  
Просвечивают ало  
Итак начнем  
Закружит в вышине  
Мелодия  
Как птичий крик корява  
Черна  
Словно воронье крыло  
Когда они сбиваются над полем  
И жрут  
Колосьев срезанных зерно  
Глаза свои мы в этих зернах помним

II

У саксофониста застыли пальцы  
Он греет их под мышки заложив  
Они белы как мел пиджак ему испачкали

III

Греть руки над костром  
Прижав к огню ладони  
Глядеть в него —  
Взгляд медленно утонет  
В огне задумчивом  
И вокруг слепая ночь  
Как крышка запыленного рояля  
Куда мы отраженья не роняем

Дай господи и мне такие руки  
 Чтоб высекать осколочные звуки  
 Как жеребец на клавиши рояля  
 Копыта быстрые и легкие роняет  
 Дай господи и мне такую волю  
 Чтобы предаться радостному полю  
 Бежать и все  
 И лишь искусство бега  
 Оставить за собой подобьем следа

Глядеть в костер  
 Затем когда погаснет  
 Из тлеющих углей выкатывать свой взгляд  
 Забыть стихи  
 Забыть о контрабасе  
 Который так похож на лошадиный вад  
 Который высвечен огнем нетвердым  
 И знать что не один  
 Что дале  
 В тьме ночной  
 Есть круп  
 Хребет  
 Кобылья морда  
 Стекающая травяной слюной

И поутру  
 На берегу пруда  
 Сойти в него  
 Тепло из ног засасывает глина  
 Руками развести пух тополиный  
 В воде ночной отобразится солнце  
 Стократ размножено  
 В глазах рябя  
 И прозвучит  
 Пронзительно и чисто  
 И радостно  
 Как светлая труба  
 В губах губастого  
 Как ржанье лошади  
 Джазиста!

Этот город горбат  
 Но прекрасен  
 Но пресен  
 Но вкусен  
 Я люблю Его больше  
 Когда он просторен и пуст  
 И сквозной по ночам  
 Как последняя черная осень  
 Как дождливая очень  
 До слез

Я в других как в забавах  
 Забвеньях  
 Заделах пред этим  
 Как Россия  
 Подготовка и повод к Нему  
 Забывала  
 Вбивала в болота столетья  
 И осваила  
 Вышла  
 И впала в Него  
 По Неве  
 Вдоль Невы  
 Его ритм  
 Размер  
 Разобраться  
 Как гранитные волны  
 К ступенным идут берегам  
 Да вдоль Летнего сада  
 За решетку зайти  
 Показать  
 Поклониться  
 Посвататься  
 К мертвым богам.  
 Это лето уходит  
 Отыграл  
 Отглядел  
 Отозвался  
 Пожелтели  
 Пожухли  
 Облетают  
 Кружатся глаза  
 Очень низкое солнце

Не ослепит  
Теплом отзовется  
Петропавловским шпилем  
Когда обернешься назад  
И посмотришь на Город:  
Гомункулос  
Гений  
Блокадник.

### *Из мадригалов*

I

Прости мне, милая,  
Прости мне, дорогая,  
Чуть ли не ставшая  
На весь мой бег  
Родной.  
Прости, что, повстречав тебя,  
Узнаю  
И поклонюсь.  
Что стороной не обойду  
Твой дом,  
Твоей Земли,  
Что попадусь еще  
В глаза твои —  
Прости меня,  
Но что же делать мне,  
Если живем мы  
На одной земле.

II

Сегодня год, как я не видел Вас,  
И горем был потерян  
Для счастья знойного,  
Но не искал я тени  
И воду пил только из Ваших глаз,  
Вы плакали — любите Ваши слезы,  
Их вызвал я.  
И я не дам забыть  
Себе,  
Что я для Вас,  
Как для стихов, был создан

Вам:  
Что я любил Вас так,  
Как начинают жить,  
Так неумело,  
что...

\* \* \*

И стали дни трудны  
И речи заболели  
И жизнь мою уже  
Не выдюжит свирель  
Прости мне каламбур  
Но девы Боттичелли  
Из Босховых яиц  
Выводятся теперь.

\* \* \*

Любить тебя. Как труден этот труд. Забыть  
тебя. Года все перетрут. Все перевернут.  
Зачем тогда? Забыть? Зачем тогда люблю  
тебя? Любил тебя. Любить! А тем? А той  
другой, которая сейчас со мной? Как? А ту?  
Ату! И ту? Всю перетру. Всю переверну.  
Но не умру. Опять. Любить тебя. Люблю тебя.  
Любил тебя. Люблю тебя. Любил тебя.  
Люблю тебя. Любить!

### *Романс*

Чернеют деревья, глаза мои осенни,  
Чернеют деревья, души осенний вид,  
Чернеют деревья, дни певчие пропели,  
И голубь на карниз осенним днем прибит.

Прости меня, моя весенняя невеста,  
Как бы хотелось мне женой тебя назвать.  
Но надо ли тебе в душе осенней место,  
И стоит ли тебе женой осенней стать?

Прости меня, моя весенняя природа,  
Чернеют деревья, в глазах осенний вид,  
Дождь длится целый день, деревья входят в воду,  
И голубь на карниз осенним днем прибит,

\* \* \*

Как это уже далеко  
Надежда  
Любовь  
Катерина  
Еще ведь достанешь рукой  
А можно и глазом окинуть

А можно уже не кричать  
Рассказывать странно неспешно  
Надежда  
Любовь  
И свеча

Свечи уже нету  
Подсвешник.

\* \* \*

Как лютневая музыка в конверте  
На полчаса страна иль сторона  
Или роман с сестрою в лазарете  
Где милосердно помнится вина

Иль это просто осень бесконечна  
Под мягкой октябрьской иглой  
Потянешь за руку  
«Да ну Вас!» — так беспечно  
И ты подумаешь  
И бог с тобой!

Благословенна поздняя свобода  
Когда вот-вот наступят холода  
И нет времен  
Есть только время года  
И мятное под сердцем  
«Никогда».

## Эдуард Шнейдерман

### Работа скульптора

Л. Добашинной

Они занимают подвалы и полу-,  
В которых проходят хорошую школу.  
На девичьих спинах, на торсах мадонн  
Крепче стоит коммунальный дом.

Каморка снимается под мастерскую.  
«Ах, где вы хоромину взяли такую?»  
— «Я терся по ЖЭКом, я клеил начальство».  
— «Такая удача бывает нечасто!»

Пока вы на службе, читатель, корпите,  
Замочена глина в огромном корыте,  
Построен каркас. Он радует глаз  
Добротностью сцепки. И вот началась

Прокладка. Лопату азартно вонзаешь,  
Наваливаешься, лопать отрезаешь  
И шмякаешь на задрожавший каркас  
И, накрепко дабы она прижилась,

А после не хрупнула трещинкой-ранкой,  
Мнешь пальцами и подбиваешь киянкой.  
Так, за день раденья, как сдавленный крик,  
Искомой фигуры возник черновик.

Не мрамор, не бронзу, — кембрийскую глину,  
Тяжелые руки и потную спину  
Я воспеваю, — ведь скульптор — не бог —  
Создатель, — он душу вдохнуть в нее смог,

Но рано ликую, словами играя.  
То стеклом, то пальцами, в кровь их стирая,  
Он мнет и корежит творенье свое.  
Терпенье, терпенье! — тут жизнь настаёт.

Ворчит, недоволен: «Все криво и косо!»  
Ан глянул: какой-то кусок средь хаоса  
Высвободился. Он дышит! И вот  
Сама себя дальше работа ведет.

Вот так, над стихами ссутуливши спину,  
Мы — мнем и кромсаем словесную глину.  
Всё переначим, кромсаем и мнем,  
Покуда строку не наполним огнем.

Что — слава, успех, суета, гонорары, —  
Есть только работа, творимая яро,  
Правда работы. Прочее — ложь.  
Отступишь, оступишься — душу убьешь.

Пора просыпаться, ленивое тело.  
Пора приниматься за верное дело.  
Глина готова. Но прежде чуть-чуть  
Свежего воздуха надо глотнуть.

### *Галантерейщица*

Рюшики-воланчики,  
лифчики-подвязки  
и мечты о мальчике  
из роскошной сказки.

Веки цвета синего,  
а волосы матовые.  
Обслужи красивого,  
сытого, усатого!

Чуя взгляды пылкие,  
наглые, небрежные,  
погарцуй кобылкой  
норовистой, нежной!

У тебя все данные!  
Прояви старание —  
вытанцуй свидание  
в вечернем ресторане.

В рюмочке вот столечко  
коньячка армянского,  
Разгорелись щечки,  
рассверкались глазки.

Промеж тонких пальчиков  
сигарета белая.  
Для такого мальчишка  
чего только не сделаю!

Жизнь галантерейная,  
скучная, практичная!  
Хочу быть затейная,  
дерзкая, развинченная!

Сигарета скурится.  
Выкурила — вышвырнула.  
Завихриться! Скурвиться!  
Только бы не тишина...

...Рюшики-воланчики,  
лифчики-подвязки,  
личико заплаканное,  
все в потеках краски,

\* \* \*

Стал я глохнуть, как Бетховен.  
Пасторалей не пишу.  
Нелюдим, с людьми перовен.  
Суеты не выношу.

Стал я глохнуть, в сущность звуков  
Продираясь, в их нутро.  
Доложу вам, это мука, —  
Как ногтями рыть метро.

Стал я глохнуть — стал я чутче  
Слышать спрятанную жизнь.  
Слухом внутренним измучен.  
И уже не тянет ввысь, —

В шум подспудный, в гул утробный,  
В отголоски голосов,  
В ритм прерывистый и дробный,  
В мир, закрытый на засов.

О, когда бы смог я связно  
Потаенное схватить,  
То, что в душах бьется разно,  
Вытащить, соединить,

Оттолкнуть замшелый камень,  
Снять привычную тщету,  
Немоту лечить стихами,  
Слепоту и глухоту!

## Татьяна Щёктова

---

\* \* \*

Почему ты боишься меня потерять?  
Отдаешь меня в рабство тряпья и страстей,  
злых людей, переулков глухих и долгов...  
Я и так всем должна: и тебе, и тебе.  
Но так трудно подчас о себе позабыть.  
Я иду на коротком твоём поводке,  
Неужели такую ты любишь меня?

*Утро*

*Ольге Никулиной*

Открыл цветок и лепестки, и сердце.  
И ты в бутон сует и раздражений не прячь  
души влюбленной редкий дар.  
Так, радуя тебя,  
весенний мотылек летит, расправив крылья.  
Ладони бережно раскрыв, долина  
приют уставшим путникам дает,  
Глазам — покой и ясность.  
МИР и ЛЮБОВЬ  
пусть льются, как лучи.

Какой корыстью капелька росы  
в твои глаза прекраснейшие дышит?  
Какою завистью пылают листья клена  
к плодам рябины? Умысла какого  
ребенок преисполнен, что бежит,  
смеясь и падая, лучам весны навстречу?  
Каким страстям безвольно предается трава,  
когда ногой тяжелой ты ступаешь? Ни ропота, ни гнева.

Все едино.  
Нет времени.  
Все вечно. Все сейчас,

Молекулы единства,  
мы — во всем,  
Всё в нас.

Границ познания нет.  
Нет тайн. Есть  
лишь ступени знания.  
В добрый путь!  
Его начать  
не поздно  
НИКОГДА.

### День

Не жди любви,  
а сам ее твори.  
Крылатое, возвышенное сердце  
не сможет на призыв не отозваться.

Ребенок годовалый ни секунды  
прожить без дела и без радости  
не может.  
Он дышит ЖИЗНЬЮ  
и ее дарует  
тебе и мне,  
счастливым и несчастным.

О, сколько раз  
он упадет и встанет!  
Как мне постичь  
бесстрашие его?

Он к дереву протягивает руки,  
к воде, и к яблоку, к прохожему,  
к котенку.  
Он пропускает все через себя  
и без отчета все обратно дарит.  
Он — проводник меж нами и Вселенной,  
дар Космоса и наш нелегкий дар!

### КАМЕНЬ, ВОДА И ВОЗДУХ

Спецификой объединения «Клуб-81» является то, что в круг его интересов входит не только литература. Значительное внимание члены «Клуба-81» уделяют развитию творческих связей с художественными, театральными и музыкальными объединениями. Большой интерес проявляется и к иным областям духовной жизни современников.

К таким вот «иным областям» относится и художественная фотография. Одним из мастеров этого искусства следует назвать Бориса Смелова. Его произведения неоднократно экспонировались на многих выставках фотоискусства в Ленинграде, Москве, Прибалтике и Чехословакии. XI Международный салон фотографии 1977 года в Бухаресте отметил работы Б. Смелова Золотой медалью. Отдельные работы молодого автора публиковались: неплохие подборки (вместе с благожелательными рецензиями) печатались в журналах «Советское фото» и «Журналист». Им же выполнены фотоиллюстрации к книге М. Басиной «В сумраке белых ночей» — биографической повести о Ф. М. Достоевском.

Последнее не случайно. Произведения Б. Смелова, при безусловном сохранении в них особенностей фотоискусства, чрезвычайно «литературны» в лучшем смысле этого понятия. В современном динамичном Ленинграде Смелов находит выразительные и сугубо «петербургские» уголки, сохраняющие отзвуки шагов Пушкина и Достоевского, Блока и Добужинского. Особенно в моменты тишины и безлюдья. В пейзажах, в которых, казалось бы, ничего нет — кроме старого камня, тускло мерцающей воды и влажного воздуха...

Ю. Новиков

## СОДЕРЖАНИЕ

Круг поисков. <i>Вступительная статья Ю. А. Андреева</i> . . . . .	3	
И. Адамацкий	Каникулы в августе. <i>Рассказ</i> . . . . .	5
В. Аксенов	Понедельник, 13 сентября. <i>Рассказ</i> . . . . .	28
А. Бартов	Неторопливое описание пятнадцати дней из жизни маршалов императора Наполеона I	57
О. Бешенковская	«Мандарины зимой удивительно пахнут. . .», «Двоюродный лире певучий кувшин. . .», Из цикла «Широколиственный июнь». <i>Стихи</i>	63
С. Востокова	«Простая дудочка у неумелых губ. . .», «И вот последняя немая роль. . .», «С веточкой зеленой, босиком. . .», «Задумавшись, в окно он видит море. . .», «Дырявый плащ и вдохновенный взор. . .». <i>Стихи</i>	66
А. Горнон	Краб, «Здесь ладожский лед. . .». <i>Стихи</i>	69
А. Драгомощенко	Великое однообразие любви. <i>Стихи</i> . . . . .	72
Е. Звягин	Корабль дураков, или Записки сумасброда	78
Е. Игнатова	<i>Повесть</i>	
	Жена Лота. «Медногубая музыка осени. Бас-геликон. . .», «Загляделась я в поляню. . .», «Век можно провести, читая Геродота. . .», «Дрожат и плещут за окном. . .», Судак. <i>Стихи</i> . . . . .	99
А. Илин	Из цикла «Эпохи и стили». <i>Стихи</i> . . . . .	103
П. Кожевников	Аттестат. <i>Рассказ</i> . . . . .	104
В. Кривулин	«Поэт напишет о поэте. . .», Песочные часы, «Есть пешехода с тенью состязанье. . .», Синий мост, «Большичное прощанье второпях. . .», Гобелены, Рауль Дюфи, Праздник Моцарта в 1929 году, Летописец, Утро петербургской барыни, Натюрморт с головкой чеснока. <i>Стихи</i> . . . . .	117
Б. Куприянов	Ночь, Певец. <i>Стихи</i> . . . . .	126
В. Кучерявкин	В саду, Осеннее возникновение матери. <i>Стихи</i> . . . . .	132
С. Магид	«Там спит вода и заморозок бьет. . .», «День, как котенок, лакает из луж молоко. . .», «Ах этот ветер — напоминанье. . .», «Тяжелый дождь шумит над миром. . .», «Норучей посентябрел. . .», «Улница впадает в горло. . .». <i>Стихи</i> . . . . .	135
А. Миронов	«Текут песочные мотивы. . .», После чая, «Когда падали березы. . .», Путешествие, «Душе постыло бабочкой летать. . .» <i>Стихи</i>	140
В. Нестеровский	Июль, Элегия, Нуль, Северный пейзаж, Подсолнух, Отключая сознание, Плач камня. К портрету, Коток памяти, Зимняя спячка, Лунная собака. <i>Стихи</i> . . . . .	143
О. Охалкин	Летучий Голландец, Квадрига, В глухозимье, Самый снежный день зимы, Из летних вечеров, «И вдруг запел нежданный соловей. . .», В ночь на Невскую сечу. <i>Стихи</i>	155

И. Охгин	Велосипед купил. <i>Рассказ</i> . . . . .	162
О. Павловский	«Где обитает птица козодой? . . .», «— Ты плачешь? — Нет. Я вижу Пиренею. . .», «. . . до горения, сладости, боли, течения сна. . .», «Суок! . . .» <i>Стихи</i> . . . . .	168
Н. Подольский	Замерзшие корабли. <i>Повесть</i> . . . . .	172
В. Слуцкий	Стансы к разбившейся чернильнице, «А берег памятного Крыма. . .», «Я сам себя не знаю до конца. . .». <i>Стихи</i> . . . . .	201
С. Стратановский	Метафизик, «Страшнее нет — всю жизнь прожить. . .», Гоголь в Иерусалиме, «Прораб сказал. . .», «Лес полезных чудовищ. . .», «Видишь: Березовна пляшет. . .», «Желтобог у Зеленобога. . .», «Мне цыганка рябина. . .». <i>Стихи</i> . . . . .	204
А. Тиранин	Балалаечник. <i>Рассказ</i> . . . . .	208
Б. Улановская	Альбиносы . . . . .	215
П. Чейгин	«Что горлом вынести? . . .», «Выходит полнолуние на поля. . .», «Благополучие ручья. . .», «Зернистый снег весеннего предлесья. . .», «Когда бы телом дораста. . .». <i>Стихи</i> . . . . .	245
Ф. Чирсков	Прошлогодний снег. <i>Повесть</i> . . . . .	248
В. Шалыт	Тревога (Цикл монологов). <i>Стихи</i> . . . . .	281
Е. Шварц	Зверь-цветок, Орфей, Невидимый охотник. <i>Стихи</i> . . . . .	289
А. Шельваах	«Именно мы — и варвары и дети. . .», «Вот Феб летит, бледней Луны. . .» <i>Стихи</i> . . . . .	292
В. Шенкман	«Пора двустийши не пришла еще, но полно. . .», «Перейдя переулки вброд. . .», «Петрополь. Петроград. Все тот же Петро. . .», «Из той земли, из той страны. . .». <i>Стихи</i>	294
В. Ширали	Джазовая композиция, Этот город, Из мадригалов, «И стали дни трудны. . .», «Любить тебя. Как труден этот труд. Забыть. . .», Романс, «Как это уже далеко. . .», «Как лютневая музыка в конверте. . .» <i>Стихи</i>	297
Э. Шнейдерман	Работа скульптора, Галантерейщина, «Стал я глохнуть, как Бетховен. . .». <i>Стихи</i> . . . . .	303
Т. Щёктова	«Почему ты боишься меня потерять? . . .», Утро, День. <i>Стихи</i> . . . . .	307

К 84 Круг: Сборник. Сост. Б. И. Иванов, Ю. В. Новиков —  
Л.: Сов. писатель, 1985 — 312 с.

Сборник «Круг» открывает новую серию книг — «Мастерская».

К  $\frac{4702010200-353}{083(02)-85}$  Без объявл.

ББК 84.Р7

*Составители:*  
*Б. И. Иванов, Ю. В. Новиков*

## КРУГ

*Сборник*

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1985, 312 стр.  
Без объявл.

Редакторы *Н. М. Коняев* и *А. Л. Мясников*  
Худож. редактор *А. С. Орлов*  
Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*  
Корректор *Ф. Н. Аврунина*  
ИБ № 5605

Сдано в набор 25.07.85. Подписано к печати 25.10.85. М 30005. Формат 84×108<sup>1/2</sup>.  
Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,80.  
Уч.-изд. л. 17,54. Тираж 10 000 экз. Заказ № 1254. Цена 1 р. 40 к. Ордена  
Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение.  
191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Трудового Красного Знамени  
Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном  
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,  
190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3









